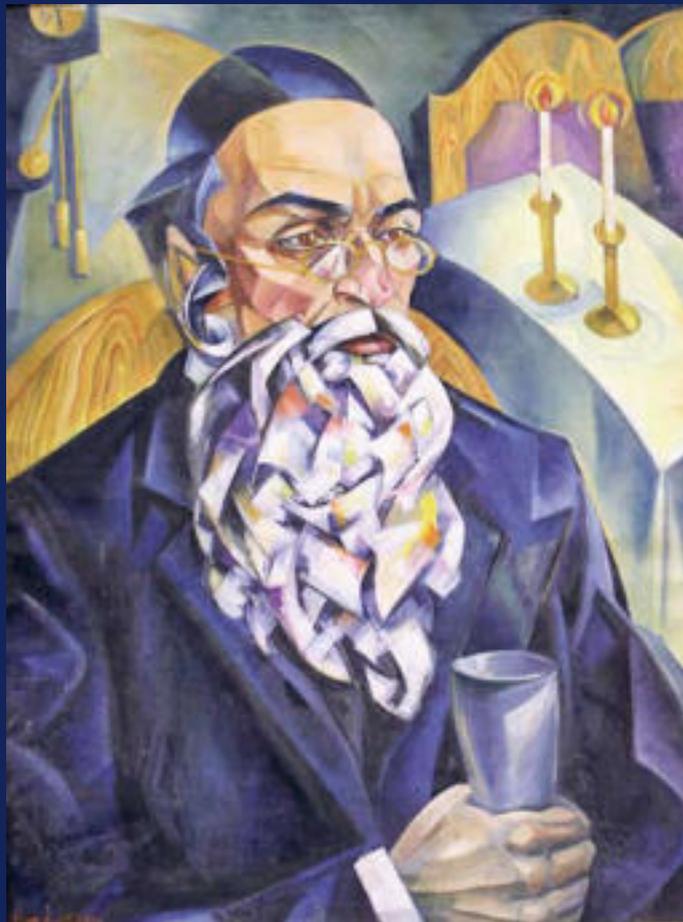


24



ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ
ДО И ПОСЛЕ

БЕРЛИН, 2020

№ **24**

**ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ
ДО И ПОСЛЕ**

БЕРЛИН, 2020

**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
АЛЬМАНАХ
ДО И ПОСЛЕ № 24**

Редакционная коллегия:
Леонид Бердичевский – главный редактор;
Саади Исаков;
Генриетта Ляховицкая;
Анжелла Подольская.

*Форматирование:
Игорь Ильин.*

На обложке и шмуцтитулах к разделам использованы работы художника Натана Исаевича Альтмана.
Статью о жизни и творчестве художника см. на стр. 211
*На 1-й стр. обложки: Шаббат, 1910-е гг.
На 2-й стр. обложки: Автопортрет, 1912 г.*

ISBN: 978-3-926652-83-6

*Произведения, представленные
на страницах Альманаха,
публикуются в Берлине впервые.*

*Рукописи не возвращаются
и не рецензируются.*

*© Все права на материалы Альманаха
принадлежат авторам и редакции,
их использование допускается
с обязательной ссылкой на Альманах.*

БЕРЛИН, 2020

Альманах создан Берлинским Клубом Литературы и Искусства.
Das Almanah ist vom Berliner Klub der Literatur und der Kunst
geschaffen.

Адрес сайта Клуба в Интернете под названием
«Клуб Литературы и Искусства. Альманах До и После»:
<http://www.litklubberlin-doiposle.de>

Die Adresse Webseite des Klubs im Internet unter dem Namen
«Der Klub der Literatur und der Kunst.
Der Almanach DAVOR UND NACHDEM»:
<http://www.litklubberlin-doiposle.de>



Der Klub der Literatur und Kunst
bedankt sich ganz herzlich
der Jüdischen Gemeinde zu Berlin
für die Unterstützung bei der Herausgabe
des Literarischen Almanachs «Davor und Nachdem» № 24

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТЫЙ

По направлению к Четвертьвековому Юбилею

Выражение «По гамбургскому счёту» является фразеологизмом русского языка, обозначающим подлинную систему ценностей, свободную от сиюминутных обстоятельств и корыстных интересов.

«По гамбургскому счёту» две дюжины книг ежегодно издаваемого литературно-художественного Альманаха «ДО и ПОСЛЕ» могут заполнить целую книжную полку. Во всех книгах Альманаха были опубликованы произведения более двухсот пятидесяти авторов, многие из которых впервые увидели свои тексты напечатанными. Одни из авторов закрепились в Альманахе на долгие годы, другие – растворились во времени.

Альманах «ДО и ПОСЛЕ» сочетает в себе приглашение в литературу, несмелое удовлетворение амбиций, возможность читательского интереса, надежду на признание. Так было и будет...

Итак, «ДО и ПОСЛЕ» – с порядковым номером «24». Альманах ни разу не позволил себе нарушить принятые им обязательства – откровенность с читателем, сохранение индивидуального дыхания авторов. Альманах – не безликий хор робкой пишущей массы. Разнообразны его жанры: поэзия, проза, публицистика, эссе, мемуары, в том числе искусствоведческие заметки о творчестве художников, работами которых оформляется Альманах.

В 24-м – это некогда знаменитый художник Н. И. Альтман.

Вы узнаете об одной из версий прочтения текста рассказа «Толстый и Тонкий» А. П. Чехова. Прочтёте эссе о неизвестном русскоязычному читателю потомке аристократов Сицилии – полиглоте и космополите, знавшем восемь языков (в т. ч. идиш) писателя, радиожурналисте, киносценаристе, киноактёре и галеристе Грегори фон Реццори. Альманах познакомит вас с одной из глав романа о Соломоне Михоэлсе и с творчеством немецкого художника и философа Генриха Фогелера – предшественника немецкого югендстиля (модерна).

Как всегда, в Альманахе – новая проза и поэзия его авторов, среди которых и несколько новых, молодых.

Произведения наших авторов отличаются литературным мастерством – точными метафорами, стилистикой. Они свидетельствуют о индивидуальности мышления, творческом восприятии почерка авторов. В их произведениях крайне редко встречаются штампы, лишь тогда, когда без них невозможно обойтись. Среди авторов существует многолетняя взаимопомощь и взаимоуважение. При рассмотрении предлагаемых для публикации в Альманахе материалов, редколлегия всегда руководствуется не личным дружеским расположением к автору, а исключительно уровнем его литературного материала, ярким лексическим строем повествования.

Целью редакционной работы является не увеличение объёма книжного блока за счёт случайных материалов, взятых у случайных авторов, а создание такого Альманаха, который отвечал бы лучшим традициям, выработанным за 24 года его издания.

Читайте, Господа! Читайте! Мы будем рады вашим объективным оценкам нашего очередного детища.

С уважением, Редколлегия.



И. Альтман. Весна.

ПОЭЗИЯ, ПРОЗА, ДРАМАТУРГИЯ

ВЛАДИМИР БАТШЕВ

В ЯНВАРЕ

Глава из романа

– Каждый вечер, перед тем, как я закрываю глаза, я обдумываю прожитый день и размышляю о том, чего я достиг за день. Если я духовно не разбогател, значит, я стал беднее. Я никогда не остаюсь наедине с собою. Моя любимая игра – посадить вокруг стола известных героев и вести с ними беседу, слушать, что они говорят. Я люблю беседовать с Гамлетом, Фаустом, Евгением Онегиным, Тевье-Молочником, Дон Кихотом...

Порыв ветра ударит справа, и воспоминания исчезнут. «Вести разговор с персонажами пьес», – повторит про себя. Как хорошо сказано!

Не может быть, чтобы телефонный звонок оказался правдой... Не может быть...

А почему не может быть?

Над Москвой повиснет мороз, насыщенный туманом воздух поднимется с улиц, скверов и аллей. Красные и чёрные буквы афиши вызовут тревогу. Хотя на афише: Бетховен, Григ, Чайковский. Дирижёр: Натан Рахлин. Солисты: Давид Ойстрах и Эмиль Гилельс.

– Слушай, тебе не надоело ходить в шинели? – спросит Мандельбойм, с любопытством заглядывая в лицо.

Ефрем поднимет глаза и снова спрячет нос в воротник. Он привычно усмехнётся.

– Нет.

Ветер ударит в лицо, потом завертится вокруг, толкнёт в спину.

– Признайся, ты подражаешь Грушницкому.

– Кому? – не расслышит Ефрем, убыстряя шаги.

– Лермонтова надо читать, дружок. «Герой нашего времени» называется.

Ефрем поймёт, что сытый голодного не разумеет: «Разве он ходил бы в мороз в шинели, имей шубу? Или такое тёплое пальто, как у бывшего одноклассника. Правда, у него валенки с галошами, а Мандельбойм в ботинках. Но ботинки, наверно, тёплые, а галоши у меня дырявые... Выходит, мы квиты».

Милиционер, притоптывающий, словно пританцовывающий, внимательно посмотрит на приятелей – кто-то из них ему, очевидно, не понравится.

– Видал? – снова спросит Мандельбойм.

– Что? – не поймёт Ефрем.

– Видал, как милиционер на нас посмотрел. Антисемит, не иначе.

Ефрем бы рассмеялся, да настроение – не до смеха.

Просыплется мелкий снег, ветер подхватит, швырнёт навстречу.

Садовая, словно специально в этот день, обледенит свои тротуары.

Дворник, толстый, в тулупе, в топорщащемся фартуке будет сбивать лёд у чёрных металлических ворот сада «Аквариум».

– Неужели правда? – пробормочет Ефрем, глядя под ноги. – Попал под машину, раздавлен пьяным шофёром...

– Слухи, – услышит Мандельбойм и уверенно добавит: – Не может быть!

Он взмахнёт руками, но Ефрем успеет, подхватит бывшего одноклассника. Ветер кинет в лицо пригоршню мелкого снега.

– Держись на ногах, — посоветует он.

По ступенькам военно-политической академии сбежит офицер. «Сейчас загремит, только сапоги засверкают – мелькнёт мысль, но её вытеснит следующая, – эти ступеньки очищают как следует».

Они свернут в Ермолаевский, пойдут пустым переулком, позёмка останется на Садовой, быстрее, быстрее, не бегом, но быстрее – ветер здесь не такой свирепый, он будет биться между тёплых стен, мчаться дальше в поисках холодного, стараться выстудить.

На Патриарших прудах – несколько смельчаков на коньках. Выписывают кренделя на льду. «Брр, в такую погоду...»

Не до разговоров, молча войдут в Козихинский переулок. Здесь тротуары уже очистят от снега, и можно без опасения поспешить. Впрочем, если всё, действительно, правда, спешить некуда.

Люди без лица обкатают приятелей, словно волны скалу.

Позёмка потребует очистить дорогу.

Мороз снова защиплет лицо.

Ефрем пошевелит пальцами в варежках. Варежки дают иллюзию тепла. Пусть они не фасонные перчатки Мандельбойма, но руки не замёрзнут.

Они выйдут на Малую Бронную, и сердце сухо щёлкнет: «Правда».

Не соврали, не слухи, не сплетня: у театра – народ.

Трофейный немецкий автомобиль въедет на тротуар, его начнёт заносить снегом, прохожим придётся обходить по мостовой.

– Почему столько народу? Ефрем, что это значит?

– Ты не верил, – прошепчет в ответ Ефрем.

От бульвара загудит машина и сквозь расступившийся народ подьедет новенькая «победа». Она продавит сугроб за «немцем» и остановится, довольная проделанным.

Дверь хлопнет, вылезет высокий человек без шапки. Шофёр крикнет вслед, протянет шапку, но тот не услышит и поднимется по ступеням.

– Гляди, Фадеев, – растерянно покажет Мандельбойм. – Он на студии был на прошлой неделе...

Flashback*

В марте 1944 года я выписался из госпиталя, получил полное освобождение от военной службы и по выданному литеру приехал в Москву.

Моя комната в Оружейном переулке оказалась захваченной новыми жильцами. Все попытки вернуть собственное жильё ни к чему не привели. На счастье, я вспомнил, что власть в городе официально принадлежит Моссовету, а среди моих старых знакомых есть один из его депутатов.

Депутата звали Соломон Михайлович Михоэлс. Он несколько раз читал лекции на нашем курсе. Давно. До войны. Нет, он не преподавал в институте. И даже не читал лекции, нет, здесь я оговорился. Он беседовал с нами. Для меня «до войны» звучало, как «до нашей эры» и не мудрено – два с половиной года фронта, два окружения, четыре госпиталя, ордена, медали «За отвагу» и «За оборону Советского Заполярья», погоны старшего сержанта – означают для понимающего целую жизнь. А для тех, кто говорит, что «наград маловато», ответу просто – «зато голова на месте и руки-ноги при мне».

Чего не мог сказать о пробитом осколками лёгком, навеки охрипшем голосе и дурной привычке втягивать голову в плечи, заслышав свист мины или снаряда. Впрочем, последнее в мирной жизни мне не грозило.

Второй раз я пришёл в его кабинет через год, после получения диплома.

– Соломон Михайлович, я пришёл к вам с дипломом режиссера.

– Анастасия!

Никто не отозвался. Он быстро подошёл к шкафчику и поставил на стол пол-литра перцовки. Молча налил полный стакан.

– Пей!

– Слишком много.

– Какой же ты режиссёр, если тебя пугает стакан перцовки!

Я залпом выпил. Михоэлс огляделся вокруг и налил себе. Но меньше – полстакана.

– Поздравляю, Ефрем, – сказал он и выпил.

Я вытер рот ладонью.

– Кури.

– Нет, Соломон Михайлович. У меня половина лёгкого в осколках. Курить бросил.

Он достал коробочку леденцов и протянул, посмотрел в меня и перешёл к делу. Это всегда радовало в нём – без сантиментов, без болтовни, конкретные вопросы – конкретные ответы, и всё об искусстве, о театре, о пьесах, об актёрах.

– Какие спектакли ты видел в последнее время?

– «Три сестры» в МХАТе...

– И как?

– Вот уже несколько дней я под впечатлением.

Он задумался.

– А «Тевье» тебе не нравится?

– «Тевье» мне нравится, но нет ансамбля, нет вашего уровня... Отсюда разницей, а Станиславский говорил...

Он поднял ладонь. Словно прерывал поток моих слов.

– Станиславский идёт отсюда – (приложил ладонь к сердцу), – а я – отсюда (ладонь легла на лоб).

– Возможно, – не сдавался я. – Но в «Тевье» – лучшее, когда вы не контролируете себя, а отдаётесь страстям.

– Ну, это случайности, помимо моей воли. А вся роль продумана – каждое движение, каждая интонация.

– Особенно в Лире это заметно.

Он ткнул меня пальцем в грудь.

– Вы все неверно понимаете Станиславского. Вы делаете его натуралистом. Реализм Станиславского дошёл до предела. Возьми его героев: доктор Штокман, генерал Крутицкий. Типажи! Не персонажи, а символы! – Он задумался на секунду. – Но Станиславский всегда мыслил картинами.

– Мыслил? Картинами?

– Да. Году в 36-ом, когда он уже болел, я был у него дома. Ну, помните, где жил Константин Сергеевич... Он спросил меня: «Как вы думаете, с чего начинается полёт птицы?» – «Когда птица распластывает свои крылья». – «Нет, – ответил Станиславский, – летать птица должна со свободным и глубоким вздохом, птица вбирает в себя воздух и начинает полёт...»

– Интересно, – протянул я, хотя мне было совершенно не интересно.

– Вот это – Станиславский, – закончил Михоэлс. – Теперь к делу. В ГосЕТе вакантных мест режиссёров нет. Может, будут в следующем году. Или через год. Но мне нужны молодые актёры. Ты про ансамбль говорил. Вот и будешь сколачивать ансамбль. Согласен?

Я участвовал в массовых сценах во «Фрейлехсе». Помогал ставить «Леса шумят» А. Брата и Г. Линькова. Какая же халтура! Но из главка, из министерства, из горкома партии требовали от театра пьесу о войне, и Михоэлс ничего не мог изменить

В окнах театра вместо афиш белыми флажками объявления: «Сегодня 14 и завтра 15 ввиду смерти Михоэлса спектакль “Фрейлехс” не состоится».

Тот самый двор. Тот же вход на грязные ступеньки, которые хорошо известны.

Открытые двери. Никто не спросит, кто вы и что вам здесь нужно. Всё выглядит так, будто хозяин впопыхах ушёл и забыл запереть дом.

Из дверей, почти столкнувшись, выскочит Зускин.

– Здравствуйте, Беня, – протянет руку Ефрем.

Тот растерянно посмотрит на неё, вяло пожмёт.

– Ну, что ты скажешь! Такое дело... такое несчастье! – и исчезнет в дебрях коридора.

Мандельбойм останется за спиной, на улице, во дворе.

Прислонятся к стене знакомые застывшие артисты. Большинство молчит. Удар тем неожиданней, что люди долго не могут прийти в себя. В глазах – страх. Страх перед сегодняшним днём и ещё больше – перед завтрашним. Тяжело в душе: «Как мы будем существовать без Михоэлса?»

Зускину придётся заступить на место Соломона Михайловича. Но он не Михоэлс, и как сможет руководить театром...

Михоэлс стоял в главе не просто труппы, не просто коллектива. Он представлял собой театр. В этом были его величие и слабость театра.

Он часто высказывал свою мысль, чистосердечно и с беспокойством:

– Когда меня не будет, что будет с вами? Вы ведь пропадёте...

Flashback*

Три недели назад мы с Мандельбоймом вошли в его кабинет. В кабинет на Малой Бронной, откуда можно было попасть за кулисы театра.

Михоэлс разговаривал по телефону. Выглядел он усталым.

– Имя, отчество, фамилия? Александр Давидович?.. У нас записано – Аврум Давидович, согласно паспорту... Разве это имеет значение для поступления в университет? – и посмотрел на нас, точно видел человека на другом конце провода.

Мы переглянулись – не хотели мешать ему нашими проблемами. Но он уже положил трубку и махнул рукой.

– Садитесь, ребята.

Он опустил свое большое лицо со лбом Сократа на обе руки с короткими широкими пальцами. Когда я впервые увидел его руки в работе на сцене, то поразился, насколько руки умели передавать любые переживания. Руками он больше говорил, нежели словами. Его глубокие, тёмные, умные глаза куда-то смотрели. Он был углублён в свои мысли.

Мы снова переглянулись – может, всё-таки уйдём.

– Вы понимаете, уже не случайность, это становится системой. Одну не пускают в её квартиру. Ибо она прибыла из Ташкента, где «пряталась» от войны. «Ваши» сидели в Ташкенте, когда мы воевали! – так они рассуждают, – вот и сидите там... Другого не принимают на работу без всяких оснований. Перед третьим закрыты двери университета. Куда мы идём?

Он встал и прошёл к окну. На дворе у стены стояла часть декораций. Он их отлично знал. Это – декорации из пьесы «Фрейлехс». Его режиссура.

Нам всем понравилась мысль, которую он воплотил в эту постановку: через пытки и отчаяние, через слёзы и жертвы – к новой жизни. К возрождению. С пением и танцами, подчёркивая, что мы ещё существуем, что народ нельзя уничтожить. Да здравствует народ Израиля! Бенъямин Зускин, в роли Бадхена, прекрасно это передаёт.

Но почему те, кто раньше хвалил Михоэлса, кто присудил ему Сталинскую премию, теперь сторонятся и отклоняют его просьбы? Ни я, ни, наверно, Мандельбойм не могли понять. Открыто этого не выражают. Но артисту и художнику дана здоровая интуиция. Он читает правду. Без интуиции трудно понимать и создавать образы, рисовать картины, писать книги.

Он чувствует, что скрывается под громкими словами и двусмысленными улыбками.

Откуда идёт зло? От толпы или от власти?

– Соломон Михайлович, вы не здоровы. Вы выглядите утомлённым, и грустным. Мы зайдём в другой раз.

– Нет, нет, это недолго продлится. Я всё равно жду Давида Бергельсона.

И, вспомнив наш прежний разговор, он, выпятив нижнюю губу и грустно улыбнувшись, сказал:

– Они хотят, чтобы я поехал в Минск посмотреть несколько спектаклей, отобранных для комитета по Сталинским премиям. Да, в последнее время чувствую себя плохо. Тебе, Ефрем, по-прежнему не нравится «Леса шумят»?

– Не нравится.

– Но ты участвовал в постановке спектакля.

– Вы сами говорили, что надо набираться опыта.

– Да, говорил. Опыта у тебя маловато. Мне кажется, второй акт нужно изменить. Ты предлагал сократить за счёт песни... Выбросим песню. Как не хочется ехать в Минск! Столько дел... – вырвалось у него.

– Так не уезжайте, – пожал плечами Мандельбойм. – Неужели не могут послать какого-нибудь критика или чиновника из главка?

Гримаса прошла по лицу Соломона Михайловича.

– Я уже третий раз откладываю поездку. Анастасия Павловна хочет поехать со мной. Но зачем отрывать её от работы и в морозы таскать с собой? Сегодня снова звонили. Они обещают наилучшие условия. Театральные коллективы ждут с нетерпением. Дальше откладывать невозможно. Нужно ехать. Надо позвать Голубова.

Голубов-Потапов – театральный критик, уже приобретший известность своей книгой о балерине Улановой. Как специалист и знаток балета он должен ехать вместе с Михоэлсом, чтобы просмотреть спектакли в Минском театре оперы и балета.

Михоэлс стал набирать номер телефона, но никто не отвечал.

– Соломон Михайлович! Вы знаете Мандельбойма. Вы его не взяли в наш

театр, и он пошёл на киностудию. Он хочет, чтобы вы посмотрели эскизы...

Михоэлс кивнул:

– Помню художника.

Мандельбойм выложил содержимое своей папки на письменный стол. Михоэлс быстро просмотрел эскизы и сказал:

– Вы всё-таки театральный художник. Надо впитать лучшее из кино, из другого вида искусства и принести к нам. Вы никогда не забудете свой родной язык и происхождение, как бы долго вы ни были вне театра. Всё-таки театр, как дом. Это не кино.

Зазвонил телефон.

– Наверно, Голубов или Бергельсон, – обрадовался Михоэлс, снимая трубку. Но эта была жена. – Да, да, Настенька, я уже иду. Я не задержусь. Скоро придёт Бергельсон, и мы оба придём...

Мы попрощались. Было приятно ощущать пожатие его крепкой руки. В коридоре стояла секретарша и ждала указаний на завтрашнее утро. Она хотела показать ему список посетителей на завтра.

– Попов Алексей Дмитриевич, – будет перечислять Мандельбойм. – Завадский... Таиров...

Вся театральная Москва пройдёт через Еврейский театр.

Остановится, что-то прошепчет Тарасова. Рубен Симонов смахнёт слезу. Глубоко вздохнёт Берсенева.

– Звонкий человек был! – громко произнесёт Тарханов, вглядываясь в безжизненное лицо Михоэлса.

Мандельбойм снова шепнёт в затылок Ефрему.

– А вот и товарищ Сталин...

Тот вздрогнет и станет озираться.

– Дурак, – снова шепнёт Мандельбойм. – Дикий идет, Дикий Алексей Денисыч... Он же Сталина играет у нас в картине...

– В какой? – зачем-то спросит Ефрем.

– В «Сталинградской битве». Я тебе рассказывал. Я художником на ней работаю...

Мандельбойм, как всегда преувеличит свое значение. Он действительно работает в съёмочной группе «Сталинградская битва». Но его роль – тонировать декоративные фоны.

– А вот и Сашка...

– Какой Сашка?

– Да Гинзбург, наш одноклассник. Помнишь, он Люську Загрежскую высмеял, и она при всех... Люська замужем за чемпионом страны... Вон Сашка стоит, в шапке с ушами.

– Всё-то ты знаешь... Нашёл кого вспомнить! Люська – стерва была

порядочная... Вижу Гинзбурга. Он нас узнал, кивает, он до войны в студии Арбузова играл.

– Да, что-то изображал, на стуле выезжал на сцену... Он теперь пьесы пишет... Я даже афишу видел, «Вызывает Вайгач», комедия какая-то...

Ощущение ненатуральности, нереальности, не проходит.

Казалось, что Соломон Михайлович играет одну из своих ролей.

– Видишь, у него пальцы сжаты в кулаки...

– А нижняя губа выпячена вперёд...

– Так выглядит мёртвая маска Бетховена, – пояснит кто-то из всезнаек.

Ефрем увидит красивую Тарасову и вспомнит рассказ о последнем официальном приёме в Кремле, у Сталина, где она встретила с Михоэлсом. Лишь месяц назад Зускин рассказывал об этом актёрам.

Мимо гроба пройдёт народ. Его народ, для которого творил.

– За что это они тебя? – пробормочет старуха в осеннем пальто, перепоясанная широким ремнём.

Одноклассники не заметят, что за ними внимательно наблюдает человек в тёплой куртке с поднятым воротником, которым прикрывает уши, вылезающие из под кепки. Человек – из тех, кого народ называет «чижиками», а через тридцать лет станет называть топтунами.

** ретроспективный кадр.*

ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ

МЕМОРИАЛ ХОЛОКОСТУ В БЕРЛИНЕ

*Его архитектору
Питеру Айзенману*

Лабиринт безысходности и безнадёги,
от него не найти ни тропы, ни дороги.

Не помогут молитвы и нить Ариадны.
Может, свалится случай неожиданный?
Но вряд ли.

Сгустки слёз почернели и камнями стали.
Затвердели и реками литься устали.

Судьбы скованных вместе миллионов евреев.
Камни молча кричат, и от горя бледнеют.

Лабиринт этот кровью народа исхлёстан, –
это остров трагедии, каменный остров.

Память наша летает по мемориалу.
Холокост – это дело нацистских шакалов.

Здесь прохожий пройти равнодушно не может...
Дрожь ничем не смирить в её беге по коже.

ДОМОВОЙ

Памяти М. И. Их

Было дело, Маргарита Их
мне сюжет преподнесла в бокале,
чтоб я по нему состряпал стих, –
им читателя б интриговали.
Растворился тот сюжет в вине,
смесью алкоголя с суеверьем, –
это чётко видится извне...
Вам об этом расскажу теперь я.

Жил-был домовой по кличке Хырс, –
хитростью с интригою насыщен.
Внешне то ль енот он, то ли рысь,
не гнушался никакой он пищи.
Домовой у Их нашёл ночлег, –
Маргарите плёл он небылицы:
«Жил один весёлый человек,
изменял он пол, судьбу и лица».

Понедельник, у него, – четверг,
цвет зелёный, безусловно, красный,
шёл он вниз, но утверждал, – наверх,
день удачный он считал напрасным,
обо всём твердил наоборот, –
ствол засохший принимал за колос,
если пёс рычал из-под ворот,
всем твердил: «Какой прекрасный голос...»

«Надо Хырса холить, ублажать, –
шепчет Их, – кормить икрой и мёдом,
каждый день записывать в тетрадь
чушь его, с восхода до захода.
Это принесёт свои плоды, –
жизнь покажется цветком красивым.
Хырс, уж точно, – это знак судьбы,
нет ему ни в чём альтернативы».

ФОНАРНЫЙ СВЕТ

Я раздражён ночными фонарями, –
я не нуждаюсь в освещенье их.
По бездорожью ноги мчатся сами,
быстрее упряжки лошадей лихих.

Пусть будет путь тяжёлым и неровным,
но темень мысли соберёт в комок.
Они, скучны, обычно, хладнокровны,
но в темени, – на паперти дорог.

Фонарный свет. Он для меня помеха, –
глаза слепит, и путает шаги.
Меня он отклоняет от успеха,
дыханье напрягая и мозги.

СОЧИНЯЮ С УТРА...

Сочиняю с утра под диктовку души,
корректирует ритм, – дыханье...
Жизнь спешит суетливее, чем мураши,
снаряжая меня на свиданье
со своей, не всегда терпеливой судьбой, –
к её длинным, настойчивым дланям.
Мчусь зигзагом по лестнице я винтовой
в неизвестность, как будто в изгнание.

Если рухну, и вниз полечу головой,
всё равно поведут на аркане.
Просвистят: «Брось шутить со своею судьбой!» –
лесть смешают с отборною бранью,
и заставят с утра, под диктовку души,
рифм запас беспощадно транжирить,
и по ритму стихи мне на строфы крошить, –
доживать в поэтическом мире.

* * *

Мои стихи рождает полумрак,
и свечки парафиновый огарок,
хоть крошечный, но для меня он ярок,
поэзии он подаёт свой знак.

Перо моё, подобно скакуну,
стремительно несётся по бумаге.
Я, вроде залпом, пью слова из фляги –
вдохну по слову, и затем глотну...

А за окном торопится рассвет,
спешит, чтобы прервать стихов затею,
и я ему перечить не посмею,
да и в огарке силы больше нет.

С утра я ожидаю полумрак,
чтоб подарил мне тайный ключ к сюжету,
и вдохновение призвал к ответу
за то, что день мой превращён в антракт.

БЕЗУДЕРЖНОСТЬ

Когда безудержность хлопочет, –
кружит, как сказочный волчок
неугомонно, днём и ночью, –
её неограничен срок.

Поток её терзает мысли,
работая на результат, –
он без оваций мечет брызги,
в один рифмованный каскад.

И нет усталости нисколько, –
безудержность мне по нутру,
чтоб ритм обычный, ритм глагольный
не разлетался на ветру.

Неугомонности бальзамом
лечу депрессии наплыв,
чтоб, сокрушая взгляд и память,
не нарушалась точность рифм.

ДИАЛОГИ С СУДЬБОЙ

Куда, Судьба, меня ты тащишь слепо
и продолжаешь вечный диалог,
напомнив, что с тебя я – слепок,
и тем в душе творишь переполох?

Без ухищрений, прямо спозаранку,
по бездорожью отправляешь в путь,
и катишь, как ненужную болванку,
которую немудрено согнуть.

Как провисевшую в багетной раме,
 засиженную мухами, в пыли,
 как время, что устало в вечном гаме,
 и на него заботы все легли.

Как опротестовать мне, как оспорить? –
 Тебе ничто не высказать никак.
 Не стать солистом в непокорном хоре,
 Самостоятельно не сделать шаг...

Судьба без напряжения догонит
 и, как щенка, приволочёт к себе,
 и не сыскать на свете искушённой
 того, кто воспротивится Судьбе.

Всё остальное глупо и нелепо,
 я – раб Судьбы, она – мой поводырь,
 она меня с собою тащит слепо,
 порой – легко, порой, как пару гирь.

ОДА КНИЖНОМУ ШКАФУ

Я всякий раз, когда из шкафа
 выуживаю книжный клад,
 ищу строку для эпиграфа, –
 всему стиху боезаряд,
 или пилюлю вдохновенью,
 чтоб излечила свой каприз,
 отбросив словоизвержение, –
 то вздёрнуть вверх, то бросить вниз,
 уравновешенней б вещало,
 как урезонивать сюжет,
 где рифм – много, ритма – мало,
 слов – перебор, но смысла – нет,
 всё удалить, начать сначала,
 оставив хоть воздушный след...

О, Книжный Шкаф! Моя отрада, –
 учитель, друг и господин,
 в нём – недовольство и награда,
 чтоб погасить нависший сплин.

ПОГОДА

Реверансы рифм

В Берлине, в апреле окрошка погодная, –
осенне-весенняя правит сумятица.
У солнца улыбка – почти мимолётная,
Но, всё же, листки календарные катятся.

Да, время спешит, хоть немного сутулится,
и на небе тучи мрачнее проклятия,
и скука завесила лица и улицы, –
вокруг безразличья сплошная апатия.

Но каждый мечтает: «Когда всё закончится,
тогда щегольнуть можно майкой и шортами.
И жизнь заиграла бы ярче и звонче бы.
Дыханье заполнило б счастья аккордами».

Жаль, только с погодой спорить негоже нам, –
упряма она, и нисколько не мается.
И все её выходки, вроде, положены, –
не хочет признать, что она издевается.

* * *

Мне приснилось: стою в окружении глаз, –
голубых, серебристых, зелёных и чёрных.
В них насмешка, угроза, тоска и соблазн, –
возмущённых, язвительных, или покорных.

Их сближает одно: окунуть в диалог, –
обвинить, доказать, приказать, успокоить.
Бросить в душу из прошлого – реплик глоток,
и оставить открытую бездну пробоин.

Просыпаюсь под утро в холодном поту.
Чем обязан? Ниспослано кем сновиденье?
Искупал меня сон в горьком, липком аду, –
возвратив много прошлого мне из забвенья.

СВОБОДА ЗВУКОВ

Изрезать белое безмолвье
они согласны. Впопыхах
дав лейкоцитам белой крови,
нести в пространство свой размах.

И никакие уговоры.
не приструнят их резвый бег.
НЕ соблазнит листа просторов –
уютный, девственный ночлег.

Закованными не желают
влачить свою судьбу в строке.
Средь букв раскиснуть и растаять
в сюжетной глупой чепухе.

Они стремительны и звонки.
Они – свободы торжество.
И звуков колокольных гонки
мечту бросают в волшебство.

ПЛАВАНЬЕ

А. П.

Я плаваю в твоих глазах,
как в озере, луной украшенном.
Твоих ресниц ритмичный взмах
в тандем сердцебиенью нашему.

И не наплаваюсь никак,
пусть даже взгляд твой вдруг насупится.
Меня не бросит он в столбняк, –
твоей улыбкою окупится.

Я буду плавать до конца,
пока не захлебнусь им полностью,
меня стиль, как у пловца,
от баттерфляя к брассу, к вольнице.

И пусть, за много лет с тобой,
встречаюсь иногда с преградой.
Считаю плаванье – судьбой,
что с юности была загадана.

ВРОДЕ

От безделья для блезиру,
тьнь улыбки, словно флюс.
Многоточие пунктиром, –
в целом, – спаянный союз.

Вздохи, взгляды вместо пауз, –
слов случайных толстый блок.
То ль за шиворот, то ль за ус
не сострять диалог.

Шлёпают покорно годы,
мысли мчат вперёд и вспять.
Нет ни выхода, ни входа, –
чем закончить, как начать?

Хоть словарь отнюдь не беден,
не исчерпан до конца.
Но к чему болтать на ветер
с оторопью беглеца.

Молчаливо жизнь проходит, –
сколько им Господь пошлёт?
Для блезиру, вместе, вроде,
рядом вроде, но взвробод.

БАЗАР

Базар – лоскут из толчеи,
многоголосой, разноцветной.
Он цели предан беззаветно, –
всем предложить плоды свои.

Торговцев шумные ряды
 расхвалят, как невест, товары.
 Легко заводят тары-бары,
 о том, как вкусны их плоды.

Вокруг царит ажиотаж, –
 купить стараются дешевле,
 продать дороже, – так издревле,
 такая у народа блажь.

Ведь каждый здесь хитёр, умён,
 и каждый, – индивидуальность.
 У каждого своя ментальность,
 базаром каждый вдохновлён.

Я по субботам на базар
 иду услышать шутки, склоки,
 и излияний монологи, –
 базарный негасимый жар.

В ГЕРМАНСКОЙ БОЛЬНИЧНОЙ ПАЛАТЕ

В больничной палате, как обычно, между пациентами возникают недо-
 разумения. Объединяет их лишь диагноз – закупорка сосудов ног. Самая
 запущенная форма у пациента возле окна. Высокий, полный, пожилой муж-
 чина с крупной безволосой головой, лицо, как во мху, – в серой щетине, рот
 приоткрыт, словно в нём застряло невысказанное слово. Новый пациент под-
 ходит к нему, поправляет одеяло.

– Вольфганг, – произносит пожилой, протягивая руку. В ней визитная
 карточка, – это моя семья

Новенький называет своё имя и берёт визитку. Через мгновение задаёт
 вопрос:

– Что это значит, ведь здесь фотография семи голубей? Адрес ваш или
 голубятни?

– Общий. Голубей у меня сто двадцать. Преданных, добрых детей, – за-
 канчивает он.

Мобильный телефон зажат в его левой руке. Волфганг напряжён. Вероятно,
 ждёт звонка:

– Алло, Гертруда. Не забудь промыть пшено. Да, оно под правой полкой

в мешке. Будь внимательна, особенно к Курту и Берте. Они – нездоровы, с трудом расправляют крылья. Нисколько они не стары. Моложе нас с тобой, – он нажимает кнопку, заканчивая телефонный разговор. – Вечная морока с ней, путает пшено с пшеницей, – вслух возмущается Вольфганг.

Тишина. Слышно тяжёлое дыхание пожилого, и скрип потревоженной кровати.

– Садитесь, коллега, – приглашает он Новенького, отодвигаясь к краю кровати. – Я рад нашему знакомству, те смеются надо мной и моими детьми, – он кивает в сторону других обитателей палаты, и вертит указательным пальцем у виска.

– Бог не дал детей, да они и не нужны мне. Голуби – моя страсть почти с рождения, и я не сержусь на Бога. Он, наверно, разобрался в этом справедливо, – улыбнулся Вольфганг.

Дальнейший разговор не клеился. Новенький не знал, как продолжить его, как остановить монолог о голубях.

Начались лечебные процедуры, затем больничный обед и дневной сон.

Проснувшись, Новенький заметил, что Вольфганг сидит на кровати, явно ожидая его, видимо, для тренировки памяти.

– У моего отца была большая голубятня, несмотря на то, что детей в нашей семье было трое. Сам построил дом для голубей. Он был столяром. Мы жили в деревне, в Тюрингии. Отец делал деревенскую мебель: кровати, столы, табуреты. Заказов было много. Однако, на первом месте всегда были голуби. Напарником в работе у отца был Михель, – еврей с «золотыми» руками. Из соседней деревни. В работе помогала его жена Хелла. За пять лет до начала той проклятой войны родился я, тогда же Хелла родила дочь, Хельгу. Когда по радио передали приказ о явке евреев в комендатуру, отец и мать спрятали семью Михеля в подвале. Там они и прожили до окончания войны и краха третьего рейха. Через шестнадцать лет я и Хельга поженились. Умерла она десять лет тому назад. Хельга была моим настоящим другом во всём, в том числе и с голубями. Эта, Гертруда, моя вторая жена, ни в какое сравнение с Хельгой не идёт.

– Ваши родители настоящие герои, смелые люди, – произнёс Новенький. – Рисковали жизнями, спасая семью Михеля.

У третьего, молчаливого пациента палаты, словно прорезался голос:

– Никакие они не настоящие герои, а настоящие преступники. Ослушавшись приказа руководства рейха, они достойны были расстрела, – произнёс он, чеканя каждый слог.

Тишина змеей вползла в палату, вроде даже её шипение ощущалось до самого вечера, когда начался врачебный обход.

– Как прошёл сегодняшний день, на что жалуетесь? – спросил врач Вольфганга.

– На сильную изжогу и нехватку чистого воздуха, – ответил он. – Она вызвана этим наци, я прошу перевести меня в другую палату. Фактом своего присутствия он портит воздух.

– Его завтра выпишут, – успокоил врач – Потерпите эту ночь.

СТАРИК ИЛИ «БЕЗ ХРОНОЛОГИИ»

Канун октября. Листопад в разгаре. Ветрено. Осень трудится то слепящим солнцем, то проливными дождями. Тяжёлое время для астматиков и лёгочников. Сегодня, как и ежегодно, Старик покидал больницу. Его знал весь персонал. Кроме лечения, он постоянно переводил длинные аннотации к лекарствам немецкого производства. Языком владел в совершенстве. Диктовал перевод с листа. Был увлекательным собеседником, особенно, с доктором Рейнгардом, немцем по происхождению. Говорили о Германии, несмотря на то, что оба никогда не бывали там. Вчера окончился курс лечения. Фтивазид и паск он мог принимать и дома, но здесь режим, кислородная аппаратура, зона повышенного внимания.

Грех жаловаться. Дома тоже всё подчинено его заболеванию. Самочувствие улучшилось. Как обычно, направился к дому, пересекая ботанический сад. Шёл не по тропинкам, а по рассыпанной листве, загребая её ботинками, вдыхая запах. «Неужели, – думал он, – это моя последняя лёжка в больнице, последняя осень?»

Дома его встретила с удивлением Сонечка, преданная супруга:

– Не мог дождаться, я собрала сумку.

– Хотелось сделать сюрприз, извини – оправдывался он.

Вместе прошла жизнь. Полвека. Понимали друг друга с беглого взгляда, полуслова, выражения глаз, едва уловимого стопа, молчания.

Старик пообедал. Лёг на любимый диван. Старался заснуть. Воспоминания понеслись вразброд, смешивая хронологию происходившего, обгоняя и спотыкаясь. Плыли в голове, соревнуясь в скорости. Ушные перепонки готовы были лопнуть. Наваждение без пощады.

...Смерть отца, сердечника, напуганного вызовами в ОБХСС по делу зубных техников, изготавливающих коронки из золотых монет царской чеканки. Положение семьи под угрозой ареста. Надвигалась война. Оккупация Польши рейхом и Красной Армией. Пакт «Молотова-Риббентропа» призрачен, вот-вот лопнет. Радио разрывалось от бесчисленных речей и маршей. Запах пороха терзал воздух. В горле першило недоброй смесью.

Мысли отвлеклись. Щёлканье дверного ключа. Пришла внучка, Греточка, дипломантка традиционного для семьи иняза, основной язык – немецкий.

– О, Старик, ты дома, я люблю тебя, – приветственно улыбнулась.

Банальный вопрос о здоровье не принят в семье. Все всё знали. Особенно о Старике. Это прозвище он получил в двадцать три года, возвратившись с фронта. Немного коробило, но постепенно привык, считая почётным званием. Не отзывался на своё имя – Михаил или Михель, как звали его с детства фрау Хельга – воспитательница, сестрёнка Леночка, она же, Хелена, и изумительная мама, Роза Марковна, одарённая пианистка. Всех их давно нет – они в Бабьем Яру. Их лица, улыбки, шутки, редкие бурчания жили фресками в памяти, доносились из каждого угла. Фрау Хельга говорила: «Нацизм – воспаление нервов народа, типа коклюша, скоро пройдёт». Но, когда?

Война не окончена. Исход её ясен. Старика демобилизовали. Возвратился в свой город. В ЖЭКе ему вернули комнату шести метров. Здесь мама импровизировала на рояле, который сохранился. Вытащить не удалось. Винтовой стул Старик водрузил сидением вниз на крышку. Освободил место для раскладушки и случайных книг.

В университет восстановили. Ниже на курс. Студентов семеро. Остальные погибли. На фронте не получил ни единой царапины, только седую шевелюру, да это чёртово заболевание. И ещё две медали и орден Красной Звезды. Служил командиром сапёрной роты. Сам рыл, проверял грунт, рассчитывал глубину траншей. Простудился навсегда.

Бывал отдых. Командование вызывало переводчиком при допросах пленных крупных рейхсофицеров.

...Старик прикрыл глаза. Пытался заснуть. Мысли возвратили в новый виток. К рассказам матери о бабушке и дедушке. Дедушка, Марк Моисеевич. Купец первой гильдии. Занимался сбытом мануфактуры. Бабушка, Ревекка Матвеевна. Не выпускала из рук книг. Любила исторические романы и стихи. Родители пригласили для единственной дочери, Розочки, фрау Хельгу, которая приехала в Россию к жениху – пленному унтер-офицеру, Бертольд. Но что-то не сложилось. Он вернулся в Германию без невесты. А Хельга привязалась к Розочке. Осталась жить в семье Тафелей. Оказалось, до конца. Не отпустила их одних в могилу. Родители матери умерли в одночасье, в двадцатом. Розочка уже была невестой своего дантиста, Евсея Шамиса.

Фрау Хельга окончила женскую педагогическую школу Фридриха Фребеля, выпускающую воспитательниц для детей в разных семьях, в разных странах. Она выучила Розочку, а затем и её детей немецкому языку. Привила им интерес к немецкой культуре – музыке, литературе, искусству.

А мама, влюблённая в музыку романтизма, блистательно исполняла Йоханнеса Брамса. В ушах Старика звучали брамсовские «Реквием» и «Венгерские танцы». Сколько прошло лет? Семьдесят.

Старик у удалось заснуть. И во сне воспоминания не покидали.

...В Публичной библиотеке обратил внимание на милую девушку, штудирующую немецкую грамматику. Обратился к ней по-немецки: «Не откажется ли от его помощи, ему не сложно». Она задала пару вопросов и, убедившись, что он говорит правду, согласилась. Домой шли вместе. Регулярные встречи с Сонечкой перешли в дружбу. Объяснились свободно и откровенно. К окончанию университета поженились. При устройстве на работу, фамилию пришлось сократить до одного слога: «Шам». Отчество сохранил.

Их дочь, Елена, окончив иняз, уехала с мужем, лейтенантом, по месту его службы. Когда внучка подросла, её привезли к предкам, для подготовки в иняз. Греточка была радостью и утешением для Старика и Сонечки.

Теперь семья собралась в Германию. Разрешение от родителей Греты получено. Ждали вызова из посольства. Все хотели увидеть Германию. Надеялись не разочароваться. Дома говорили по-немецки, декламировали стихи Шамиссо, Гёльдерлина, Шторма – любимых поэтов.

За три месяца до отъезда у Старика случилось обострение. Слёг в больницу. Спустя неделю скончался. Унёс с собой любовь к культуре Германии и воспоминания «Без хронологии». Сонечку и Грету можно встретить на улицах Берлина или по воскресеньям – в Тиргартене. Жаль, без Старика.

ДАВИД БРАТСЛАВЕР

СЕ-ЛЯ-ВИ

Путь людской, словно Космос безмерный,
Но подобно букетам цветов,
Увядаем с течением времени,
Превращаясь в седых стариков.

Наши годы, как птицы умчались
В бесконечное время и даль,
И, как память прошедшего стали
Навевать и тоску, и печаль!

Ежедневно встречая рассветы
И сполохи вечерней зари, –
Мы Творцу посылаем приветы
И поклоны за эти дары.

Отзываются в душах тревожно
Голоса позабытой любви,
Но судьбу повторить невозможно:
«Се-ля-ви, се-ля-ви, се-ля-ви»!

ВСТРЕЧА С ОДЕССОЙ

Луч маяка на горизонте,
Волна несётся за волной.
Видны огни родного порта –
«Одесса-мама» за кормой.

Как гордый рыцарь, величаво
Стоит на пристани морской –
Дюк, кавалер одесской славы,
Надёжный, вечный часовой.

Весенний город расцветает,
Накинув разноцветный плед.
И жизнерадостно встречает
Одесса утренний рассвет.

Асфальт рососою умывая,
Идёт по городу Весна,
Звенят на улицах трамваи
И будят город ото сна.

Ведут кварталы Ришельевской,
В не утихающий вокзал,
Он с новой шуткой, по-одесски,
Встречал меня и провожал.

И по Большой, по Арнаутской,
Вхожу в прошедшие года –
В знакомый с детства дворик узкий,
Откуда молодость ушла.

Без перемен на Молдаванке:
С черноволосою косою
Танцует и поёт Цыганка
На Мясоедовской шальной!

В жемчужине морей – Одессе –
Смех и веселье каждый миг –
Искристый юмор, звуки песен,
Плывут на гребнях волн морских!

ОСЕННИЙ ВАЛЬС

Затмило небо пеленой,
Дождь воздух напоил.
Гуляет ветер озорной,
С дорог сметая пыль.

А пожелтевшая листва,
Кружась, слетает вниз.
Земли касается едва,
Танцую вальс-каприз.

Исчезла дивная краса,
Нет кроны золотой.
Деревьев горькая слеза
Повисла над землёй.

Трава пригнулась за окном,
 Как будто от стыда.
 Блестит, покрыта серебром,
 Уснувшая вода.

Спешит вечерняя заря,
 Являя миру ночь.
 И по велению Сентября
 День убегает прочь.

ВСТРЕЧАЯ СОЛНЕЧНЫЙ РАССВЕТ

Встречая солнечный рассвет,
 Когда нам было двадцать вёсен –
 Надеялись, что до ста лет
 В наш дом не постучится осень.

Наивны были и пьяны
 От счастья, посему беспечно
 Мы коротали дни весны,
 Считая, что весна – навечно!

Когда в садах звучали трели,
 Казалось, – в парках соловьи,
 Друг с другом соревнуясь, пели
 Для нас мелодию любви.

Считая вёсны: тридцать, сорок
 И пятьдесят и шестьдесят –
 Стал каждый день ушедший дорог,
 Жаль не вернуть те дни назад.

С ветрами постучалась осень,
 Возможно, помня, что давно
 Дверной замок был прочен очень, –
 Влетела в дом через окно.

Ах, осень! Знай – мы не в смятенье,
 Года не удручают нас, –
 Дожив до ста, порой весенней,
 Станцуем молодёжный вальс.

МОЯ ЖЕНЩИНА

Бесконечный мир стал тесен,
Мигом – век земной,
Когда лучшая из женщин
Встретилась со мной!

Эта сказочная сила
Лишь в тебе одной.
Ты меня заморозила
Страстью неземной.

Жизнь бурлит, а сердце полно
Наводнением чувств.
Несравненный, сладкий, томный
Вкус волшебных уст!

Ветер северный обильно
Сыплет снегопад.
Но меня согреет милой
Лучезарный взгляд.

Если ты со мною рядом,
Мой хороший друг,
На душе моей – отрада
И светло вокруг.

Как рыбак, я чудо встретил
Утренней зарёй
И застрял в любовной сети
С рыбкой золотой.

Пусть бушуют злые грозы...
Для тебя сорву
Хризантемы, астры, розы
В городском саду.

Ты моей отрадой стала
И моей судьбой.
Ты меня околдовала
Страстью неземной!

КАПРИЗ ЖЁЛТОЙ ТРУБЫ

Нас познакомила судьба,
 Когда в саду, на бис,
 Играла жёлтая труба
 Осенний вальс-каприз.

Цветы сомкнули лепестки,
 Вальс навевал им сон,
 Струился в зеркале реки,
 Капели перезвон.

Но, грустных песен не любя,
 Умолк весёлый чиж.
 А дождь оплакивал себя,
 Слезой стекая с крыш.

Внезапно, серый мрак исчез,
 Редуют облака.
 И раздвигает свод небес
 Всевышнего рука.

Луч солнца на себе ловлю,
 Блуждает яркий свет.
 Любимой женщине пошлю
 Мой солнечный привет!

В тот сад, где встретил я тебя,
 Любимая, вернись!
 Играет жёлтая труба
 Осенний вальс-каприз.

НЕЖНОСТЬ

Нет силе нежности предела.
Как неприступная броня –
Хранит союз сердец и тела
В потоках страстного огня.

Она манит надеждой сладкой,
Не выпуская из оков,
И посылает нам украдкой
Непревзойдённую любовь.

Дарите нежность полной мерой –
Она сильнее потоков слов.
Дарите дамам, кавалеры,
Тепло за верную любовь!

БОРИС БРОНШТЕЙН

НОВАЯ ЛЮБОВЬ

Случилась встреча в жёлтом сентябре –
 Столкнулись двое в суете столичной,
 В миллиардный раз на Матушке-Земле.
 Прости, читатель, мне метафоричность.

Цветным стал мир в мгновение одно,
 Вдруг зазвучал рояль, запели скрипки.
 Летящий ангел, распахнув окно,
 С собой унёс все прежние ошибки.

А солнце согревало стольный град,
 И ветер с лаской освежал их лица,
 И спор был про Малевича квадрат,
 А на щеке – упавшая ресница.

За горизонтом утонул закат,
 За телевизку зацепилась ночь,
 А эти двое над землёй парят, –
 Всё остальное улетает прочь.

И оба загадали про одно,
 Со страхом и надеждой: «Что случится?»
 Ах, пусть скорее станет здесь темно, –
 Пусть всё-всё-всё сегодня же свершится.

ОЖИДАНИЕ! ОЖИДАНИЕ?

Кто ничего не ждёт, тот не разочарован,
 Когда удача мимо проплывёт.
 Бывает так, что недостойный – титулован,
 Бывает так, что подлецам – везёт.

Устроен мир давно несправедливо.
 Понять, зачем и почему, – нам не дано.
 Какие цели служат лейтмотивом?
 Что будет прощено? А что грешно?

Не оправдали Авеля убийство,
Но Каин был отпущен. Почему?
Адам молчал? Свои скрывая чувства,
Понятные не каждому отцу!

Внесут ли в книгу жизни коррективы,
Когда прочтут всю тайную главу?
И что нас ждёт, какие перспективы? –
Вопрос к седому, мудрому волхву.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Цивилизация дошла до пика и терпит крах!
Цивилизация моя уходит. И будет мрак!
Когда сокрытую гробницу в земле найдут, –
Суть раскопают, поймут причины, назначат суд.

Тома историй, людских трагедий – не перечесать,
Про все ошибки узнают точно – про спектр весь.
Чья злая воля, кто был родитель беды большой –
Огромной гидры, на мир напавшей толпой чужой?

И трусость власти, элит зазнайство и эгоизм,
И тупость тех, кто правил балом, и их цинизм.
Миазмы веры, нам непонятной, чужих молитв...
На что купились, за что продались? Душа – вопит.

Да как же это? – Не разглядели суть бытия.
Все виноваты! Те, кто у власти, и ты, и я.
Прочтёт потомок и ужаснётся: «Не может быть.
Так просто было, имея волю – предотвратить».

ЗА ГРАНЬЮ БЫТИЯ

Мы в мыслях возвращаемся назад,
Но не вернуть растроченные годы.
Как жаль, что впереди – закат, –
Не изменить закон природы.

Ответа нет. ОН всё решит за нас!
 Определит границы. Строгий Боже.
 О, Ты! Меня спасающий не раз,
 Прости, опять сомненья гложут.

Что будет там, куда уйдём
 Мы, не успев с собой проститься?
 В какой заселимся мы дом
 В той самой дальней Загранице?

Она – за гранью Бытия,
 Откуда не было возврата
 Ни у кого, и никогда. Там – навсегда
 И бедный смерд, и царь богатый.

МАЙСКАЯ ПОХОРОНКА

Был месяц май. Победа – впереди.
 Ещё чуть-чуть, и кончатся бои.
 Ура, солдаты, вы в Берлин вошли!
 Судьба, их жён во вдов не преврати!

Да, есть суровая статистика войны,
 Пред ней солдат и генерал – равны,
 Ведь «пуля-дура», говорят не зря.
 Удар, и кончились листки календаря.

Ах, как не хочется вставать и наступать,
 Вдоль по берлинской улице бежать.
 Шаг до укрытия, но слышен злобный свист –
 Хороший был Аркаша гармонист.

Мечтал учиться, музыкантом стать,
 Имел для этого способности и стать.
 Четыре года всё ему везло...
 Но пишет ротный похоронку на село.

А мы на этой улице живём,
 Сосед здесь рыбу ловит под мостом.
 А я хозяйством занимаюсь целый день,
 Хожу туда-сюда с авоськой, – мне не лень.

И часто вечерами, за столом,
Сидим, друг друга слушаем и пьём –
За женщин, музыку, здоровье, за любовь,
Чтоб не лилась людская больше кровь.

Внук вырос – предпоследний класс,
С ним в «Квазимодо» ходим слушать джаз.
Он пьёт там колу, ну а я – пивко,
Мы с ним общаемся свободно и легко.

Мелодий там — разнообразия не счесть.
И мастеров имён не перечесать,
Ах, если бы не злая пуля та,
Попал бы и Аркаша в мастера.

ПРИРОДА, МУЗЫКА И МЫ

Желтеет за окном листва, –
Остаток лета убегает.
Зима сквозь осень наступает, –
Природа, ты сошла с ума!

А у людей другой резон, –
Сходить с ума им подобает,
Когда их мир не понимает,
Не слышит, правде не внимает,
А просто посылает вон.

Спасти от этого страданья
Нас может музыки звучанье,
Кого-то – джаз, кого-то – рок,
Мне лично скрипки звук помог.

Звучит струна в душе моей,
Давно так чисто не звучала.
Вибрации её хватало
На слабый звук и мало дней.

Спасибо мигу, что задев
Изгиб почти замёрзшей лиры,

Согрел забытые мотивы.
Крылом взмахнув, пропев припев,
Вернул мне, в ноты их одев.

Любви – спасибо, что смогла
Терпение моё одобрить,
Простить неверные тона,
Так жертвой Небеса задобрить,
Что дали дров мне для огня.

Мелодия, ты так прекрасна,
Что даже осенью ненастной
Улыбку будишь на лице,
Тем, кто одной ногой – в зиме.

И шанс даёшь, кто не успел
Весною жизнью насладиться.
Разглядить мятые страницы,
Исполнить вальс, что так хотел.

МЕЖДУ «ХОККУ» И «ТАНКА»

не японские стихи

Жизнь, как пёстрое одеяло
Из кусочков разного цвета,
Разной формы и разных размеров,
Нить одна, одного холстомера.

Тот лоскутик, что самый первый,
И совсем на других непохожий,
Красный – сбоку, в серёдке – белый,
И на нём – непонятные рожи.

И другие, что рядом прижались,
Не имеют чёткой границы,
Всё расплывчато, вверх ногами,
И цвета в них перемешались.

А потом вдруг ряды подравняло,
Тех, кто шил, проявился опыт,

Дни и ночи в одно связало,
Шаг стежка превратился в топот.

Понесло нас на одеяле,
Ставшим вдруг ковром-самолётом.
Ах, как страшно в воздушной яме,
Но надеемся на пилота.

От земли отрывает всё выше,
Дух захватывает от перспективы.
Цель в тумане, её не видно,
Но окрестности так красивы.

Ну а дальше – величье размера,
Цвет становится радуги шире.
Треугольники – с мордой вампира
И овалы с лицом, лучшим в мире.

Так смешалось всё в одеяле,
Что о функции позабыли,
Изначально помыслы были –
Греть должно, чтобы люди не стыли.

ВРЕМЯ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

День обмена не подлежит, все двадцать четыре часа.
В окне чуть брезжит рассвет синевой, это – начало дня.
Давай, вставай, улыбнись ему, такого больше не будет.
Завтра иной, совсем не такой, нас осветив, разбудит.

Время нельзя ощутить в руках, материя это другая,
И не понятно, как её сжать, размеры определяя.
Строят коллайдер науки мужи, чтоб понять у его причала,
Где точка, что Миру начало дала, начало жизни зачала.

То ли бозоны, атомы ли, может, другие частицы?
Волны, откуда вы их принесли, чтоб в пустоте разродиться?
Кто их так сжал, а потом, подержав, выпустил, Мир создавая –
Срок нашей жизни определил, тайну от нас охраняя?

Нет обратной связи у нас: что, кто, для чего, зачем,
Нас создавая, разъединил, границы поставив затем.
Чёрное с белым перемешал, краски в подарок дав,
Фауна тоже создана ИМ, там кролик есть и удав.

Раввин, мулла и поп говорят: чтоб смысл этой жизни понять,
Надо поклоны, нагнувшись, бить, запреты не нарушать.
Не получается мне их блюсти, бывает, и преступаю,
Не все, не номер один, два, три – седьмого не соблюдаю.

Надеюсь, простит ОН мне там, наверху, и накажет не сильно,
Ведь я, не колеблясь, руку даю тем, кто совсем бессильный.
Им, не жалея, поверьте, отдам больше, чем десятину,
Много раз я уже отдавал целую половину.

И много лет прожив на земле, в Азии и Европе,
Жаль, поздно начал время ценить, мчась по жизни в галопе.
Дети и внуки, цените все дни – морозные, жаркие, злые –
Карету, в которой живут они, кони несут вороные!

ВАРИАНТЫ

Варианты есть, пора бы всем понять!
Иль на войну пойти, или сбежать?
Иль всем делиться, или воровать?
Иль в Бога верить или отвергать?

И подлости тихонько прикрывать,
И подлецов имён не называть!
Варианты есть – рискнуть и встать
И правду всю в глаза сказать.

И каждый раз двойная колея:
Куда нам встать? Что это за игра?
Честь или слава? Деньги иль друзья?
А если, вдруг враги правы, –
То с кем сегодня будешь ты?
Где запятые, две или одна?
Решайте, каждый, для себя!

МИХАИЛ ВАЙМАН

Мой предок жил –
сплетеньем жил,
сплетеньем рук,
надежд и мук.
В плену тщеты –
его мечты,
как хмель в вине, –
теперь во мне.
Через века
несёт река
из года в год
за кодом – код.
За геном – ген
по руслу вен
в крови густой
любви настой.
В чём жизни цель? –
Сберечь лишь цепь
седых времён,
живых имён,
племён, пород –
из рода в род!

ОСЕНЬ

Унылое, сырое время года,
туман окутал рошу, небеса.
В моей душе – ненастная погода,
а на глазах – холодная роса.

В саду не слышен звонкий щебет птишек,
ресницы чуть лишь приподнял рассвет.
Срывает ветер лепестки с ромашек,
будто гадают: «Любит или нет».

В жасмине приуныли красногрудки,
курлыча улетели журавли.
В моей душе увяли незабудки.
Цветы надежд ещё не расцвели.

Что нужно нам? Немного хлеба
насущенного, воды глоток.
Любви безоблачное небо –
Всех радостей земных залог.

Не исчерпав запас терпенья,
увидеть свет в конце пути.
Сквозь все невзгоды и сомненья
дорогу к истине найти.

Что нужно нам? Немного:
лишь мир и благодать в душе.
И чтобы слышать голос Бога,
как тёзка мой, пророк Моше.

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ

С годами время мчится всё быстрее.
И кажется, желтеющие чащи
свою листву отряхивают чаще,
чем в дни прошедшей юности моей.

Как празднично цветут сады весной.
Но миг пройдёт – уже туман и морось.
День ото дня, наращивая скорость,
кружится всё быстрее шар земной

И обогнать стараясь возраст мой,
несутся друг за другом дни рожденья.
Неудержимой быстрота движенья
становится на финишной прямой.

ТАТЬЯНА ВАЛЬМОН

БАБОЧКА

Направление радостных пятен
Крыльев бабочки – солнца светлей,
А маршрут – не совсем и понятен,
Без него веселей и теплей.

Слыша голос, который невнятен,
Покачнусь на воздушной волне,
Я свободна от ссадин и вмятин,
Но, всегда – параллельна земле.

И нектар будет лёгким и сладким,
Если брать только то, что своё,
Помнить, как не попасть на булавку,
От которой никто не спасёт...

Кто-то знал меня лучше, чем знаю
Я себя, и, поняв до конца,
Просто выпустил к скорому краю,
И на пальцах осталась пыльца.

ПТИЦЕЛОВ

За то, что чувства мои хрупки
И кровь отхлынет
От отпечатка моей руки,
Серей полыни,
Ты, если скажешь обо мне,
не помня имя.
Меня вчерашней больше нет,
Как снов в гостинной.
Ты – птицевед и птицелов,
С сачком сафьяна
Не источай румяных слов,
Не трать обмана.

ИЗ БУХТЫ

Моя любовь не навсегда.
Огни прогнившего причала
Подарят визу в никуда
И веру в новое начало.

Моя любовь пойдёт ко дну,
Ещё жива, но бездыханна.
Я, пожелав, не посягну
На то, что стало океаном.

ОТВЕТ

Крыльев нет и не будет,
А земля жжёт ступни.
Раз не можешь помочь мне –
Как следует пни!
Хищным зверем – ласку губ и руки.
Ела с ножа, погасив маяки.
Помнила, чуяла: крепок мой нож,
Если простое – не просто.
Знаю, меня за стеной подождёшь,
И даже там ты уже не рискнёшь
Мне задавать вопросы.

НАШ ГОРОСКОП

Первые гибли,
Вторые жалели,
Третьи боялись шизофрении.
Вслед им четвёртые завистью тлели,
Пятым уставившись в спины.
Мысли шестых были невозмутимы.
Нервы седьмых возгорались.
Страсти восьмых пронесли их мимо
Каждой девятой детали.
Сталь и цемент – вот упрямство десятых.
Двум единицам – плясать да летать.
Дюжина томной мечтою богата.
Первым – на выход! Им гибнуть опять.

ПРИМАДОННА

Стань идиолом толпы, раздав
Ей жар нетронутого тела.
Они проглотят, как удав,
Твой взгляд стыдливый и несмелый.

В пурпур и жемчуг оголясь,
Явление, гений, истеричка,
Огарком хрупким растворясь,
Лишь прошипев, как в море спичка,

Непревзойдённая, одна,
Твой нимб остался неподвижен...
Влюблённых вида у окна,
Забытая, умрешь в Париже.

УТРО

Танцы во сне и дожди на стекле,
С берега дальнего моря.
Неуловимые блики во мгле
Сложатся в хрупком узоре.

Перст указующий, слабая боль,
Красное семя рассвета
Выбросят отзыв на старый пароль
Медью летящей монеты.

Берегом неба, бессильным огнём,
Лаской уютного света...
Что же потом, что же будет потом,
Если пройдёт даже это?

Мечты наяву,
Я за ними плыву
Планы или идеи...
Полный ход кораблю,
Это я и люблю:
Розы зовут орхидеи...

НОРА ГАЙДУКОВА

АНДРОИД

Мы – прислужники наших андроидов,
В них, как в яйце Касея Бессмертного,
Вся наша жизнь запакована

Они нам диктуют язык общения,
С деньгами обращение,
Правила верного поведения

Эта маленькая электронная штучка
Всё обо всём знает,
Что для тебя лучше

Ты бережёшь её старательнее
Чем собственную душу
Нежно к себе прижимаешь

Боишься уронить, потерять.
Когда же это мы успели,
слугами наших собственных
роботов стать?

МАЙСКИЕ ГЛЮКИ

В. А.

В этой жизни,
Когда всё уже перестало
Быть интересным и новым
Я увидела Вас
Как будто вернулась
В пионерский лагерь
Девочка с длинной косой
В танцевальном ансамбле
Безответно влюблённая
В сероглазого мальчика Гену
Вы безмерно талантливы

Некорректно звучит
Слово гений
Но ощущение погружения
Не проходит
Как будто ныряешь
В прохладную воду
Любви и памяти
Весны и разлуки
Среди пения
Майских птиц
Исчезают границы
Да и нет их, вообще,
Границ...

МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД

В этом маленьком городке
Розы цветут круглый год
белые улицы неторопливо
Спускаются к морю
Немецкая, голландская,
Английская, норвежская
Жизнь идёт налегке
Кажется, нет ни болезней
Ни горя, ни зимы, ни осени
С затяжными дождями
Ни слез, ни бедности,
Ни потери близких людей

В этом маленьком городе
Где бывали и мы с тобой
Не кончается лето
Вечный морской прибой
Нарядные старушки
В кукольных платьицах
С кожей помятой сухой
Всегда улыбаются
Молодой водитель автобуса
Здоровается с тобой
Надо перестать сожалеть

О прожитой жизни
Просто радоваться
Пока живой

СУДЬБА

Где-то в Небесной Канцелярии
Лежит на столе книга,
Где записана моя судьба
Ленивый служащий
Иногда листает её
Может вырвать страницу
Тогда что-то не случится
А только приснится
Судьбу могут положить
Не на ту полку
А после искать
Нудно и долго
А если в канцелярию
Проникнет ночной вор
Красть чужие судьбы
Совсем без разбору?
Но утром придёт
Самый Главный Начальник
Всех судеб в мире
Ему принесут кофе
И бутерброд с сыром
В хорошем настроении
Он допишет ещё главу
Может, и не последнюю
Наверно поэтому
Я ещё живу...

ЖАРА В БЕРЛИНЕ

Жара упала на Берлин
Плывет по небу жёлтый блин
Как будто сауна повсюду
Лишь в магазине климат – чудо

И изнывая от жары
Мелькают прежние миры
Проходят вяло динозавры
Жары любители кентавры

Обняв неполные бутылки
Мы спорим искренне и пылко
Открыть окошки иль закрыть?
Побольше пить или не пить?

Детишки дремлют и во сне
Всё снится дождик по весне
Прогнозы слушаем погоды
Молитву шепчем: дайте воду

Всё это климата гримасы
Что предсказал нам Альберт Гор
Как катастрофы приговор

Но Нобелевский комитет
Не может дать простой ответ:
Так будет дождик или нет?

МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ

Владимиру А. Ко дню рождения

Но ведь это не страшно
Ничего, что я чувствую себя
Семнадцатилетним подростком
Глядя на Вас
Через призму Воды
Убегающей гулко
В разломы столетий
Над рекою Москвой
С небоскрёбов смотрю
И с мостов, и с холмов
И с лужаек Заречья
С куполов золотых
С колоколен, со старых
Церквей, из отелей

Стремящихся в небо
 Я смотрю, и смотрю,
 и смотрю
 Вижу Ангела на парашюте
 И птицу, а в клюве
 Подарок – этот день
 Мягкий взгляд
 Ваших глаз тёмно-синих
 И прощальная Ваша
 Улыбка

КНИЖНЫЕ ПОЛКИ

Маленькие каникулы
 среди небоскрёбов
 Туманными летними днями
 На пыльных московских улицах
 Среди зелёной травы
 И разноцветных лепестков мальвы
 Среди кружащихся толп
 Незнакомых людей
 Чёрных машин с блондинками
 За рулём и дружелюбных
 Стражей порядка

Под серым небом среди горы книг
 Приправленных свежей черешней
 Вряд ли их кто-то прочтёт когда-то
 Ведь все непрерывно пишут,
 И пишут, и пишут
 Переполненные полки
 Могут упасть однажды под тяжестью
 Мыслей, сравнений, метафор
 И что под ними окажется – ад или рай?
 Это никому не известно

ДВА ПОЕЗДА

Как отличаются
эти два поезда
Как Россия от Запада
Как русский от немецкого
Как Германия от России
Как мистический Питер
От чёткого Гамбурга

Как я ненавижу «хай тек»
Все эти чипы голубые
Квадраты жёсткие
Кнопки зловеще
Мигающие в темноте
Бескомпромиссно
Хлопнувшие двери
А скоро будет
Электронный проводник

Мы порожденье прошлого
Вот этих облезлых
Стареньких вагонов
Кокетливо украсивших
Обшарпанные туалеты
Флаконами дезадорантов
И этот милый говорливый
проводник
Похожий на полового
Из дорожного трактира
с кипящим
Старомодным бойлером
Запрятым в футляр
С корявой дверцей
А мимо наши русские
Леса всё те же
Равнодушные
к «хай текам» и
Июльской зелени
Благоухающие кущи
Лиловым украшает

Иван Чай
 Мелькают старые
 И новые домишки
 огороды
 Прогалины пруды
 И маленькие речки
 А город кажется
 Далёким как луна
 Но приближается
 неотвратимо
 И невозможно
 От него укрыться
 Даже в убогой
 Хижине
 В задворках
 Старой Руссы...

ПАМЯТНИК АННЕ АХМАТОВОЙ

Анна Андреевна,
 В этом строгом и стройном
 Городе
 Переполненном суетливыми
 Торопливыми туристами
 Для кого-то Вы – только
 Памятник худощавой
 Стройной женщине
 С длинной шеей и
 Носом с горбинкой
 Недалеко от Кораблика
 Он всем понятен
 И не вызывает вопросов
 Как и тюрьма Кресты
 Напротив
 Туристы не знают,
 Что умер уже серглазый
 Король и почему
 Вы путаете перчатки
 Им от этого не холодно
 И не жарко

Тогда Вы сходите
С пьедестала –
Идёте величественно
Ведь Вы – наша королева
Поэзии
Смешиваетесь с толпой
Шепчете на ухо молодой
Девице
Татуированной здесь и там
Ваши пронзительные стихи
Она вдруг начинает
Их декламировать
Люди передают их
Один другому
Тогда Вы улыбаетесь
И возвращаетесь на Ваш
Пьедестал
Снова стоите гордо
Глядя на холодную реку
А стихи шелестят
В листве деревьев
В шуме дождя
Их позабыть нельзя...

ЭРМИТАЖ

После дождя среди лилий
Может быть, это кувшинки
Картина Моне зеленеет
В новом здании Эрмитажа
Мой институт окнами
На Александрьевский
И дворцовую площадь
Цоканье под копытами
Коней конки по мокрым
Булыжным камням
Проявилась архитектура
Постмодернизма
А раньше была на бумаге
Приправа «хай тек»

Дождь без зонта
 Тёплый июльский,
 Возможно, кислотный
 Город прозрачный
 Свисает с чарующих
 Девичьих масок
 Львиных нахмуренных
 Каменных морд
 Сейчас до тебя –
 650, а завтра будет –
 Две тысячи
 Молчат львы
 Уже больше столетья.

ПИКНИК В КАРЛСХОРСТЕ

На солнечной ухоженной лужайке
 Нет ничего случайного
 Ни кустика, ни дерева
 Какого-то заброшенного уголка
 Укрыться от посторонних глаз
 Берёза отчего-то заболела
 Сухие ветки наполовину
 Мёртвые протягивает к небу
 Грустит посередине
 Маленького рая
 Цветы построены
 Нарядными рядами
 Немецкий порядок
 Привык торжествовать
 Кивают головами
 Стекланные слоны
 Железный павлин
 Гордо поднял голову
 Он требует внимания
 Скрипучим голосом
 Сзывает нас к обеду
 Качели и качалки
 Фигура нимфы в скромном
 Белом балахоне

Все отдают хозяйке честь
Сидим как римские патриции
Салаты и закуски
Люля-кебаб дымится
Отсвечивает не прожаренною кровью
Здесь водка поглощается
С любовью к литературе
«До и После» этого обжорства
Встреч разлук
Землетрясений лесных пожаров
Стрельбы в Огайо
Наводнений в Индии
Мигрантов в немецких городах
Взаимных оскорблений похвал
Скандалов примирений
На десерт всем тёплые
Объяты пикник в Карлсхорсте
Летний призрак счастья

ЕВРЕЙСКИЙ ПОЭТ

Он был почти слепой
Мешугене с рожденья
В очках с огромной линзой
Торчащими ушами
Ну просто карикатура
В антисемитской прессе
Ему неважно было
Что есть и где проснуться
Но он писал стихи
На маленьких листочках
Иль просто на газете
Писал и дни и ночи
Сквозь линзы различая
С трудом свои поэмы
Вся жизнь вот так мелькнула
Листочки все пропали
Никто их не прочтёт
А, может быть, и зря
Возможно новый Пушкин

А может быть и Гейне
Высокомерный Бродский
Печальный Мандельштам
Утрачен безвозвратно
Прочту по нём молитву
Я подойду к равнине
И закажу Каддиш...

ЧАЙКИ

Кто сказал, что все птицы поют райскими голосами
Послушайте чаек. Это скрежет несмазанной двери
Равнодушна природа к нашим мечтам и печалям
Уж давно она к нам не имеет нисколько доверия

** В стихах оставлена авторская пунктуация
(примечание редакции).*

СЕРГЕЙ ГАПОНОВ

75-летию окончания Второй Мировой войны посвящается...

КАЛИТКА В РАЙ

Архангел в чёрном твердил Завет:
«Sei ruhig, Arbeit macht frei!»¹
У этой калитки охраны нет,
Поскольку калитка – в Рай.

И ржавы рельсы, и горький след
Вдоль рельсов ведёт за край.
У этой калитки охраны нет,
Поскольку калитка – в Рай.

Еврейский мальчик, больной скрипач,
Коснулся смычком струны.
У этой калитки не слышен плач,
И окрики не слышны.

Здесь – только музыки вечной зов,
Здесь – только слова молитв.
Но сердце Бога от этих слов
Не ноет и не болит.

«Что скажешь, Господи?»
А в ответ – за лесом – собачий лай.
У этой калитки охраны нет,
Поскольку калитка – в Рай.

Открой, войди и шагни на свет,
И больше – не умирай.
У этой калитки охраны нет,
Поскольку калитка – в Рай.

Живи – как можешь, – хоть триста лет.
А веру не выбирай.
У этой калитки охраны нет,
Поскольку калитка – в Рай.

Здесь – только музыки вечной зов,
Здесь – только слова молитв.
Здесь тот, кто видел и знал Любовь,
Слезами дождя полнит.

Хрипела скрипка, скрипел смычок,
дрожал язычок свечи.
И было больно и горячо
ложиться в огонь печи.

На твой концерт не купить билет!
Не бойся, майн йингл,² играй!
У этой калитки охраны нет,
Поскольку калитка – в Рай.

ЯНУШ КОРЧАК

Пан Корчак, майор польской армии, болен и стар.
Он мерить шагами Варшавское гетто устал.
Бородка седая, с упрямой горбинкою рот.
Пан Корчак сегодня – дежурный по дому сирот.

Сегодня и завтра, и дальше – до судного дня
Идёт по Варшавскому гетто, шагами звеня,
майор польской армии Корчак, писатель и врач.
А в Трешлинке требует шнапса на ужин палач.

Пан Корчак с улыбкой выводит из Дома сирот
две сотни детей – разношёрстный весёлый народ.
Двух маленьких за руки держит, ведёт за собой.
Он мог бы за них расплатиться майорской судьбой.

Конечно, с улыбкой! Не плакать! Сиротам нельзя!
У Хенрика Гольдшмита есть и судьба, и стезя.
Он мог бы за них расплатиться майорской судьбой.
Двух маленьких за руки держит, ведёт за собой.

Он мог бы за каждого сердце отдать без труда.
Тогда, может быть, растворилась бы в небе беда.
Пан Корчак приводит детей на вокзал, на перрон.
«Не все же мерзавцы!» Качнуло от боли вагон.

«Не все же мерзавцы!» Качнуло от боли вагон.
 В печи паровозной притих на секунду огонь.
 Но чёрные руки подбросили в топку угля.
 И чёрную оторопь сбросила в космос Земля.

И в чёрном шагнул к старику офицер молодой.
 Пан Корчак горбинку упрямства прикрыл бородой.
 «Вы – Корчак, писатель? – качнуло от боли вокзал. –
 Вы книги хорошие пишете, я их читал!

Сажайте в вагоны детей и идите домой!»
 «А дети?» «А дети поедут без Вас, но со мной!»
 Пан Корчак горбинку упрямства прикрыл бородой.
 Майор польской армии, врач и писатель седой.

«Не все же мерзавцы!» Он обнял своих малышей.
 Минутную слабость гоните из сердца взашей!
 Дышите, любите, летите, раз крылья даны,
 Какой бы Вы ни были вере безмерно верны.

Повёрнуты краны, разлился по камере газ.
 И в камере с газом закрылись четыреста глаз.
 Последним пан Корчак шагнул за порог, в тишину.
 «Не все же мерзавцы!» Качнуло от боли Луну...

¹ *«Будь спокоен. Труд делает свободным»;*

² *мой мальчик.*

ДИНА ЕЗРИЛЬ

БЕЗ ТЕБЯ

Сияния нет бесконечного
 И скрипок волшебных нет.
 Нет синевы беспечной
 И солнце не слепит век.

Нет озорства дневного
 И радости нет взхлёб.
 Нет колдовства ночного
 И самых святых нет слёз.

Есть камень без трав, суровый,
 Пустыня есть без миража.
 Есть соловей безголосый.
 Павлин есть без хвоста.

Без панциря есть черепаха.
 Без листьев шумящий лес.
 Сосна – без хвойного запаха
 И мир – совсем без чудес.

Не любите меня, пожалуйста,
 За красивый цвет лица.
 Не любите меня, пожалуйста,
 За прекрасные глаза.

Не любите меня, пожалуйста,
 За чудесный рисунок губ.
 Не любите меня, пожалуйста,
 За прозрачность и тонкость рук.

Не любите меня, пожалуйста,
 За серебряный голос мой.
 Не любите меня, пожалуйста,
 За волос скользкий шёлк.

Не губите во мне, пожалуйста,
Надежд на долгий Рай.
Не будите во мне, пожалуйста,
Боль от будущих горьких ран.

Мне сегодня не спать,
Мне не спать до утра.
Ах, как пахнет жасмином апрель!
Я хочу целовать,
Целовать без конца.
Я могу умереть теперь.

Нежной трелью, боюсь,
Изойдёт душа.
Не могу заглушить свирель.
Мне сегодня не спать,
Мне не спать до утра.
Ах, как пахнет жасмином апрель!

Где ты, *нежность*,
Ранящая нежность?
Утопи, не жалея меня.
Дай мне нежность,
Щемящая нежность,
Задохнуться в твоих тисках.

Где ты, *ласковость*,
Как дуновенье?
Лёгким ветром обдай меня.
И в уютной своей колыбели
Успокой на волнах тепла.

Где ты, *шорох*,
Как шёпот осенний?
Для беседы меня пригласи.
И мне на ухо стихотворенье
Прошепчи, прошелести...

Похолодела душа,
Сморщилась,
сжалась.

В жёсткий кулак
Вся вместилась
усталость.

И, как проталинка,
Жалость
ещё осталась.

Пусть вечным спутником твоим
Поэзия пребудет.
Пусть приподнимет занавес
Над тем, что есть и будет.

И пусть в душе откроет
Тайное горенье,
В котором – жизни суть
И ей благодаренье.

ДИВНЫЙ

Бесснежная зима.
Над городами синь.
Египетская тьма –
До Рождества Христова.

Мой Ангел, дорогой,
Ты только не простынь.
Уберегу тебя
От ветра злого.

Тебе я буду петь,
Дарить свои стихи.
Укутывать в слова
И рифмой утешать.

Мой милый, ты не спишь?
Над городами тишь –
Там не разрешено
Безмолвию мешать...

Мой дивный, слышишь ты
Какая тишина?
Какая благодать?
Какое наслажденье

Из бархата ночного
Крылья вырезать
Дню новому
Ко дню рожденья!

Мой Ангел золотой,
Ты еле различим –
Ещё синее тьма
Египетских пророчеств.

Ты только не усни!
Ты только не простынь!
Мой Ангел –
Друг тишайших одиночеств...

ИЗ НЕБЕСНОЙ БИРЮСЫ

Ты смотри на меня, смотри,
Загляни в мою грусть и сладсть.
Крылья лёгкие распахни,
Охрани и не дай пропасть.

Отдыхаешь навряд ли ты,
Ты, ведь, Ангел – без устали.
И имеешь высшую власть –
Далеко ли, близко ли...

Помоги мне – сей час, сей день,
Назарета открой врата!
Ты, ведь, Ангел, не просто тень!
Сплошь из золота. Зо-ло-та!

Солнцем яростным воссияй,
Воцарись на Земле – добром!
Ты – мой Ангел, а я – твоя,
Пусть не золото – серебро...

Я из плоти. Из плоти я.
На заре я напьюсь росы!
Я не золото – серебро,
Из небесной я бирюсы.

ТАМ

Там за дымкой – серебряный спрятался день.
Полусонное солнце не хочет вставать.
Белоснежный кораблик пронзает рассветную тень,
Беспокоит своим появлением смиренную гладь.
Торопись насладиться прохладой – предтечей жары,
Наглядеться на море – безбрежная, синяя песнь...
Обнажённо и искренне, просто, без мишуры,
День родится и скажет: «Я – есмь!»

ОСТРОВ ЖОРЖ САНД И ШОПЕНА

1.
Вымерзли чайные розы
В горных садах Вальдемосы*.
Хищные белые птицы
Рвут сердцевину граната.
Тени усопших монахов
Поют на своей половине.
Колокол бьётся упрямо
В ночь – терпеливым набатом.

2.
Муза Твоя – тихий шёпот,
А музыка – ропот.
Коротко ль, долго ль,
Не ведаю – слушаю сердце.
Мне бы надежды чуть-чуть
И немного согреться.
Где раздобыть шоколад
Вместо соли и перца?

Музыка! Музыка льётся,
Стенают потоки.
Выйду в полуночный сад
Жадны лунные блики.
Музыка, музыка
Бьётся о дверь базилики.
Душно, как душно сегодня
О, Боже великий!

Тонет. Во тьме утонул
Позаброшенный остров.
Ночь. Ничего! Ничего
Не придумало сердце.
Солнечный луч...
На него я смогу опереться.
Выжить («пропущено») выжить –
Giu di un terzo**.

Выжить – Уехать – И выжить.
О, солнечный гений,
Музыке: руки-лучи

И корабль в подмогу.
О, пред тобой, Светлый Бог,
Преклоняю колени.
Выручи из Вальдемосы
Беднягу Шопена!

3.
Шёпотом – музыка.
Муза – далёко, далёко...
Зреют гранаты.
Полудня спасительны блики.
Глупое сердце –
Тебе не дано веселиться.
Чайные розы...
Далёкие лица и лики...

4.
Кто это? Хищные птицы
Граната клюют сердцевину.
Что это? Тихие песни
Монахи поют, пилигримы.
Муза, куда ты? – «далече...»
Музыка – душевной волною.
Что же так – соли и перца
Вместо любви под луною.
Вместо здоровья – напасти.
Вместо свободы – зависим.

Окон голодные пасти.
Вечно холодные стены.
Боже, как долго нет писем!

Остров Жорж Санд и Шопена.

* *Вальдемоса (исп. Valldemosa; кат. Valldemossa) – населённый пункт острова Мальорка.*

Зиму с 1838 на 1839 год великий польский композитор Фредерик Шопен и французская писательница Жорж Санд провели в Вальдемосском монастыре;

** *На терцию*** ниже;*

*** *терция – музыкальный интервал.*

СААДИ ИСАКОВ

ХАЦКЛ ГУГЕЛЬ И ФЕЙСБУК

Дед любил, сощурившись, глядеть на солнышко, будто там были ответы на его вопросы. А их было у него немало.

Деда звали Хацкл Исайевич Гугель. И отец его был тоже Гугель, а дед Иеремия – булочник по профессии. А по характеру Хацкл Исайевич был фантазёр и утопист, каких ещё поискать.

Родился он в 1899 году, и как он сам говорил, имея акцент, в местечке под «Семфаропалем», – так он называл город на идишский манер. Образование получил в хедере, мог пойти дальше по религиозной линии, но не пошёл. В конце концов, стал по зову партии трактористом, что в те времена приравнивалось по редкости и пафосной романтике к шофёру и лётчику, только за вычетом скорости и высоты.

В 20-е годы его направили пахать в отсталый Дагестан, где дед через год заболел малярией и был отозван долечиваться в Москву. Тут он пошёл по партийной линии, долго носил в кобуре наган, пока не стал директором паровозного депо завода им. Владимира Ильича.

В войну деда наградили орденом Ленина, после чего посадили в 1949 году как космополита, потому что настали времена, когда сажали за это красивое словцо, весьма приблизительно понимая его смысл.

Но дело вовсе не в том, что его посадили как космополита, а в том, что посадить его следовало давно и за другое, – за оголтелый троцкизм, за его завиральные фантазии, шальные пророчества и блажной трёп о будущем, кружившем голову наивному крестьянину и пролетарию.

Рассказывали, что будучи ещё трактористом, он мог в обед собрать вокруг себя на пашне работающую кодлу и, щурясь глядя на солнышко, рассказывать о том, что скоро настанет такое время, когда люди перестанут голодать, в каждом доме будет «лампочка Ильича», паровое тепло в металлических комодах, а продолжительность жизни удвоится, а то и утроится. Рабочие и крестьяне перестанут страдать от болезней, а только по пустякам, то есть от неразделённой любви, острой зубной боли и лёгкой простуды. В любом, даже самом совершенном обществе не без этого, потому что человек от природы слаб и его может убить лесной клоп. Короче, придёт время и настанет сущий Рай на земле, если победить вредного клопа. И если человек будет несчастлив, то сам виноват. Удивительно, что то же самое ранее твердил Л. Н. Толстой. Также известный фантазёр и путаник. Так уж у них совпало. Это не противоречило, впрочем, и иудейской доктрине, согласно которой на вопрос, как дела, следует отвечать: «Наслаждаюсь жизнью».

Конечно, не все ему верили, потому что прогнозы на фоне голодной и скудной действительности, периодической засухи и суховея казались неправдоподобными, а дед выглядел мечтателем и болтуном, но в отличие от Нострадамуса, чьи пророчества нужно читать между строк и уметь красноречиво трактовать, подлаживаясь под актуальную современность, дед Хацкл Гугель был человеком с фантазией, однако с уклоном в конкретику, а не вокруг да около, и мог рассказать детали, которые Нострадамус умышленно презирал.

Например, дед мог рассказать, что к 2000-му году в сельпо, в этом «унылом кладбище продуктов», на прилавках будут не только хлеб, керосин без перебоев, мутное подсолнечное масло, спички, соль, крупа, скобянка и плохо отёсанные гробы, а как минимум пять сортов швейцарского сыра, с десяток различных копчёных колбас, горячительные и прохладительные напитки, съестные запасы в банках, чёрная икра и рыба, правда на Каспии, где он служил трактористом, её и так было завались, а также сувениры, производства местных умельцев, из вишни и серебра. А также экзотические овощи и фрукты, а огурцы величиной с милицейский регулировочный жезл.

– Зачем всё это? – в недоумении спрашивали крестьяне, нелюбезно собранные партией в коммуны по совместной обработке земли.

– Не знаю, – отвечал дед Хацкл Гугель, глядя на солнышко. – Так будет. Нас этому учит партия.

Конечно, про партию он приврал, не имея к ней пока ни малейшего отношения. Но тогдашние партийцы бредили мировой революцией, всеобщим равенством, электрификацией всей страны и сотворением Рая на земле, так что он мало чем от них отличался, и получалось, что дудел с ними как раз в одну дуду.

Коммунары, наслушавшись таких речей, с новым энтузиазмом приступали к работе, разбивали комья земли, грубо захваченные и вывернутые плугом, очищали пашню от доисторических ледниковых камней и думали, что своим вкладом приближают эпоху всеобщей сытости, что было отчасти верно.

Замечу, что представления деда о Рае, в отличие от большевиков, тоже имели вполне конкретные очертания, хотя были совершенной выдумкой. Признаюсь, даже у первобытного или более продвинутого человека представления о Рае были вполне утилитарны и связаны, в основном, с тем, чего не доставало и имело дефицит в тех или иных общественных кругах при жизни. Рай крестьянина и партийного работника отличались, как жидкие капуста и щи от крупного морского жемчуга.

Поэтому в Раю должно было быть всего вдоволь по принципу: кому чего не хватало, тому – вынь да положь. Тут дед не изобрёл ничего нового. Пролетарию и крестьянину – поесть досыта, преимущественно, ничего не делать, наслаждаясь досугом и развлекаясь с семьёю двумя гуриями

в награду, если при жизни девки тебе не дадут, ну и все будут вежливы на взаимной основе; а интеллигенция представляла себе Рай, как затяжной катарсис на основе сопряжения с Богом, как «лампочку Ильича» от переменного тока, то есть реально – не пойми что, поскольку интеллигенция никогда толком не знает, чего хочет, а просто есть и пить ей мало и по ханжески стыдно.

Представление деда об Аде было тоже изошрённо, изобретательно, мельчайше подробно, пугающе детально и болезненно извращённо, потому что жизнь у большинства так устроена, что даёт разнообразную почву для адской фантазии куда в большей степени, чем о райском блаженстве, а установка на страдание вбита с детства, так как блаженство у многих народов надо заслужить болью, мучениями, терзанием и скорбью. Однажды дед в припадке воображения рассказал своему знакомому, что преисподнюю представляет себе, как раннее утро в переполненном московском метро, где в недалёком будущем будут почти одни инородцы. Редко встретятся русские. Но в очень плохом, прямо ужасном настроении.

Но потом его фантазия перешла на стальные коробочки, на которых снаружи будет нарисована надкусанная груша и через них можно будет разговаривать на расстоянии без проводов, посылать письма и даже обмениваться фотографиями родных и близких.

– У каждого – свой именной домик в пространстве абстрактного генератора. Там будут собраны все новости о самом человеке, и можно будет туда свободно заглянуть и всё посмотреть: где и как он живёт, что он делает, что ест, кто его жена, как учатся дети, под каким кустом он сидел вчера, и не нужно будет устанавливать наблюдение и прослушку, потому что каждый будет добровольно сообщать про себя всё, что хотели бы знать о нём в МГБ. Экономия времени и государственных средств налицо.

Было это в 1949 году. Было ему тогда пятьдесят лет, в то время – средний старческий возраст по стране. Замечу, что скептик Блез Паскаль умер в тридцать девять лет, по тем временам, глубоким стариком. А его современник Томмазо Кампанелла – в семьдесят, косвенно доказав, что утопии полезны для здоровья.

– А зачем человеку будет так делать? – спросил бдительный товарищ.

– Сдуру, – дед снова посмотрел на солнышко, – и из хвастовства.

– Глупости, – сказал знакомый и сразу донёс на фантазёра куда следует, то есть прямо в МГБ, о котором шла речь, потому что по факту получалась скрытая критика органов по части их эффективности за счёт сравнения с будущей крамольной перспективой.

В МГБ эту информацию нашли настолько интересной и одновременно до такой степени классово вредной, что выдумщика арестовали. Его допрашивали в присутствии самого Лаврентия Павловича Берии, генерала и

орденоносца, сидевшего тихонько в тени в поисках интереса для оборонки СССР. Потом исключили из партии, лишили ордена Ленина, натруженного в войну, судили, и отправили на десять лет в Мордовские лагеря, напрямиком в Потьму, где дед на этапе случайно встретился со своим зятем, то есть моим отцом.

– Тебя на сколько? – крикнул, обернувшись дед.

– На десять, – ответил отец.

– И меня на десять, – шагая в строю и шурясь от солнца, прокричал дед. – Может, ещё когда увидимся.

Так что маме моей было удобно возить передачи отцу и мужу за один присест, потому что их лагеря были в тридцати километрах друг от друга, и ей было по пути.

В заключении дед Хацкл Гугель продолжил своё сочинительство будущего уже в окружении солагерников. Напомню, что таких болтунов уголовники ценили и по блатному называли «романистами».

Вернувшись из лагеря по счастливому случаю смерти Сталина, амнистированный скорее всего по ошибке, потому что, как знаменитый «романист» всегда тёрся среди уголовников и паханов и, видимо, по этой причине попав в их списки, дед устроился обратно на завод Ильича, теперь уже в котельную на низкую должность истопника, а партии в укор стал ходить по субботам в синагогу и вспомнил, чему его учили в хедере. А что касается сочинительства, нисколько не присмирел, а даже наоборот, фантазия его превратилась в могучую, бурную реку Терек. Он был уверен, что в скором времени все евреи уедут в Израиль, машины будут ездить без водителей, а станки работать без слесарей, лечиться придётся по телевизору, только-только появившемуся в зажиточных семьях, знакомиться станут не на улице, а сидя на кухне, и будут так мало знать, что скоро не состарятся, поэтому жить будут в среднем до 120 лет. Причём через коробочку без проводов гордые граждане счастливо и с энтузиазмом станут сами на себя строчить доносы, и придёт мода заводить детей через пробирки, тоже не выходя из дома.

Но былого успеха, как в лагерной Потьме, дед не достиг, а по старости часто сбивался в повествовании на идиш, видимо, впадая в местечковое детство.

Последний раз мы встретились перед моим отъездом в Германию в 1994 году. Он был уже основательно стар, из дома не выходил и потихоньку готовился нас покинуть. Поживи он ещё немного, дожил бы до Фейсбука, который, как оказалось, действительно ничто иное, как средство для саморазоблачения, основанного на мелких амбициях пошлого середнячка. Его недалёковидный современник Лаврентий Павлович Берия, хотя и подерживавший создание водородной бомбы, но посадивший деда за сбывшиеся в будущем пророчества, хотя предварительно и не понял его, но сейчас был

бы им весьма доволен. Но, как известно, и с бомбой нам пришлось догонять и перегонять, и здесь ЦРУ также перехватило инициативу у ФСБ. Так что Берию расстреляли поделом.

Однако дед был по-прежнему убежден, что мы живём в Раю, потому что его представление о нём мало-помалу сбылось, жить стало сытнее и комфортнее, и даже Берия был бы доволен, и ещё потому, что всё, что не война, то Рай, а теперь ему, по его логике, предстоит отправиться для разнообразия в Ад, где голод, холод, мор и снова война, где он предвидел для себя место окопного или лагерного «романиста».

Как правоверный еврей он знал, что когда-нибудь по принуждению Мессии кости его обрастут жилами, покроются плотью и кожей, возвратится дух, и он встанет и покинет могилу, вернётся на Землю, но сейчас пребывание желательно прервать, потому что дед Хацкл Гугель попросту устал жить, и нужна временная передышка.

Да, и ещё, по его собственной версии, и от Рая тоже можно физически и нравственно подустать, и стоит временно отправиться в небытие, наугад, подальше от этого всеобщего идиотизма.

А солнышко? Его и оттуда будет хорошо видно.

АЛЬБЕРТ ЛЕИН

Мысли, словно вороны.
 Дней дрожит пожар.
 На лице у города
 Оспа дождя.

Парки обезлиственны,
 Небо в пепле туч,
 Пробегают лисами
 Ветры по мосту.

Город пробетховенный,
 Разлохмачен вдрызг,
 Камнями окованный
 Берега карниз.

Тычутся котятами
 Лодки о причал,
 Дождь тоской растянутой
 На Земли плечах.

Я боюсь чумы бессонниц
 И предательств-палачей...
 Жутко месяц колокольной
 Над землёй висит ничьей.

Тишину пугают искры
 Тайн холодных спелых звёзд,
 Словно силою нечистой
 Завороженный я гость.

Воспоминания – разрушенность Помпеи,
 Но память-археолог ворошит
 То время, что восторженностью пело,
 Сейчас оно на кладбище лежит.

Венчает крест, где прошумела юность.
И на мои года стал мир взрослей.
И ноши не осиленная трудность
На плечи давит грубостью своей.

Который день дождями пытка,
Стоят нахмуренно дома,
Деревья, как стволы зениток,
Расстреливающих туман.

Болеет осенью зима,
Капли хлесткой кривотолки,
Как будто в библиотеке полки
С большими мыслями тома.

Загадочность последних зим,
Ожесточённость неуюта.
Мы вечером с тобой сидим
С долгом, не отданным кому-то.

И по моим по чувствам-кочкам
Ты пронеслась, как ветер шальной,
Без сантиментов-проволочек,
Безумьем, радостью, бедой.

За строчкой стынет многоточье...
И в мире мы живём ином:
Два Агасфера одиночья,
Два слова в языке чужом.

Когда зари весёлый ножик
Разрежет горизонта сыр,
Нам кажется, что всё возможно...
И что душевных нету дыр.

Есть в ожиданьи свет надежд,
Когда в привычках мы томимся,
От них хотим освободиться,
Как от изношенных одежд.

КОНСТАНТИН КЕРБЕЛЬ

«РОМАШКА – ЦВЕТOK НАДЕЖДЫ»

Продолжение.

Начало см. в Альманахе «До и После» № 23

К обеду он преодолел почти километровый спуск. Пожатия, объятия, поздравления. Катя, Катюша, Катерина...! Смущённая от необходимой сдержанности, радостная от созерцания долгожданного, медленно подошла, взяла под руку и провела к своей палатке...

– Подожди, Катенька, ну подожди... Надо помыться, привести себя в порядок...

Слова были ласково-молящие, весёленькие, податливо-доступные. Зажав голову руками, прерывисто вдыхая воздух, она целовали его лицо без всякого разбора. Ромка, сидя на стуле, придерживал её коленями, нежно обхватив бёдра руками, как тогда, на вокзале, их обнимали модные брючки.

– Мой, мой, единственный, навечно любимый, навсегда...

Уселась на колени, а он, склонив голову на её грудь, жадно вдыхал аромат тела с далёким, еле уловимым запахом «Красной Москвы».

– Необходимо планёрку провести. Будем закругляться. Думаю, дня через три отчалим. Собирай потихонечку вещи. Вызовем проводников. Образцов и бумаг столько, сами не осилим. Давай милая, пойдём к ребятам.

Все быстро расположились у большой палатки со снаряжением и продуктами питания.

– Друзья, программа выполнена! Мы проделали большую работу! Спасибо вам огромное! Я пробегусь. Попробую подойти к вершине с северной стороны. Там у нас – «белое пятно». Через три дня соединимся все вместе.

– Роман Романович, по утверждённому плану северная сторона у нас не запланирована.

– Лена, а Вы всегда придерживайтесь плана?

– Командир, как топограф, замечу, – северная сторона в изобилии пересекается «бергшруднами»*. Там их такая паутина – «мама не горюй». Правда близко я не подходил, но ледяных стен и капканов там достаточно. Без подстраховки – не одобряю.

– Антон, приветствую твоё созвучие с Лёвочкиной. Ты знаешь не хуже меня, чем меньше участников, тем быстрее прохождение.

Он остался сидеть за столом. Рассматривал схемы, фотографии. Зачитывал описания.

«Западная, восточная, южная – все они сложные, но ведь проходимые. Почему северный склон недоступен? Откроешься!» Стал вычерчивать маршрут.

– Рома, составь компанию. Хочу «поснимать» необыченькое.

– А давай, вечером закончу...

Они медленно пошли по краю ледяного плато. Многообразие форм и многоцветие красок! Высокогорный пейзаж быстро меняется. Природные процессы ярко выражены своим богатством и могуществом. На нас, людей, эти явления оказывают благотворное воздействие, которое не забывается! Особенно прекрасно, когда это соперживается с любимой, другом, единомышленником. Мы приносим в горы частицу своей души, настроения, любви и получаем в ответ всё то же, только куда в большем количестве.

– Возьми меня к вершине, – без всякой подготовки попросила Катерина.

– Даже не думай! «Ходить на горы» – это не бульварная прогулка. Здесь всегда надо быть в ожидании необычной опасности!

– Ты же рядом, а иногда и я подстрахую. Кстати, ты обещал папе мне помогать.

– Следить и не обижать. Хорошо, подумаем, посоветуемся.

«Штурмовой лагерь» обрадовался пополнению. Катюша ненадолго отвлекла энтузиастов от их религиозной работы. Маршрут составляли все вместе. Стартовал командир.

– Снаряжение минимальное. Рюкзаки-ранцы. Палатка, спальник. Топливо – сухой спирт. Питание – тушёнка, шоколад. Движение: пробежим «траверсом» на «кошках» по ледовому склону, выйдем к «хребту» и после второго «ребня» по «седловине» перевалим на северную сторону...

– Роман, пройди дальше, эта «седловина» – ложная. Она забита крупными «осыпями» горных пород, замучаетесь переползать.

– Спасибо Миша. Хорошо, тогда сдвинемся к «плечу», – он отметил на карте, – чуть подальше и после её пологой части, резко выйдем к предвершине. Это финиш! Проведём замеры, ночёвка и домой...

Работа была выполнена. По ходу движения Роман показывал и характеризовал «сераки». Отдельные, причудливые глыбы льда, громадных размеров и потому – очень неустойчивых. «Ножка» – тонкая, а «шапка» – большая. Они – предвестники ледопадов. А вот – «кальгоспоры» или «снега кающихся», наклонные, ледниковые, иглообразные пирамиды. Попадались очень большие. Особенный восторг вызывали у Катерины «ледяные стаканы». Камни

лежащие на леднике нагреваются быстрее, углубляются в лёд и создают заполненный водой «стакан».

– Катя, с вершины подбирается нехорошая туча, да и ветер крепчает. Я тут на уступе заметил террасу со скальным навесом, он обледенел, но крыша отличная.

Между ледником и уступом проходил «бергшрудн», перетянутый ледяной перемычкой, покрытый снежным настом. Забив два надёжных крюка, альпинист перешёл трещину, травя фал страховки. Вернулся, послал вперёд спутницу и перебрался сам. Быстро поставил палатку. Ветер крепчал, рвал её крылья, поднимал полог. Растяжки закрепил за выступы скал, периметр обложил валунами. Повалил снег. Лохматый, влажный, тяжёлый. Роман поднялся на навес и забил ещё два крюка. Зацепил карабины, зафиксировал их муфтой.

Катюша сидела в палатке, обхватив колени руками. Её бил озноб. Слабость парализовала движения. Он быстро приготовил кипяток с аспирином. Заставил выпить. Разложил коврики, на них спальник. Нарочито грубо командовал:

– Всё снимай!

Широко открыв и без того необыкновенно сверкающие, чёрные глаза, стояла в растерянности.

– Я сказал, всё снимай!

Сам стал быстро раздеваться. Когда повернулся, обнаженная девушка стояла прикрывая ладонями грудь.

– Быстро в мешок!

Она лежала, не меняя расположения рук. Роман обнял её голову, крепко прижал к себе. Холодные ноги, бедра потянулись к теплу. Поглаживая спину, лёгкими ударами-толчками, он массажировал и разогревал упругие мышцы. Освободив грудь, девушка обвила его шею руками и, закрыв глаза, полуоткрытыми губами искала поцелуи небывалого наслаждения...

– Давай подкрепимся.

Он протянул руку к куртке и из-под левого кармана достал универсальный нож.

– Какой большой, зачем?

– И очень острый. В рукоятке вилка и ложка. А вот и шпроты.

Лёгким ударом пробил жестяную крышку, крутанул в пол оборота справа-налево. Золотистые рыбки лежали ровными рядами, также близко друг к другу, в тепле и уюте...

Катя проснулась от потока свежего воздуха. Роман стоял экипированный

с двумя кружками.

– Утро доброе! Галеты, бутерброды. Всё готово. Здесь – твёрдая вода, а будет душистый чай.

Скатывая спальник и коврики, заметила озабоченность на его лице. Особенно это было видно при слабых, голубых отсветах горящего спирта.

– Что-то не так?

– Всё нормально. Снега навалило, уйма! Надо надевать очки. Приятного аппетита!

После трапезы стало теплее и вдохновеннее.

– Катюша, возвращаться будем налегке. Палатку и рюкзаки оставим, мальчики принесут. Берём карабины, страховки, ледорубы. Давай тебе по карманам – шоколадки. Под ремень – бумаги, расчёты.

– Рома, ты почему всё мне отдал?

– Руки должны быть свободными.

Сразу за пологом палатки – глубокая трещина. Её ширина была около восьми метров. Девушка от неожиданности отпрянула назад.

– Ну что ты, не пугайся. Открылся провал. Тяжёлые осадки продавили наст. Ближе не подходи и вниз не смотри. У нас две страховки со стороны ледника. Я их уже натянул. Два крюка здесь, на карнизе. Обвязываемся «беседкой»** и, как по канатной дороге, строго перпендикулярно, перелетим райской птицей.

Они обнялись, захлестнули карабины за «катушку» и оттолкнулись от края трещины.

– Катенька, смотри на меня, только-только на меня, любимая!

Страховки провисли и перелёт пошёл по касательной. Карнизные крюки «не ожидали» двойной нагрузки и «поплыли». Страховка не бесконечна.

Счёт шёл на секунды. Роман вынул нож и одним ударом перебил свою стропу. Он летел, широко расставив руки... Действительно, крылья райской птицы. Успел прокричать:

– Живите долго...

Катя ничего не поняла и только горное эхо повторяло на разные лады: «д, о, л, г, о...» Освободившись от груза, канатка выпрямилась, спружинила и сбросила пассажирку на противоположный край трещины.

На перроне Казанского вокзала она увидела всех встречающих и её, пожилую женщину в чёрном, траурном платке.

– Я – Катя, была с нашим Романом.

– Вам чего, девушка? А... была с моим мальчиком? Это всё они, они –

горы... Сначала забрали любимого, а сейчас и мою единственную кровиночку, звёздочку ясную. Одна-одинёшенька пойду к лампадному огню! Да будьте вы, все эти горы, про...

– Нет, что Вы, нет-нет-нет! Мы все, мы – вместе, он с – нами! Вот!

Она взяла руку женщины и положила её на низ упруго округлого живота

– Девочка, доченька моя милая, роднёнькая!

Она стала сползать, целуя руки, заливаясь слезами...

– Ну что Вы, мама, мамочка, не надо. Не убивайтесь так. Он всё знал заранее! Всё предвидел и завещал: «Живите Долго!» Будем исполнять!

Две женщины, молодая и пожилая, стояли обнявшись, блаженно улыбаясь.

Генерал коротко произнес:

– Катюша, всё погрузили. Нас ждут. Поехали.

– Да Папа, мы готовы. Отвези нас к нашей новой маме...

* *опасные провалы горного рельефа, обозначенные на карте чёрточками;*

** *способ обвязки альпиниста.*

ЛЮДМИЛА КУЗНЕЦОВА

ПЛАЩ И РОЗА

Юра преподавал физкультуру в пединституте. Это был маленького роста человек с большими амбициями. Ему очень хотелось быть значимым на фоне жены, которая и ростом была выше, и более крепкого телосложения, и должность она занимала ответственную – главный бухгалтер в солидной фирме. Но не получалось. Хвастать ему было особо нечем, многие годы он оставался рядовым преподавателем: уроки, соревнования, сборы. Каждый год, 9 мая, кафедра физкультуры пединститута организовывала марафоны, посвящённые очередной годовщине Дня Победы. Сотрудники института, собираясь семьями, шли на марафон, чтобы поддержать своего участника. Юра вместе с другими преподавателями всегда участвовал в эстафете и, выигрывая соревнования, очень этим гордился. После марафона друзья собирались отметить День Победы и победу в соревновании. На работе Юру всегда окружали молодые девушки-студентки, которым на сборах он делал расслабляющие массажи. И в компании друзей он предлагал всем, при необходимости, тоже сделать массаж.

Юра с женой все праздники проводили вместе с семьёй Лены и Саши. В обеих семьях были дети почти одного возраста. Устраивая на природе пикники, они играли в волейбол, а дети катались вокруг на велосипедах.

Май месяц был богат на семейные дни рождения. Второго мая – у Александра был день рождения, всегда могли без предупреждения нагрянуть гости – телефонов тогда ни у кого не было. Всегда в этот день с пирогами, салатами и картофелем по-французски Лена была готова к встрече гостей. Двадцать первого мая – день рождения у их любимой дочери. Приходили дети, их папы и мамы. И опять был большой праздник. А день рождения Лены, в конце мая, отмечали только в узком семейном кругу, гостей не звали – не оставалось ни сил, ни денег на третий день рождения за месяц. Незванным, но неизменным гостем, на правах близкого друга на семейном ужине в честь дня рождения хозяйки дома был Юра. Каждый год он дарил имениннице или маленький флакон духов, или розу на длинной ножке.

Прошли годы. Юра и его жена разошлись. Он по-прежнему часто приходил к друзьям в поисках утешения – было обидно, что жена ушла к новому мужу: очень высокому, и, как она говорила, «сидящему на высокой табуретке». Как Юру ни уговаривали обратить внимание на студенток, выбрать девушку по душе, ничто не помогало! Он отвечал, что уснуть можно с любой женщиной, но проснуться хочется с любимой.

Прошло ещё несколько лет. После развода Юра переехал в другой район города и куда-то исчез. Лена работала в банке, от долгого сидения за

компьютером в течение десяти, а то и двенадцати часов подряд, разболелась спина. Срочно потребовался профессиональный массажист. Она вспомнила о Юре, разыскала его и напомнила о давнишнем предложении, что в случае необходимости всегда можно обратиться к нему за профессиональной помощью. Каково же было удивление Лены, когда он отказал. И даже не объяснил причину.

Дома Лена рассказала о своём разговоре с Юрой, о его отказе. Она обиделась! За прошедшие годы было сказано много хороших слов о многолетней дружбе их семей: «И Юра ей отказал!?»

Был май. Впереди – день рождения Лены. Она сказала домашним, что если Юра придёт, она не откроет ему дверь. Но взрослый сын возразил: «Пустишь, ты не сможешь не пустить человека в дом!»

Накануне дня рождения ей приснился сон, как будто у неё за столом сидят гости, все приглашённые уже пришли. Вдруг – звонок в дверь. Она открывает дверь и видит Юру. В руках у него – одна роза на длинном стебле, а одет он в светло-бежевый плащ, в котором Лена ни разу его не видела. Юра вручает ей розу, говорит какие-то слова поздравления, и ей ничего не остаётся, как пригласить его к столу. Сын пожимает плечами, глядя на мать. На этом сон оборвался.

Утром Лена рассказала, что во сне приходил Юра поздравить её с днём рождения в новом плаще и с одной розой в руке. Сын спросил:

- Ты пригласила его?
- Да, – ответила Лена.

В день своего дня рождения, прибежав после работы, Лена накрыла стол, и вскоре пришли гости. Все пришли после работы и с удовольствием поглощали приготовленную Леной еду. Сын что-то наигрывал на гитаре. Вдруг прозвенел звонок. Открыв дверь, Лена увидела Юру в светло-бежевом плаще и с одной розой в руке! Вручив ей розу, сказал несколько поздравительных слов. При разговоре с ним, Лена заметила, что ни разу не видела его в этом плаще. как и во сне. И он рассказал, что купил его два дня назад, попросил своих студентов укоротить рукава и низ плаща, чтобы надеть его именно на день её рождения.

В каком-то оцепенении она пригласила Юру к столу: «Как могла она это увидеть во сне? Плащ, купленный накануне, и именно розу, а не флакончик духов!?»

С тех пор прошло больше двадцати лет, но недоумение осталось. Юры уже нет, рано ушёл, не справился с тоской по своей жене.

Лена вспоминает об этом каждый год, когда *в институте, где последние годы своей жизни Юра возглавлял кафедру физического воспитания, проводятся соревнования по лёгкой атлетике, посвящённые его памяти.*

ГЕНРИЕТТА ЛЯХОВИЦКАЯ

МИКЕЛАНДЖЕЛО

*«Мне глыбою коснеть первоначальной,
Пока кузнец Господень – только он! –
Не пособит ударом полновесным».*

* * *

*«И высочайший гений не прибавит
Единой мысли к тем, что мрамор сам
Таит в избытке, – и лишь это нам
Рука, послушная рассудку, явит».*

*Микеланджело Буонаротти
Перевод А. М. Эфроса*

В Тоскане

Микеланджело могучий
модель скульптуры
в воду погружал.
С того, что выступало над водой,
фигуру начинал высвобождать
из глыбы мраморной,
в неё врубаясь.

В Карраре

оставался он надолго,
из мраморных камней
ту глыбу выбирая,
в которой видел он
своё творенье.

И солнце

италийское сияло
на гранях зёрен мраморных,
чтобы теплом и светом
фигуру оживлять,
когда она из глыбы появлялась
ума и рук трудом
и напряженьем.

*

Лишь *гений*
зорко вглубь смотреть умеет
Вселенной глыбы всей
и видеть ту целостность,
что в ней заключена,
пронизанная разумом
и светом.

22.07.2007; 27.10.2019

ВОЙНЫ, ВОЙНЫ, ВОЙНЫ БЕЗ КОНЦА...

«Человек – царь природы?»

*Не бывает справедливых войн –
всякая война несправедлива,
и сирен военных дикий вой
никого не делает счастливым.*

Войны, войны, войны там и тут...
Самолёты сбрасывают бомбы –
всё они разрушат, всё сметут –
не спасают даже катакомбы
земляных укрытий, и накаты
блиндажей бессильны против них –
месиво из мёртвых, нет живых
там, где тщетно прятались солдаты.

Щедро нашпигована Земля
смертными осколками металла.
«Колосятся» минные поля –
массу тел на части разорвало,
и пируют стаи воронья,
урожай кровавый собирая.
Нет побоищам конца и края,
но безумцам кажется всё мало.

Вечен лозунг ястребов войны:
«Воевать во что бы то ни стало!»

*Ни одной на свете нет страны,
где б военной бойни не бывало.
Гибнут воины из рода в род
якобы для целей справедливых...
Назовите хоть один народ,
от войны развязанной счастливый.*

Разве недостаточно одних
лишь *природных* катастроф повсюдных
и опустошённых после них
местностей безжизненно-безлюдных?
Нет! Ракеты воют, пули свищут,
ветер носит пепел, тлен и гарь –
*торжествует жадный до кровищи
гибнущей природы «гордый царь»...*

12.10.2018, 27.10.2019

ВАЛЕРИЙ МАТЭТСКИЙ

МОРЕ ВСОСАЛО СОЛЁНОЕ СОЛНЦЕ

*«Кто-то высший развёл эти нежно-сплетённые руки...
Не ответственные мы!»*

Марина Цветаева

Было надцатое марта^{1,2}. Садилось солнце... В кафе на Невском было уже многолюдно, когда ниоткуда², на вечеринке с коллегами, возник Эдик. Отыскав свободный стул, он машинально огляделся:

– Знакомые всё лица, – и вдруг, как удар шокером. Через стол от него – дива, сошедшая с полотна Модильяни. Прямая спина, благородная осанка. На длинной белой шее, в разрезе высокого бордового воротника жакета – голова элегантной орхидеи. На овальном лице – большие голубые глаза; падающая до плеч солома волос завершала этот превосходный портрет. Эдик окаменел, не в состоянии отвести глаз от незнакомки.

«Кто это? Откуда? Она не наша...» – Мысли лихорадочно и хаотично бились в голове, натываясь друг на друга, как сбитые шаром кегли. Незнакомка, заметив его застывший взгляд, доброжелательно улыбнулась. Эдик принуждённо улыбнулся в ответ и, испытывая неловкость, отвернулся, сразу же забросав соседей по столу вопросами. Оказалось, всё же, *наша*, – коллега из издательства, с которым сотрудничала фирма Эдика; зовут – Ирма.

С первого взгляда на Ирму, Эдику стало понятно, что она – его воплощённый идеал. Но, ко времени этой роковой встречи, за спиной у него уже было два развода, и он был одержим идеей фикс, что приносит женщинам только несчастья. Поэтому, в будущем, он решил не вступать в контакты именно с теми женщинами, которые ему нравятся, так как он (полагал Эдик), всегда, выбирает только тех, кого не способен осчастливить. И когда, после совместного танца, Ирма предложила ему вместе сбежать из кафе, Эдик отказался. Он был твёрдо убеждён, что именно эту женщину он должен уберечь от своего несчастливого влияния. Эдик был идеалист-максималист – он строго судил других, но и себе спуска не давал. А человек он, при этом, и вправду был глубоко порядочный.

Быстро, как мыши под столом, прошмыгнули два года, и однажды, встреченный им на улице знакомый сокурсник, предложил Эдику поучаствовать в конкурсе на вакантное место в его издательстве. С блеском пройдя тест, Эдик был принят в новую фирму и, в первый же день выйдя на работу, столкнулся в коридоре с ожившим чудом – Ирмой. Любовная философия Эдика к тому времени изменилась, и он неоднократно, мысленно, посыпал

себе голову пеплом за то, что так по-идиотски и добровольно упустил в тот роковой раз, в лице Ирмы, свою синюю птицу счастья. «Неужели, судьба даёт мне, второй шанс?» – растерянно думал Эдик. Эта вторая встреча родила в нём поэта. «Младенец» появился на свет здоровым. И, через день, да каждый день, а иногда и по несколько раз в день, он стал вдруг выдавать стихи о своей «Капулетти», используя при этом, любую возможность, чтобы подчеркнуть своё внимание к ней. Но Ирма держалась нейтрально, и Эдику стало очевидно, что историю их неудачного знакомства она не простила, и вызвать её повторный интерес к себе будет непросто. Однажды, в помещении женского отдела художественной редакции затеяли перестановку. Заметив, что Ирма пытается сама сдвинуть с места тяжеленный двухтумбовый стол, Эдик бросился к ней на помощь, но Ирма решительно отвергла его попытку, и на вопрос:

– В чём дело? – ответила:

– Я хочу быть независимой от мужчин и должна в любых ситуациях уметь справляться со всеми проблемами сама!

В тот раз Эдик её не понял и даже обиделся, совсем не догадываясь о том, что однажды ему придётся убедиться в справедливости её жизненной установки.

Однажды, редакторам, замученным жаркой летней погодой, захотелось расслабиться на борту речного трамвайчика, подышать свежим воздухом с Невы. На обед заказали уху. Когда пришло время, на середину большого круглого стола на верхней палубе водрузили огромную никелированную кастрюлю. Ирма подпоясалась голубым фартуком; смеха ради, прищипила на голову высокий, белоснежный, крахмальный поварской колпак, и в таком виде, с большой поварёшкой в руке вышла к столу. Все обомлели. Это была «Богиня семейного очага» и «Анжелика – маркиза ангелов»³ в одном лице.

За бортами судна медленно проплывали невысокие берега с молодым подлеском. Разомлевшее солнце лениво, но в упор, разглядывало своего никелевого двойника на стенке кастрюли, пытаясь его загипнотизировать. Чайки страстно пикировали на этого двойника с жадным расчётом на поживу, теряя в пикé свои склочно-пронзительные крики, как маленькие якоря. А все миски, расколдованными пингвинами, вдруг сорвались в едином порыве и общей стаей стремительно полетели к красавице-поварихе. В то время, как ложки самостоятельно дрейфовали от мисок ко ртам и обратно, взгляды всех безотрывно были прикованы к обожаемой маркизе. Даже, если бы уха в тот раз совсем не удалась, – из рук всеобщей любимицы – Ирмушки, Ирмуси, Ирүни и Ирочки, уха казалась бы мёдом. В таком амплуа Ирочка была само воплощение семейного счастья. И каждый из присутствующих тогда тайно мечтал в тот момент о такой, как Ирмушка, жене, сестре или подружке.

Как ни странно, но ситуация с коллективной ухой подвигла и нашего героя

на решительный поступок: «Я объясню ей, что люблю её с первой встречи и что мой отказ во время танца был вызван исключительно заботой о ней самой; что я пожертвовал своими чувствами ради её благополучия, и у неё не останется повода для обиды», – уговаривал сам себя Эдик. И как-то, в конце рабочего дня, подкараулив Ирмюсю у выхода из издательства, Эдик заступил ей дорогу и сорванным голосом, пересохшими губами, вымученно выдавил:

– Надо поговорить...

Ирма замешкалась, он прижал её к полированному граниту фасада. Запах её духов, доминантной нотой, в котором была смесь грозовой свежести с горько-сладким ароматом лаванды, мутил сознание, а её глаза, оказавшиеся непривычно близко, стали вдруг расширяться, властно втягивая Эдика в себя. Как лунатик, он начал зачарованно погружаться в их глубокую, манящую голубизну, на дне которой таинственно мерцали льдистые осколки Лун. Гранитная стена за спиной Ирмы упруго прогнулась, как сетка батута, и мягко выбросила их назад. Всё вокруг закружилось, и они оба плавно поплыли в камерном танце. В том самом, их первом и последнем Танце Любви, в кафе на Невском... И, когда их лица сблизилась настолько, что губы оказались на расстоянии мгновения от поцелуя, лунные осколки на дне её глаз потеплели и, совершенно интимным и сексуальным тоном, каким общаются только влюблённые, Ирма произнесла:

– Ты опоздал, Эдик! Я иду на свидание... К другому...

Вращение прекратилось, Эдик ошарашенно смотрел вслед уверенно удаляющейся, высокой, восхитительной фигуре.

«Может быть, это женская месть? – потерянно успокаивал он себя, слегка покачиваясь от пережитого. – И на самом деле у неё никого нет?»

Но, когда на следующий день он стал расспрашивать об этом её подруг, те подтвердили:

– Есть. Красавец культурист. Но он – уже третий! Первые два тоже были всем хороши, но оба скоростижно скончались. Какие-то проблемы с сердцем. Поэтому с теперешнего бой-френда она пылинки сдувает.

«Подумаешь, культурист! – раздражённо фыркнул Эдик. – Ты МЕНЯ раздетым не видела. Вот приду как-нибудь на Петропавловку⁴, тогда посмотрим, кто лучше!»

В своё время, Эдик принимал участие в чемпионате по бодибилдингу и, когда появлялся в плавках на пляже, равнодушных среди представительниц слабого пола, как правило, не оставалось. Он стал прислушиваться к разговорам её подруг, чтобы и в самом деле как-нибудь подкараулить Ирму на Петропавловке. Но судьба распорядилась иначе. Вскоре, после неудачного объяснения в любви, Ирма, вдруг, не вышла на работу, а по издательству пополз слухок, что её «очередной» тоже умер. И, якобы, даже в постели, прямо под ней! Каким образом и кому могли стать известны такие интимные

подробности, оставалось загадкой, но Эдик сразу вспомнил, что Ирма родилась под созвездием Скорпиона, и значит она – «ангел, танцующий в темноте». И что эти «ангелы» бывают двух типов: первый тип – роковая женщина, от которой сходят с ума все мужчины. Второй тип – женщина, которая убивает себя, в случае жизненной неудачи.

«Господи, только бы Ирма не заблудилась в ночи своего горя!» – Ужаснулся Эдик.

Потом были похороны. Он долго колебался: ехать - не ехать, так как с детства терпеть не мог этот угнетающий обряд. Эдик был эмпат⁵ – чужую боль воспринимал, как свою. От траурной музыки, от рыданий присутствующих, от тошнотворных запахов, от всей этой адской смеси, принуждающей терять радость к жизни, ему становилось плохо, и он мог в любой момент брякнуться на пол или, в лучшем случае, разрыдаться во время церемонии. Но, дабы не обидеть Ирму в очередной раз, Эдик наступил на свою сверхчувствительность и, в последний момент, вскочил на подножку отъезжающего на кладбище издательского автобуса. Желаящих разделить горе Ирмы оказалось много. Поэтому, когда он добрался до места, церемония фактически закончилась.

Вокруг свеженасыпанной могилы неровным кольцом горбились чёрные обгоревшие остовы падших ангелов. С неба, прямо в барабанные перепонки ушей, вонзался стеклянно-прозрачный вертикально-давящий ЗВОН. В центре кольца, у чёрного мраморного обелиска, коленями на сыром холмике, распластавшись всем телом по чёрному блеску, застыла Ирма с пшеничной соломой волос, выбивающихся из под чёрной косынки. Правая, поднятая вверх, рука слепо ласкала чёрную поверхность; левая прижимала к сердцу другую каменную грань. Белое, как воск, истончившееся лицо Ирмы с закрытыми, ввалившимися глазами, прильнувшее одной щекой к холодному камню, было запечатано ото всех печатью рока. В эти минуты Ирма пребывала совсем в другой, бесконечно удалённой от прозы жизни, ипостаси, не желая расставаться, вопреки реальности, не признавая эту реальность, с тем, кто всё ещё был для неё самым близким. Закрытыми глазами Ирма отчаянно блуждала по бесконечному дну той запредельной пропасти, которая в очередной раз поглотила её любовь. Никогда, ни до, ни после, Эдик не видел ни у кого такой глубокой, всепоглощающей скорби, как на лице у русской красавицы Ирмы в день тех похорон. В день тех похорон пространство, вдруг, невероятно сжалось в узкую, горизонтальную, звенящую полосу и ударило по вискам, сплющивая всех присутствующих до размеров комично-страшных, чёрных карликов-лилипотов, распяленных в ширину, как кляксы, насаженных на шампур пронзительно невыносимого, визгливого воя горя. В эти мгновения ему стало ясно, что ту Ирму, Ирмушку, Ирму́сю, Ирúню и Ирочку, которую он так безмерно любил, больше, он не увидит никогда...

По дороге с кладбища, в его голову вдруг просочилась подленькая мыс-

лишка, что сегодня под чёрным обелиском мог бы лежать он сам, если бы, в своё время, не сделал благородный жест. И что тогда, когда он спасал Ирму от себя, он невольно спас самого себя, от неё, – роковой женщины.

«Да воздастся каждому по делам его»⁶, – мелькнуло библейское, но он сразу отмахнулся от такой логики, как от недостойной, и стал думать о том, каким образом он мог бы поддержать Ирму в её сегодняшнем чудовищном горе. Но здесь судьба сделала ещё одну рокировку. Через неделю, как гром среди ясного неба, – издательство объявило о банкротстве. Большая часть худ-редакторов оказалась на улице. Найти такую же работу в других издательствах не представлялось возможным, так как издательство было уникальным, и кто-то стал менять квалификацию, а кто-то рванул за границу. Промаявшись некоторое время неопределённостью и не найдя для себя других перспектив, Эдик послал запросы тем своим коллегам, которым уже удалось устроиться за рубежом. Разобравшись с ответами, он выбрал Кейптаун, а, оказавшись там, никогда уже об этом не жалел.

Синюю линию морского горизонта южно-африканской столицы бороздили белые перья парусников. По набережной прогуливались джентльмены в белых блейзерах⁷ с огромными мраморными догами на поводках. Под руку с ними – элегантные дамы в полупрозрачных, развевающихся от лёгкого и тёплого бриза, нарядах, с солнцезащитными зонтиками в руках. Кейптаун был экзотикой, от которой эстет и поэт в душе Эдика ликовали. Всё было бы ничего, но неизбывная тоска по Ирме не отпускала и более того, с годами, как ржавчина разъедала сердце. Иногда Ирма навещала его во сне, вглядываясь в самую душу красивыми, печальными глазами на бледном лице, то ли призывая его к себе, то ли упрекая за что-то. После таких снов, Эдик долго не мог прийти в себя, тем более, что после тех похорон Ирма навсегда исчезла с его горизонта. Это надо было как-то лечить и, в конце концов, он решил навестить любимый город.

Вернувшись в Питер, Эдик первым делом бросился в памятное ему издательство, впрочем, без особой надежды, вполне понимая, что шансов встретить там старых знакомых, которым было бы что-нибудь известно об Ирме, ничтожно мало. Но ещё больше он боялся услышать, что Ирмы больше нет. К счастью для Эдика, среди незнакомых сотрудников нашлась-таки одна знакомая, которая и сообщила ему то, что никогда бы не пришло ему самому в голову. Эта новость оглушала. Этого не могло быть! Это просто не укладывалось в голове! Оказывается, после потери третьего бой-френда, Ирма сразу отказалась от питерской квартиры и затем приняла постриг в каком-то женском подмосковном монастыре.

«Значит, Ирма возложила всю вину за смерть своих мужчин на собственные плечи и теперь будет замаливать несуществующие грехи до конца дней

своих, – удручённо констатировал Эдик. – В таком случае разыскивать её бесполезно. А если бы я её и нашёл, что сказал бы я ей, что бы сделал? Чтобы убедить её в том, что в этих смертях её вины нет, нужно быть профессиональным психоаналитиком, а что могу предложить ей я? Четвёртый брак? Чтобы умереть в её объятьях?» Но именно этого Ирма теперь панически и боится, так как пребывает в ложной уверенности, что она – «чёрная вдова» и поэтому любой мужчина, которого она полюбит, обречён на смерть. Поэтому его визит ничего, кроме смуты не внесёт в её сегодняшний монашеский покой, а в худшем случае, может вызвать даже рецидив. И тут в памяти у него всплыло: «Я хочу быть независимой от мужчин и должна в любых ситуациях уметь справляться со всеми проблемами сама!» Так вот, почему в своё время Ирма отказывалась от мужской помощи!?» Она интуитивно предчувствовала своё будущее одиночество, когда ей придётся полагаться только на свои, хрупкие, женские силы и готовилась к этому заранее. Да-а-а, в женском монастыре на мужскую помощь, действительно, рассчитывать не приходится...

Возвращение в Кейптаун было печальным. Начался сезон дождей. Африканское небо хмуро заштриховывало тёмными струями пространство между собой и морем, старательно вычёркивая его из реальности, как будто стремилось навсегда соединить две влажные стихии. Корабельные мачты с принайтовленными к ним, намокшими, почерневшими парусами, напоминали огромные обгоревшие палочки от бенгальских огней, которые от пощёчин штормового ветра дико раскачивались в разные стороны, как пьяные матросы.

«И море,
дымясь, и вздымаясь, и дамбы долбя,
солёное СОЛНЦЕ всосало в себя».⁸

Хотя, с одной стороны, кое-что прояснилось, но, с другой... Когда, в наше время, умница и красавица, с высшим образованием и огромным талантом, к тому же, всеобщая любимица, вдруг обрекает себя до конца своих дней на существование в монастыре, – такая дикость, воспринималась, как фейк⁹, поверить в который невозможно, но ещё труднее с этим смириться. Дóма, оконные стекла от непогоды не спасали, – дождь назойливо барабанил прямо внутрь черепной коробки, пробуждая в душе сумрачные скрипки симфоний Брамса. Эдик не выдержал и, вопреки своим первоначальным намерениям не разыскивать Ирму, включил лэптоп и полез-таки в «сеть». Но рыбка не ловилась, ни большая, ни маленькая. Крючки его запросов всегда вытягивали один и тот же, ответ: «Документов с грифом «Ирма „Капулетти“» не найдено». Мистика, да и только! Как будто, и в самом деле, в небесном реестре её имя

навсегда было смыто из анналов истории Санкт-Петербурга хлещущим за окнами кейптаунским ливнем... Но был во всём этом и маленький плюс. Новость о монастыре заставила Эдика по-другому осмыслить ситуацию со снами, в которых его навещала Ирма. Раньше, после таких снов, в нём каждый раз вспыхивала безумная надежда на скорую встречу с ней, неважно где, и неважно как. Эдик тогда полагал, что Ирма призывает его к себе. Теперь же, задним числом проанализировав даты, в которые Ирма ему снилась, он понял истинное значение этих снов: Ирма стала его ангелом-хранителем. Она являлась ему тогда, когда в его судьбе должен был произойти какой-то очередной поворот или должна была появиться новая женщина.

Это значит – она тревожилась о нём.

Это значит, она предупреждала его.

Это значит, она молилась о нём.

Это значит, ОНА ЕГО ЛЮБИЛА.

Всё ещё...

Также как и он её.

И ОНА БЫЛА ЖИВА...

1,2 *«Ниоткуда с любовью, надцатого мартабря» – строка из стихотворения И. Бродского;*

3 *французский историко-авантюрный, романтический фильм с Мишель Мерсье в главной роли;*

4 *название пляжа под стенами Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге;*

5 *сверхчувствительный человек, понимающий эмоциональное состояние другого человека посредством сопереживания, проникновения в его субъективный мир и всегда готовый прийти любому на помощь;*

6 *цитата из Библии. Послание к Римлянам святого апостола Павла;*

7 *однобортный или двубортный пиджак (англ.) с накладными карманами без клапана;*

8 *строка из стихотворения Е. Евтушенко;*

9 *фальшивая новость (анг.).*

ФОРТЕПИАННЫМ СНАМ

Поэма

Н. К.

Прощай

Сказать что ухожу

Глазам твоим

Лицу –

Забуду

Обрõнен захрустевший лист

На лезвие ножа

Разрез положен

Рубец прошитый застегну

Стяну потуже

Маковый браслет

Губ крупные стежки

Читают грёзы

Волн запах плещет на Луну

Мнёт винный ветер

Бабочки крыло

И пахнет имя

Распятыми моими

Улыбками

Впритык к твоим

Фортепианным снам

Дымящийся нектар

Бежит во след

И плачет лёд

Куруется дым

Лежит туман и лижет

Напольный плед

Забывтой куклы Muñequito*

Расклёванный в песках обман

Блеск слёз

Льянную песню лени

Персты твои
 Пальпируют вигвам
 Вибрирующих сожалений
 И топотом бегут
 Нагорные олени
 В фужерах выдохшийся Брют

Где спугнутые тени
 Тяжёлой страсти
 Делятся кистями
 Заломленных дыханий

Спит
 Сыплется
 Шлифованный гранит
 Во власти тьмы сомнений

Я тоже
 «Сыт»
 Стекаю
 Облекаю горсть
 В щепоть

Крещу
 Полёта плоть
 Не знаю

Что тычется в меня
 Холодно-влажным носом

Несносная
 Неясить
 Пытает мстит
 Стелется тревожит
 Жжёт
 Жалит

Жухлая листва
 Постится

Клевер
 Просится в колени
 Ног твоих

А скиф
Меч прячет в ножны
Может
Можно?...

И «МОЖНО»
Лжёт на «НЕТ»
Шнурует
Затянутый корсет
Сочится в прозу
Свивает брови
В прямую нить

А «быть или не быть?»
Иль нежно мстить
И метить
Твой каждый след
«Ошибкой дня» –

Метафора
И фора
Шагов ТУДА

И благо лижет веды
Готовится каприз
У зеркала спросить о сути
О чём томится грусть
Когда
Уставится в глаза
Осы
Летающей к водопою
Чужой мечты

В которой ты
Ещё нагая шпага
А ножны красоты
Фехтуют влагу
Прохлады родника
Древнейших роз
Планиды Оз

* *исп., [мунекито]* – куколка.

В «МОЛОКО»

Вечер свечи
Сижу общаюсь
Сбоку в профиль
Твоё лицо

Лицедействует дух рояля
Я роняю глаза и зо-
оса́дом осада воли
Пункты точки и много «о»
Штрих пунктиры
Тирé и т́ры
Много-то́чие – в «мо-ло-ко»**

*** «молоком» называют наружные поля мишени, в которые уходит пуля неловкого стрелка.*

САКС ЛОРНИРУЕТ ЛОЖЕ СКРИПКИ

Забудь моё имя
Выброси галстук
Стул поставь на балкон
На стул пролей парафин

Если в дверь постучится финн
Пошли его к бабушке Насте
Но не раньше
Чем августовские ненастья
Истончатся до звука
В Лихтенштейне расколотых льдин

А имя
Завяжется узлом на галстук
Свесившийся с балкона стула
Мечтающего о свече
Распластавшейся на нём парой финнов
Пытающихся вспомнить имя
Кем-то забытой страны
Где галстуки гулко гуляют

Как стулья интегрированные в узлы
Танго танцующих свечей

Пусть моё имя поёт о «раз-два-три»
И «четыре-четыре-четыре»
А балкон потребует сатисфакции
У каждой ножки стула
Не умеющей скользить
Без помощи финна Пара
И играющих наобум
На очень очень длинный гал-сту-у-у-ук
Рассчитанный на биржевый бум
Распахнутого сердца пиара

МАРИНА ОВЧАРОВА

ЗВЁЗДЫ И ХРОМОСОМЫ

Здравствуй, мой маленький игрек!
 Я – твоя большая хромосома,
 Пробираюсь к тебе сквозь толстые воды.
 Мимо нас проплывают звёзды.

Они упали с неба и стали морскими.
 Они поселились в реке нашей любви
 И светятся в темноте,
 Чтобы освещать нам дорогу.

КАМНИ ИЕРУСАЛИМА

Живые камни так похожи на тюленей.
 Я чувствую их запах и тепло.
 Они ко мне садятся на колени
 И дышат, отдуваясь тяжело.

Они рисуют палкой на паркете
 Узоры серебристых чёрных мхов.
 Ложатся, чтоб проснувшись на рассвете,
 Стряхнуть оковы сонные веков.

Перевернувшись серым толстым брюшком
 Тихонько, незаметно – набекрень,
 Они лежат, велению послушны:
 Лежать и думать молча целый день.

Пустившись в пляс, как только свечерет,
 Как только все улягутся в постель,
 Подобно горным козам, что резвее
 Козлов степных, закрутят карусель.

Поскачут по смеркающим склонам,
 Со звёздами затеют разговор.
 И радугой оранжево-зелёной
 Вольются в тёплый розовый простор.

Светает. Покрываются росой
Живые камни, пахнущие мхом.
Усталый ветер тропкою лесною
Спешит на отдых за седым холмом.

ЛЮДЯМ, ВСТРЕЧУСЬ С КОТОРЫМИ

Люди, встречусь с которыми,
Где вы? Откройте двери.
Может быть, не готовы мы?
Может быть, не успели?

В мраморном спите гроте?
Вы заблудились, может?
Или чего-то ждёте?
Душу тоска тревожит?

Наши пути намечены!
Наши пути сойдутся!
Будем друг другом встречены
Под огненным солнца блюдцем!

Люди, встречусь с которыми,
Откройте свои оконца!
Скованные препонами.
Смотрите! Восходит солнце!

САМОЙ СЕБЕ

Прощай, мой храбрый воин!
Сменились времена
Другой меня достоин.
Я больше не одна!

Прощай, моя подруга
В короне золотой.
Мы будем друга без друга
Жить в хижине простой

С колодцем, и с камином,
И с выходом во двор,
Откуда на долину
Ложатся тени гор.

В той хижине просторно
Мне будет без тебя.
И ногою мажорной,
Рыдая и любя,
Ликуют в небе птицы –
Я больше не одна!

СТАРУШКА

За домом – лес, за лесом – речка.
Луга полны овец и коз.
Сидят детишки на крылечке
И отвечают на вопрос,

Откуда что когда берётся,
В чём суть начала всех начал...
Легко и радостно живётся
Тому, кто радость повстречал.

Очнёшься вдруг, рассвет чуть светел.
В углу притихший паучок
Меня с полуночи приметил,
Приладив дверцу на крючок.

И беспокойная старушка,
Седыми буклями звеня,
Поправит на софе подушку,
Рукой помашет из окна.

И станет вмиг такой любимой,
Такой понятной и родной!
Я подбегу нетерпеливо,
Дотронусь зеркала рукой...

Она же поведёт плечами,
Исчезнет за рядами книг.
Рисует на ковре лучами
Узор оборванный старик.
Как он рисует? Непонятно.
И не торопится домой.
На солнце расцветают пятна.
Оно уходит с головой

За горизонт. Закат случайно
Его окатит сверху вниз.
Откроет на секунду тайну,
Свой переменчивый каприз.

Всё тот же лес, за лесом – речка.
Луга полны овец и коз.
Сидят детишки возле печки
И отвечают на вопрос.

СТРЕКОЗА

Вот так стрекоза
Села на песок!
Томные глаза,
Остренький носок.

Превратилась в синь
Моря и грозы.
Нету больше сил
Жить у стрекозы.

Вот она плывёт
На краю волны,
А вокруг неё
Пляшут табуны

Крохотных коней.
Что за чудеса!
Море всё синей
Дремлет стрекоза.

Дремлет и плывёт,
 Подавила крик.
 Белый пароход
 Вдалеке возник.

Поглотила муть
 Неба бирюзу.
 Хоть бы кто-нибудь
 Вспомнил стрекозу.

ФЕВРАЛЬ

Я заменю седой «февраль»
 На слово звонкое «апрель».
 После бесчисленных потерь
 Ты просто сам себе поверь.

Пургой дорожки замело,
 Парит над полночью июнь.
 Нам просто очень повезло,
 Что мы не помним снежных бурь.

Скажи, ты помнишь детский смех?..
 Они выросли не с тобой.
 В пушистый чёрно-бурый мех
 Хочу укрыться с головой.

Ты просто сам себя люби,
 Ты просто сам себя забудь...
 К нам прилетели воробьи,
 Уселись ласково на грудь.

Ведь это наши вечера,
 Которых не было у нас.
 Я слово грустное «вчера»
 Сменю на резкое «сейчас».

Цветёт за городом миндаль,
 Из окон льётся мягкий свет.
 И мне ни капельки не жаль,
 Что нас с тобою больше нет.

ЦВЕТОК ИМБИРЯ

С тобой на заре повстречались не зря,
Прекрасный и томный цветок имбиря.
Зарёй предрассветной пылает восток.
Меня провожает имбиря цветок.
Стучатся колёса о край тишины,
В душе сохраняя мгновенья любви.

МАСУД ПАНАХИ

РЕЗИНОВЫЙ ПЕТУХ

Повесть

Светлой памяти моих родителей посвящаю.

– Богом клянусь, что только недавно яйца из-под курицы взяла, свежее не бывают, – ворчала она.

Отец, не говоря ни слова, отправился в гостиную, которая была одновременно спальней и рабочей комнатой, сел за стол, подогнув ногу под себя. Глубоко дышал, при этом из его груди раздавались хрипы. Жадно глотал воздух, как рыба, выброшенная на берег. В эмиграции он потерял всё: имущество, родственников, родину, взамен на границе простудил лёгкие. Астма стала его верным спутником.

Жгучим запахом нефти, пронизывающим лёгкие, был окутан город, словно над ним витал невидимый дракон. Удушьем страдали не только больные. В подобных случаях отец говорил: «Опять запах социализма надвигается». Глубокий вдох. Северо-восточный ветер-пастух гнал перед собой дым и едкий запах с территории завода по переработке чёрного золота.

Закурив папиросу, прикрыл окна и двери. Мать продолжала сама с собой разговор, начатый в кухне:

– Опять тухлое яйцо подсунули, весь обед испортили, я приготовлю что-то другое.

Он докурив папиросу «Асमतол», грудная клетка рывками двигалась то вверх, то вниз, постепенно дыхание становилось более равномерным. Склонив голову на грудь, закрыл глаза. Погрузился в свой мир, уйдя в прошлое. В памяти всплыли обрывки забытого кошмара.

...Молодой человек, полный энергии, преуспевающий в своей работе. И вот он сидит в тёмном углу подвала, обхватив голову руками. Из этой тюрьмы только одна дорога. Слышны всхлипывания сокамерников. Только бегающие зрачки под веками говорили о тревожном сне. Ещё неделя, трудно осознать, что будет с семьёй, с детьми?

Мать накрыла стол:

– Хватит думать, поешь.

Ел, не торопясь, с паузами, она ушла готовить чай. Выпив глоток чая, он обратился к ней:

– Что ты там о яйцах говорила?

Она кратко высказала своё желание:

– Хорошо бы иметь своих кур. Там и яйца свежие, и мясо, да и перья в

хозяйстве пригодятся.

Дом, в котором они жили, был из числа построенных в двадцатые годы и рассчитан на две семьи. Жители называли их американками.

МАРДАКЯНЫ¹

Нашей семье предстоял карантин. По указу правительства для политэмигрантов, участвовавших в борьбе за независимость южного Азербайджана, была предоставлена дача бывшего магната Нобеля. Этим правительством продемонстрировано свою благосклонность к революционерам-освободителям от монархической империи Ирана. Дача оказалась громадной. Фронтальная сторона была окружена забором из литых остроконечных прутьев. Тыльная – каменная. Забор охранялся. Через каждые пятьдесят метров прохаживались русоволосые солдаты. Местного языка они не понимали, при приближении детей к забору раздавался громкий и утвердительный голос патрульного: «Назад! Стрелять буду». При этом он направлял свой карабин со штыком на нарушителя. На участке находилось несколько сооружений и достаточно большой бассейн. За высоким каменным забором – кладбище. Пацанами мы лазили туда посмотреть, где похоронен очередной ребёнок нашего родственника Насруллы Хана. Среди свежих маленьких могил были и другие, нам казалось, что все захороненные – его дети. По рассказам, он был личным учителем по математике и лётному делу сына Шаха Резы Пехлеви. Это его не спасло, он также оказался с семьёй в эмиграции. Им предстояло ещё долгие годы прожить на даче известного в мире человека. Наконец-то, после годового карантина, в 1946 году, семье предоставили отдельную квартиру, называемую *американкой*.

ПЕТУХ

Наша семья поселились в уже заселённом доме, нам досталась четверть дома с двумя комнатами и двориком. В пятидесятые годы пристроили к туалету баню, позже – жестяной гараж. В саду росли алычовые, айвовые и дикие хартутовые² деревья. За гаражом – пара старых, с толстыми стволами, деревьев, отбрасывающих тень на дворик. Местная детвора называла их *воночками*. Дом был старый, в стенах образовывались трещины, требовался ремонт. Обращались за помощью к начальнику ЖЭКа. Он присылал пару алкашей: они, замазав кое-как щели цементом и получив чаевые на водку, говорили:

– До следующего раза.

Начальник ЖЭКа стал обходить наш дом стороной.

Однажды, вернувшись из училища, я вошёл во двор, где раздавалось радостное куриное кудахтанье. Мама кормила *новое хозяйство*, – вокруг неё крутились куры. Она была счастлива. Да и много ли нужно человеку для радости? Дорогу мне преградил красный петух: расставив широко лапы,

сложил крылья у пояса. Орлиный клюв, листовенный гребень стоял торчком, сравнительно пухлая шея, широкая, выпирающая вперед, грудь, большое туловище с объемистой спиной, не очень длинные, но крупные лапы, пышный хвост. Передо мной стоял *гордый джигит*. Склонив набок голову, с взъерошенным хохолком, рассматривал меня: «Ты кто?»

Хотел дотронуться до него, но он подпрыгнул, как испуганный кот, да так высоко, что оказался на уровне моей головы. Я успел отскочить в сторону от его острого клюва. В последующие дни петух рано всех будил, шастая по двору, гонялся за кошкой, часто потаптывал и кур. Хозяйка смотрела из окна: «Будут яйца».

Под балконом построили курятник. Дверцу в него петух открывал ударом лапы. Он рос, росли и его утрашающие шипы, точно унаследованные от предков – динозавров. Довольный приобретённым новым двором, петух с любовью ухаживал за курами, они же, в свою очередь, прилежно несли яйца. Мама обеспечивала ими всю родню. А хозяин, сделав этот подарок супруге, на завтрак получал свежее яйцо «вмятку». Все были довольны.

У петуха, как во всех гаремах, была любимая курочка. Бедняжку можно было тут же определить, спинка была почти голенькой, и по сносу яиц занимала первое место. Петух оказался драчливым. Оценив ситуацию, окончательно обнаглел, набрасывался почти на всех. Хозяйке приходилось встречать и провожать не только гостей, но и своих.

Уходя на занятия, я выжидал момент – надо было успеть пробежать к воротам и быстро прикрыть их за собой. Это означало, думал я, что день будет удачным. Петух гнался за мной, игра ему нравилась – он опять был победителем, но были и поражения, тогда на помощь приходила мама. Заволновались соседи, набиравшие у нас питьевую воду, – войти во двор и выйти без мамы было невысказано. У отца был особый пропуск, петух сам провожал его к воротам.

ДРУЗЬЯ

Старший брат, Бейчат, ненавидел драчуна, проходил всегда без разрешения. Взаимоотношения с петухом были сложными. Между ними происходило своеобразное футбольное соревнование: «Кто – сильнее, кто – быстрее». Петух с разбегу налетал на Бейчата, он же, в свою очередь, со всей силой ударял петуха ногой. Отлетев на пару метров, петух брал разгон, и всё повторялось. По-моему, петух был резиновым. У Бейчата багровело лицо, когда он видел исцарапанный туфель, его глаза наливались кровью, из ноздрей с напором вырывался пар, как у дракона: «Пощады не будет» – и гнался за петухом. Петух оценивал ситуацию: «Схватит, оторвёт голову». Так они поочередно гонялись друг за другом. Один, боясь за голову, другой – за брюки. Продолжалось бы это и дальше, если бы не мама. Она бранила Бейчата, что, мол, он – живодёр, избивает несчастного петуха, так с живностью не

поступают: «Бог накажет». Наказание было явным – испарпаннный туфель и порванные брюки. Бог *наказал*.

Хотя родители были верующими, не помню, чтобы они посещали Божий дом, даже после известного *потепления*. Считали, что вера – это личное дело каждого. По утрам, сидя за столом, можно было услышать шёпот молитвы. В это время в комнате была тишина. После окончания молитвы подавался завтрак. Но в семье никому не удалось узнать, что же это за молитва была? Мама вместо пяти, молилась три раза, иногда, – и два раза. На вопрос:

– Ты раньше молилась больше, что случилось?

– А кто будет убирать, стирать, обед готовить, за покупками ходить? Он, что ли? – И смотрела вверх.

Часто, при хорошей погоде, сидя на лестничной площадке, отец рассматривал свои бумаги, пил чай, прислушивался к шуму Монтин³. Процедура, видимо, напоминала ему юность.

НАЧАЛЬНИК

Жалобы «зашпаклевать трещины в стенах квартиры», оставались безрезультатными: начальник ЖЭКа больше никого к нам не присылал. Трещины расходились всё шире, я как самый младший, был рад: бегать к начальнику не надо. За забором слышались голоса. Отец, как бывший революционер, насторожился. Голос знакомый. Из-за забора появился начальник ЖЭКа со своей свитой. Брюхо вперёд, посмеивается, за ним – его работники.

– Ай, салам алекум, *начальник!* – окликнул его отец.

Опешивший *начальник* остановился и стал заикаться.

– Аа-аа-а. Са-лам-ааал-екум, Аббас-ага, как Ваше самочувствие?

– Заходи, заходи, и о самочувствии тебе тоже расскажу.

«Чёрт меня дёрнул идти по этой улице», – подумал начальник ЖЭКа, открывая скрипевшую дверь.

– Сария, всем чаю.

– Нет-нет, спасибо, мы торопимся!

– На стакан чаю, надеюсь, у *начальника* немного времени найдётся?

После взаимных добрых пожеланий, *начальник* пожаловался, как много работы: дел «по горло», и как мало у него рабочих, не успевают, и указывая пальцем вверх: «ему достаётся».

Хозяин посмотрел на него прищуренным глазом.

– Я расскажу тебе одну историю, именно она связана с «верхом», – также указывая пальцем вверх.

Свита, разинув рты, уставилась на него: «сам писатель им историю будет рассказывать?»

– Однажды, на западе, старые, но богатые миллионеры услышали, что учёные сделали новое открытие! Кастрируют молодых обезьян, а яички пришивают старым, больным, слабым, но богатым миллионерам. – Сделал

паузу, проверяя реакцию.

Один из свиты спрашивает:

– И, что, Аббас-ага?

– Не перебивай, – когда говорит писатель, – сердито фыркнул *начальник*.

– Ну что? Начинают молодеть, разводятся со своими старухами и женятся на молодых. Спрос на яички был таким большим, что уже посылались целые экспедиции в Африку.

Тот же, из свиты:

– Наверное, операция называлась, – оглянувшись по сторонам, вдруг супруга писателя услышит, шёпотом добавил, – охота за я-яй-яй...

– Ты помолчать можешь?! – строго посмотрел на работника *начальник*.

– Извынаюсь.

– Может быть! Но не это важно, просто экспедиций оказалось так много, что решили больше не вывозить обезьян на запад. Прямо на месте кастрировать, часто – без наркоза, и отпускать их на волю.

Смешная картина: в середине *сказочник*, а вокруг – повернувшие в его сторону головы, развесив уши, внимательно прислушивались к каждому сказанному слову. *Начальник* подался вперёд, захлёбываясь чаем.

– Итак, неизбежное наступило, последующие экспедиции возвращались без... –

Сказочник сделал паузу, рассматривая слушателей, они в недоумении смотрели друг на друга, мол, к чему всё это?

В разговор вступил сам *начальник*:

– Аббас-ага, а что же случилось?

– Очень просто, как только охотники окружали обезьяну, она поднимала одну ногу и показывала, что уже кастрирована: «Ну, нет у неё больше яичек».

Все выпрямились, *начальник*, держа стакан чая, свёл свои пушистые брови к переносице, углубившись в раздумья.

Боясь, что вдруг и он не поймет смысла, писатель обратился к нему:

– Так вот, дорогой, я, та самая обезьяна, – и при этом чуть приподнял ногу.

Невольно взгляды всех сошлись у *сказочника* на причинном месте.

Всё тот же из свиты:

– А... Аббас-ага, и Вам тоже приишиили?

Тут *начальник* захохотал, глядя на непутёвого работника:

– Ну что ты за дурь несёшь?! Ай, Аббас-ага, поверьте, я не такой!

Свита смотрела на обоих, не понимая, почему они оба хохочут.

На следующий день пришли мастера, в очередной раз зашпаклевали трещины. Получив свои чаевые на водку, попрощались

– До следующего раза, Аббас-ага!

Как ни странно, но тридцать лет спустя, мне довелось увидеть архивные

материалы о подобных экспериментах. Произошло это не на западе, а у нас под носом, в двадцатые годы. Партии требовался *новый* человек. Было решено создать такого. В 1920-1930 годы в Москве учёным был дан приказ о создании качественного гражданина – нового «HOMOSAPIENS», который соответствовал бы двадцатому веку. Проводились эксперименты под руководством учёных-врачей, таких как Александра Маркова, Иванова и других. В 1924 году появилась идея оживить Ленина. Приезжали в Африку для проверки своих теорий, пытались уговорить пару местных жителей для эксперимента с «двумя обезьянами». Но они отказались. Несмотря на то, что многие страны чёрного континента были солидарны с рабоче-крестьянской страной, видимо, они были ещё не *созревшим* пролетариатом. Расстроенные учёные привезли с собой двух обезьян, Бабетту и Жозетт, решили продолжить опыт со спермой. *Обе дамы*, представители древнейшего рода, *отдали концы*.

БЕЙЧАТ

Брат, когда был возбуждён, говорил быстро-быстро, жестикулируя, бормотал что-то невнятное под нос. Мы не всегда его понимали. Звучало это так.

- Зарезать?
- С занятий, уставший?
- Зажарить! Расца-рапа-ны брюки. Убью! Сволочь! Копеёглу,* верёвкой привязать.

Удивительно, что живя на Монтине и имея в друзьях крутых ребят, ругаться, как сапожник, он не научился. Переводя на нормальный язык, это означало:

- Только вернулся с занятий, уставший, а эта сволочь расцарапала мне брюки, сукина сына держите на привязи, или я его зарезу.

Петух же торжествовал, кричал «ку-каре-ку», подтверждая свою очередную победу. Многие члены семьи были женаты, имели по двое детей, особой разницы в возрасте между сорванцами не было. Все были симпатичными детьми с разными характерами. Я их очень любил. Старшие братья на своих детей руку не поднимали, а мне пришлось это на себе испытать. Обидно, мне же некому было дать подзатыльник.

- Почему у меня нет младшего брата?

Мать ответила коротко:

- Я не завод, и с меня хватит. Так я ответила твоему отцу.

Наконец-то исполнилась моя мечта, есть теперь помладше, вот они, бегают рядом. Можно дать подзатыльник, но, увы, рука не поднималась. Мне знакомо было чувство беззащитности.

* *сукин сын*.

ВЫХОДНЫЕ

По выходным дням вся наша «банда», как стая саранчи, налетала на посёлок Монтин, улицу Мичурина, 3. Мама гнала кур и петуха на задний двор, прикрыв доской узкий проход, оберегая детей от петуха, или петуха от детей. В это время во дворе стоял шум, крик, плач и смех, все были веселы, шутили между собой, играли в игры и, как обычно, ссорились. Женщины возились на кухне, отец со своими старшими сыновьями и зятями вёл беседу. В такие дни он чувствовал себя бодрым, был разговорчив, смеялся и охотно слушал доносившиеся со двора чирикающие детские голоса. Детей и внуков было предостаточно – радость глазам. Забыв на время о болезни, наслаждался подаренной атмосферой. Мы же с племянниками придумывали разные игры.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ПЕТРА МОНТИНА

Кто такой Пётр Монтин, кем был, никто и не знал. Знали только, что был «красным». Находился парк в 25-ти метрах от дома – идеальное место для приключений. Полукруглая стена в виде полумесяца, высотой около трёх метров, посередине – квадратные чугунные ворота. При входе в парк, по левой стороне, в стене, была маленькая дыра, куда можно было просунуть одну руку с рублём, вытащив её с входным билетом. Дыра называлась «кассой»: там продавали билеты на прогулки в парке, в кино, в театр и на танцы. Кинозал находился в глубине парка под открытым небом. Но можно было посмотреть фильм бесплатно: как только отключали свет, детвора по каменному забору взбиралась на крышу здания, где находился киномеханик. Временами крышу заливали мазутом, но это не мешало, лёжа на животе в мазуте, с галёрки смотреть фильм: «Мазут смоем завтра керосином».

По правую сторону от ворот – парикмахерская. Она оставила у меня и у старшего брата неизгладимое впечатление. Парикмахер был выходцем из посёлка Маштаги⁴. Среднего роста, коренастый, с крепким загаром, с мозолистыми руками, говорившими о том, что он может держать не только ножницы, но и проводит много времени в своём саду. Он всегда был небрит. Сегодня этот вид щетины называют трёхдневной бородой. Носят её политики, журналисты, архитекторы и мелкие предприниматели. Да и преуспевающая часть населения тоже. Это модно. А вот маштагинец уже тогда был модным, хотя больше напоминал сбежавшего преступника. Был человеком честным, набожным, исполнительным. После стрижки, средний брат Сиям говорил:

– Опять обкарнал мне усы, – повторяя это через неделю, две и т. д.

Мне же, не по своей воле, приходилось идти к нему укорачивать волосы. А возраст был, когда особенно хотелось пофорсить шевелюрой.

Семейный «Häuptling»⁵ – предводитель, честный и справедливый, решал важные семейные проблемы. Авторитет его в семье был непререкаем, хотя часто он этим не пользовался.

– Иди, постригись!

Приходилось просить парикмахера, чтобы он укоротил только чуть-чуть.

– Хорош! Достаточно!

– Давай ещё немного укорочу!

– Нет-нет, так хорошо!

– Ведь опять придёшь!

Через пять минут меня снова посылали к нему, а тот уже ждал у входа с ножницами. Эта процедура повторялась каждый месяц. Не пришлось мне насладиться причёской – уже студентом начал я лысеть.

Монтинский парк был известен за пределами района. Во второй половине дня предлагались разные мероприятия для школьников – детские танцы, игры, библиотека и многое другое.

Но вечерняя программа была особенной: «Знаменитое народное трио» – они играли на азербайджанских и армянских свадьбах, а также музыкально сопровождали армянские похоронные процессии. По вечерам, в парке, они радовали своим искусством народ. Своё постоянное место также занимал и духовой оркестр. Все музыканты были в униформе. В Республике они оказались вместе с революционерами, и с тех пор форму больше не снимали. Оркестры внесли выдающийся вклад в развитие народной музыки и национальной культуры страны. Эти оркестры играли и на русских свадьбах жителей военного городка, и на похоронных процессиях. Часто хоронили лётчиков-истребителей, которые разбивались почти каждые два месяца. Процессия брала своё начало от Дома офицеров, находившегося рядом со Сталинским мостом. Под звуки духового оркестра родственники и друзья, товарищи по оружию, сопровождали похоронную колонну.

Нам посчастливилось. Гражданские похоронные процессии проходили мимо нашего дома и парка. Любопытные многонациональные жители *американок* выходили на улицу – кто, деревянной ложкой пожёвывая свой скудный обед, кто в фартуке, или подоспевший сосед с авоськой, всегда сияющая продавщица мороженого, старый дядя Абдула-башмачник, грудь которого была в наколках с женскими портретами. Будки у него не было, – табурет и принадлежности для ремонта обуви носил собой. Держа в руке молоток, он замирал с гвоздём в зубах, замирали и морщинистые лица когда-то красивых женщин на его груди.

Работники парка стояли по другую сторону улицы. Парикмахер рядом с клиентом с намыленной щетиной; садовник, облокотившись на лопату; кассирша с рулоном билетов под мышкой; уборщица, приложив руку к губам. Любопытствующих с обеих сторон было больше, чем в самой процессии. В начале внимательно рассматривали портрет, за ним четверо мужчин несли на плечах гроб с покойником со сложенными на груди руками, в чёрном костюме и в белых спортивных тапочках. Дворовые ребята думали, – «спортсмен», можно было разглядеть и лицо. Может быть, знакомый. За гробом следовали

двое мужчин, голов не было видно, они несли гробовую крышку, потом профессиональные *плакальщицы*, за ними – остальные, те кто хотели отдать последнюю дань покойнику. По звукам музыки безошибочно можно было определить национальность покойника.

Во время похорон «бедных» не было ни музыки, ни гроба, ни плакальщиц. Лишь после похорон на кладбище отвозили женщин, которые могли там поплакать. Похороны – чисто мужское дело. Процессия проходила без особых эмоций и всхлипываний. Если хоронили человека мусульманского вероисповедания, то покойника, обёрнутого в простыню, везли на катафалке: «Пришёл ни с чем, уйдёшь ни с чем», как гласила пословица. Нам, мальчишкам, было обидно, ну хотя бы напоследок, немного музыки. Традиция...

Ну, а после похорон, вечером, музыканты, как всегда, встречались в парке. Знали они друг друга не первый год.

В самом центре парка находился памятник: откуда ни войдёшь, – все пути вели к громадному, с двухэтажный дом, шедевру. Имя азербайджанского Родена для жителей так и осталось неизвестным. Важнейшие события происходили именно здесь, у ног каменного изваяния. Он был виден отовсюду, кроме общественного туалета. Казалось, что каменный человек замер, глубоко задумавшись. Длинная военная шинель, в правой руке пачка бумаг. Кто-то из дворовых пацанов воскликнул:

– Смотри, сколько у него денег, вот он богатый!

Другой возразил:

– Да нет! Это, наверное, билеты в кино?

– Ну и дурак ты, а... Зачем тогда касса, а...?

Недалеко на скамье сидел небритый мужичок, из замусоленного кармана его пиджака выглядывало горлышко бутылки. Хриплым голосом он промолвил:

– Списки!

Кто-то спросил:

– А... что за списки, дядя?

Мужичок, хриплым голосом:

– Списки самых передовых граждан нашей необъятной страны, которые будут осваивать север. – Умолкнув, посмотрел на нас грустными глазами, вынул из кармана бутылку с наклейкой «Агдам».⁶

Помню, в студенческие годы в Москве все знали грузин: «А... Сталин. Дирбижанин? Ну, *гхрузин*». Но при слове «Агдам»: «О..., Агдамчик. Вот это вино, нет такого другого! Ну, и на этом спасибо».

Сделав глоток, человек на скамье спрятал бутылку в карман и, вспомнив *чью-то мать*, бормоча, медленно направился к выходу. Ну, а мы на наших самодельных колясках поехали дальше, вниз по склону, в сторону танцплощадки со своим оркестром, которая была вершиной парковой культуры. Туда съезжались все, особенно солдаты и моряки. Северяне служили в Баку, а южане – на севере, так было легче познакомиться с *брать-*

ями, которые оберегали народ и республику от иранского монарха. Ввиду недостатка женского пола, танцевали они чаще всего друг с другом. Местные дамы приходили изредка. По зову партии и правительства – поднимать национальную текстильную индустрию, прибыли девушки из средней полосы России. Девочки были нарасхват. В середине 50-х годов стали модными рок-н-ролл и буги-вуги, солдатам эти танцы не нравились: «Так бабу к себе не прижмёшь!» Заграничные танцы, практически, были запрещены. Солдат местные танцоры особо не провоцировали: «Глядишь, бляхи ремней по воздуху станут посвистывать». Многие солдаты были выходцами из деревень, служили в стройбате. Современные танцы были им чужды, а вот девчатам они очень нравились. «Милтоны»⁷ были на стороне солдат, появлялись здесь и другие блюстители порядка – комсомольские дружинники, по долгу службы и они обязаны были следить за порядком. Выходцы из районов, где было, преимущественно, ортодоксальное воспитание, отрицали любое проявление буржуазного кривляния в стране, где строился коммунизм. Такие танцы духовно были им чужды.

Рядом были лодочные качели, сваренные из толстой жести. Солдаты и моряки демонстрировали девушкам свою ловкость: кто выше раскачает лодку. Раскачать-то раскачаешь, но остановить её было искусством *лодочника*. Он натягивал рычаг, снизу появлялась широкая толстая доска, которая служила тормозом – рычаг нужно было тут-же вернуть в первоначальное состояние, т. е. в обратную сторону. Чуть прозеваешь, и *плывущий* мог вылететь из лодки. Это была ответственная работа. Раздавался звон монет, выпадающих из карманов героев, визг девчат. На следующий день мы ходили на охоту за этими деньгами.

За танцевальной площадкой проезжали электрички и паровозы. Локомотив тянул за собой длиннющий прицеп. Шестидесятитонные цистерны день и ночь шли на север. Мы спорили на конфетные фантики, сколько вагонов будет в этом составе, выигрывая бумажки из-под конфет. Обычно вагонов было около 50-60-ти. Вывозилось «чёрное золото». Снабжали не только все республики нашей страны, но и братские страны. Позже, после войны, несколько городов наградят званием «Город-герой». Баку останется ни с чем, а выигранные фантики я храню по сей день. Нефтяникам было суждено и после войны в три смены качать нефть. Когда закончилась война, достаточно было бы и 17% сибирской, тяжёлой нефти, учитывая особенности климата и условия добычи бакинской. Но обойтись без неё не хотели и не могли. Из республики отправляли и продукты, технику, ореховые масла, которые предотвращали замораживание боевой техники и оружия. А другие в это время встречали врага «хлебом-солью».

Поезд ехал медленно и долго, ритмичный стук колёс, скрежет рельсов, машинист с улыбкой обдавал всех паром. Танцплощадка в этот момент исчезала в тумане. Этим пользовались безбилетники, перепрыгивая через

острые прутья забора. Оркестр продолжал играть, танцы не прерывались. Всё это происходило за спиной великого *отца народов*. С правой стороны от памятника – духовой оркестр, слева – знаменитое «трио», посередине – русский народный оркестр с гармонью. Каждая группа танцевала свои народные танцы. Рука со стопкой бумаг была протянута в сторону музыкантов «трио», мол, «Делом займитесь, гацо!» Но всё-таки многие были уверены, что в его руке были деньги. Торс памятника был развёрнут в сторону входа, к площади. Казалось, он приветствует рабочих и крестьян, пришедших навестить его. Гости же, совершив *героические победы* в строительстве социализма, пришли на заслуженный отдых. Одни шли в сторону танцев, другие – к кинотеатру. Новый фильм про войну. Волшебный взмах дирижёрской палочки, и весь парковый оркестр приходит в движение. Всё это смешивалось с голосами тружеников, танцующих лезгинку. Духовой оркестр, пляшущие люди, пар с тепловоза, мелодия фокстрота с танцплощадки, крик безбилетника, угодившего на остриё забора. Каждая группа старалась показать своё искусство. Из кинотеатра эхом доносился свист летящей бомбы, звуки взрывов, автоматных очередей, выстрелы из пушек и крик: «Орлы, за мной, за Сталина, ураааа!»

Апофеоз какофонии, казалось, давал понять, что до коммунизма – всего один шаг. «Жить стало действительно легче, и веселее». Таков был отдых. Не такой как на Западе, где каждый прячется в свою конуру, опустив оконные ставни: «Мы отдыхаем». Отдых в парке заканчивался в одиннадцать вечера. Предварительно три раза коротко гасили и включали парковое освещение. Народ *гуськом* направлялся к выходу, пора спать, набираться новых сил для завтрашних *побед*. Заканчивалось всё кулачными боями между солдатами и моряками. Повод? Да какой ещё повод? В бой шли бляхи, парковые скамейки, ну, а дальше, что под руку попадётся. «Милтонов» и комсомольских дружинников, словно ветром, сдувало. Спасением был только военный патруль. Зная своих *молодцев*, они дежурили невдалеке. В кратчайшие минуты патруль появлялся в местах происшествия. Представители двух родов войск, защитники страны, выясняли, кто самый незаменимый в стране. Но тут было не до шуток.

– Патруль!

– Спасай свою душу, солдат!

Так проходили выходные дни.

НАШ ДВОР

Родня покидала нас со своими малышами. Было радостно и печально. Радостно, потому что, наконец, наступит тишина, печально, что завтра будем скучать. В то время я не задумывался, что дети вырастут, создадут свои семьи, станут отличными специалистами, и все перессорятся между собой. Большая семья – большие проблемы, маленькая семья... и так далее. А жаль. Бог всем в помощь!

Все уехали, и сразу раздалось: «Ку-ка-ре-ку! Свобода, свобода». Воз-

буждённый петух прохаживался по двору, разглядывая все углы, во что превратилось его хозяйство: «Ку-ка-ре-к-у-у-у!»

Он владел четырьмя видами нападения на свою жертву.

Первый – когда жертва абсолютно уверенно шагает по двору и не обращает на него внимания. Разбег, небольшой прыжок, полоснёт скрещёнными лапами, и монограмма «Z» ниже колен, обеспечена. Второй – когда жертва идёт медленно и, с опаской приближаясь, смотрит на него. Разбрасывание земли лапами, старт, разбег, прыжок, как можно выше, подпись от головы до пояса. Очень опасно.

Третий – очень хитрый вид нападения: поклёвывая травку с опущенной головой, не теряя жертву из виду, как акула, сужая круги вокруг неё, медленно к ней приближаясь, и прыжок. Можно было увидеть неподдельную подпись. «Зоого».

Четвёртый – когда кто-нибудь бежал за петухом с протянутыми руками: «вот-вот я тебя поймаю», – он быстро разворачивался и, уже оторвавшись от земли, в полёте, полосовал своими шипами по рукам, а то и по лицу. Небезопасное действие.

Мне пришлось быть свидетелем, как офицер с его десятилетней дочерью проходили мимо забора. Девочка остановилась: «Ой, папа, смотри, какой красивый петух!» Петух, сделав вид, что поклёвывает зёрна, медленно приблизился к воротам. Не успел я предупредить офицера, как девочка уже приоткрыла дверь, и петух оказался за двором. Отец малышки посмотрел на него, пожав плечами: «Ну, что здесь такого». Но было поздно. Петух подпрыгнул до уровня головы ребёнка, и мы услышали крик. Произошло это всё молниеносно. Отец подхватил дочь на руки, у неё сочилась кровь из носа. На крик выбежала мама. Но на этом петух не успокоился, набросившись на офицера, он полосовал по сапогам. Тот с силой ударал петуха сапогом. Мама прогнала сорванца, остановила кровотечение у девочки. Носовое крыло у неё было пробито насквозь. В поликлинике врач, узнав о произошедшем, не удивился. Петух был уже и там известен. Простившись, я направился домой, взглянув в сторону поликлиники – стоял абсолютно растерянный офицер в расцарапанных сапогах, не вполне осознавший, что произошло, с заплаканным ребёнком на руках. Мне было по-настоящему их жаль. У ворот я увидел этого мерзавца, он разгуливал по двору, кудахтал с курами, *рассказывая* о своём героизме. И это после того, как получил такой удар сапогом. Может быть, он был действительно резиновым? Время шло, все как-то приноровились к петушину закону. Появились цыплята. Заботливый папаша показывал цыплятам, где и как искать корм, съедобных насекомых, подальше от соседнего забора – там чужой кот: «Нашу кошку нечего бояться, знакома со мной». И кудахтал что-то таким нежным мелодичным голоском, которого от этого кровожадного петуха никто не ожидал.

ПЕРЕИЗДАНИЕ

Отец работал над романом «Саттархан», однажды уже изданным. Политическая обстановка между соседями смягчилась, был отдан приказ роман переиздать, кое-что изменив. Но каждое изменение влекло за собой изменение чего-то ещё. Цепная реакция. Его сердило, что изменять надо то, что уже было издано. «Зачем?» К сожалению, этого, по-моему, он так и не понял или не хотел понять. Книгу ожидало и третье переиздание, конечно, с изменениями. Политическая обстановка в стране ухудшилась. Отказаться? В те времена не отказывались. Он приходил домой расстроенный, писал в паузах между приступами, а часто и допоздна. Если удавалось после обеда прилечь на часок, он крепко спал и, казалось, можно выключить радио, которое служило ему снотворным. Диктор что-то тараторил на фарси, дома кроме него никто не слушал *голосов*. Слушал он *голоса* и во время работы, и во время сна, от любого шороха или скрипа тут же просыпался, сердился: «Кто выключил радио?» Во сне пропустил важное известие, хотя при этом очень громко храпел.

В Библии рассказывается, что за 1400 лет до рождения Христа, иудейские войска, дувшие в музыкальные тромбоны, развалили неприступные стены города Иерихон, который сейчас принадлежит Иордании. (Я подозреваю, что его храп мог бы быть причиной образования трещин в доме). Обычно, по утрам, петух взлетал на забор и, прокричав несколько раз, звал семью и соседей на работу. Если учитывать, что у многих жителей не было не только часов, но и будильника, вместо них эту обязанность брал на себя петух. В полдень – на обеденную выпивку, а под вечер, – на заслуженный отдых в парке. Петух гордо похаживал по забору, красуясь перед курами. Дневной сон отцу был необходим, ему предстояли бессонные ночи с применением ингалятора, незаменимой панацеи. На короткий сон можно было надеяться лишь под утро. Приходилось часто летать в Москву – Союз писателей СССР подключил двух писателей с известными именами. Они редактировали его материал для получения *зелёного света* на переиздание романа.

Чем больше автор сердился, тем чаще приступы астмы железной хваткой перекрывали ему дыхание. Зимой или летом, днём, вечером и по ночам, мне часто приходилось бегать в скорую помощь, расположенную с левой стороны каменной стены парка. Многие маленькие учреждения были сконцентрированы у парка. Милиция, базар, трамвайная остановка № 14, поликлиника, школа, станция имени Монтина, хлебный магазин, гастроном. Было достаточно постучаться в окно, заметив кого-либо из санитаров, и возвратиться домой. О том, чтобы снова заснуть не могло быть и речи – моя постель была у изголовья отца, так легче было ему меня будить. Ждать врачей приходилось недолго. Сегодня я уверен, всё-таки папе повезло: окажись он в такой ситуации здесь, на Западе, пришлось бы ожидать пару часов, хотя и здесь существует выход: звонить не в скорую, а в пожарную команду – через

десять минут они у пациента. Пожарная команда имеет при себе всю технику и врачей, ведь они занимаются не только тушением пожаров.

Приступы у отца всё учащались, поджимали сроки – книга писалась медленно. Петух же, достигший своего петушиного апогея, кукарекал беспрерывно, ранним утром, в полдень, под вечер и в паузах между ними. Отец не мог сконцентрироваться, отвлекаясь от работы. Как-то перед уходом отца на работу, мама спросила:

– Аббас, что приготовить на обед?

Уже с лестницы, посмотрев во двор, ответил:

– Петуха!

Мама жалостно посмотрела на петуха, потом с молящей улыбкой на мужа.

Вернувшись с работы, отдышавшись, отец кивнул супруге, она накрыла на стол. За окном кричал петух. Пообедав, отец посмотрел на неё, и она поняла этот взгляд. Насчёт петуха всё было – всерьёз. Выйдя во двор, она смотрела со скорбью на самодовольного *Пашу*. Тот крутился у её ног, потом, подав свою грудь вперёд, громко закукарекал.

– Да замолчи ты, сукин сын!

Паша занялся своим делом, подойдя к рябе, третьей в гареме, что-то стал ей нашёптывать, маме же надо было что-то придумать.

Следующим утром, она заперлась в туалете, стараясь не попадаться на глаза мужу. Он терпеливо ждал на лестничной площадке. Петух, обрадовавшись, что может и хозяину показать своё искусство, встал прямо перед ним и закукарекал. Оба пристально смотрели друг на друга, и каждый думал о своём.

Мама, решив, что опасность миновала, вышла из туалета, отец смотрел на *гоголя*:

– Чтобы сегодня же был на столе!

Она поняла, укорять петуха бесполезно, вот и докукарекался, теперь снесут ему голову:

– Не достаточно трёх раз в день, я тоже молюсь три раза. Чтобы у тебя голос пропал!

Тот и слушать не хотел, шествуя, направился к своим дамам позаботиться о своём потомстве. Приближались выходные дни. Вернувшись с занятий, уже у ворот, я увидел грустную мать, сидевшую на табурете, обхватившую голову руками. Только рванулся к ней, как передо мной встал петух: «Ааа-гаага, попался!»

В это время мама так на него крикнула, что тот в растерянности отскочил в сторону, глядя на неё.

– Мама, что случилось?

– Твой отец!

– Что с ним?

– Петуха надо зарезать.
Тут и я опешил.
– Как зарезать?
– А вот так, хоть бы охрип, кукарекает беспрерывно, мешает работать, спать, думать. Что делать, толком не знаю, пошлёт меня на базар за мясником.

– А ты скажи, что сегодня мясо не привезли.
– Ты что сынок, меня в грех вводишь в этом возрасте? Лгать?
– Сама выбирай – маленькая ложь или петух в кастрюле?
– Ну, пошлёт тебя за парикмахером.
– Завтра посмотрим.

Мы решили подождать. Я уехал в город, оставив её одну в тревоге.

На следующий день во время завтрака по лицам родителей было ясно – обстановка накалилась.

Отец:

– Позови брата.

Мама:

– Он уже ушёл.

Отец:

– Всегда, когда он нужен, его нет, ни к чему не годен, а ты иди: позови парикмахера сюда.

Стараясь делать вид, что я не в курсе, ответил:

– Так я тоже могу тебя постричь!

– Кто тебе сказал о стрижке?

– Ну, а парикмахер?

– Нужен, чтобы петуха зарезать.

– Как зарезать?

– Делай, что тебе говорят!

– А если я петуха возьму и уйду?

Он, посмотрев на меня, свёл брови...

Я улыбнулся отцу: «Теперь вспомнил?»

– Папа, я применю один метод, и петух замолчит.

Скептически взглянул, прищурил глаз, стараясь уловить, где же собака зарыта.

– Что ещё за метод?

– Поверь!

– А если закукарекает?

– То я сам ему голову оторву. Завтра же.

МАРЁВКА⁸

В детстве, когда вся семья была на даче, отец купил ягнёнка. Мы по-дружились – малыша так рано оторвали от матери, что он нашёл во мне

друга, посасывая мои пальчики, он всюду бегал за мной. Как-то увидел, что под вечер собираются у нас гости, такие радостные, пузатые, с громадными ртами и толстыми жёнами. Мужчины похваливали ягнёнка:

– Ах, ага, какой ты знаток, купил не белого, а именно чёрного, вот из них получается великолепный шашлык, мясо особенно нежное, вкусное, просто во рту тает.

Я же, маленький дурачок, не мог понять, что они имеют в виду. Моего ягнёнка на шашлык? В это время послышался голос отца:

– Сария, забери младшего.

Мне стало ясно, эти людоеды, – действительно хотят сожрать моего ягнёнка. Побежал к большущим воротам, ягнёнок – за мной. Кто-то бросился нас ловить. Но с такими животами – умора. Мы быстро оказались на улице, побежали в сторону бугров. Кто-то вдогонку:

– Держите их, держите. Шашлык убегает.

Было уже темно, мы с ягнёнком лежали за бугром, прижавшись друг к другу. Нас нашли. Убедили, что гости ушли, нечего бояться. Я поверил. Малыша забрали у меня и убежали. Было поздно, надо поторопиться. Приближаясь ко двору, услышал, что было шумно, весело, звон бакалов и пахло шашлыком. Я горько плакал, всех проклиная: «Чтобы все сдохли. Мамааа, они моего друга!» Я всех ненавидел.

РЕВОЛЮЦИОНЕР

По характеру отец был добрым, отзывчивым, дал детям хорошее воспитание. «Зарящийся на чужое добро, – говорил он, – счастья в этом не увидит, это харам»⁹. Знавший с шестнадцати лет наизусть коран, владел несколькими языками, был хорошо знаком с другими религиозными учениями. Часто слышал чтение молитвы на непонятном языке, много путешествовал, в юные годы писал поэмы, стихи и увлёкся политикой. Увлечение свело его с единомышленниками, борцами за освобождение южного Азербайджана. Это стоило ему не только потери своего очага, родины и близких родственников, но и не исполнившейся мечты. Попав в новый советский Азербайджан, он приобрёл новую родину, с непонятной ему до сих пор – новой системой. Познакомился поближе с реальным социализмом, всё стало ясно: исчезали соратники, друзья. После войны разговоры о войне в немецких семьях не велись, люди хотели как можно скорее забыть эти кошмарные годы истребления шести миллионов евреев, одиннадцати миллионов своих граждан, более двадцати миллионов граждан СССР. Зачинщики понесли сокрушительное поражение. По статическим данным погибло в этой войне более 60 миллионов. Человеческие судьбы были стёрты с лица земли. Но жизнь идёт своим чередом, надо продолжать жить.

Теперь, когда прошло более шестидесяти лет, появилось желание избавиться от душевного груза и пыли, рассказать о войне, какой она была в

действительности. Отыскивают оставшихся свидетелей и участников. Слушая их, я начал понимать отца, который так и ушёл из жизни, не рассказав нам о своей судьбе. Только в его романах выплывают наружу особенности того времени, переживания, мечты, и всё, что накопилось в душе за долгие годы. Умалчивая подробности, он оберегал нас.

Была у него привычка прятать под скатертью короткие заметки. Когда скатерть заменяли на новую, памятки оставались на том же месте. После его смерти под нею был найден листок бумаги со стихотворением. Звучит оно приблизительно так:

*«Окажись я опять мальчишкой,
побежать бы на мою горку.
Где пасутся козы и ягнята,
выпить глоток молока,
напиться холодной воды
из чёрного ручья,
и там же душу Господу отдать».*

Здесь, в Германии, стал понятен смысл этих строк. Родина – это не абстрактные границы, это дом, где ты вырос, двор, где жили твои первые друзья, город, где ты учился и влюблялся. Страну, её культуру, традиции – вот что надо любить, как свой дом. Я благодарен своим родителям, пожертвовавшим всем, они дали нам достойное воспитание. Хотя оно и не отвечает современным условиям, но хотелось бы верить, что через поколения такие понятия, как честь, долг, вера в дружбу, слово мужчины, лояльность опять станут преобладающими ценностями общества.

Мама говорила: «Сначала – Бог, потом – учитель, и только потом – родители». Они настраивали нас на учёбу, на приобретение специальности. Одни стали профессорами, великолепными врачами, геологами, инженерами, – отец ими гордился. Здоровье – важнейший фактор человеческой жизни. Говорят: «Лучше умереть бедным, но здоровым, чем богатым и больным». Именно болезнь вызвала его страх: «Форточку прикрой» или «Дверь закрой». Рецепты врача казались панацеей. Медикаменты стали спутниками его жизни. Принимал он их в большом количестве, но результат был минимальным. Здесь, в Берлине, как-то пришлось мне посетить химзавод по изготовлению медицинских препаратов. Я задал вопрос директору:

– Куда стекают отходы? – имея в виду реку Шпрее.

Он ответил:

– Но ведь 70% готовых препаратов – это чистый мел.

– Как мел?

– Очень просто, многие пациенты являются медико-наркоманами. Принимая эти препараты, они лечат себя сами. Верой в выздоровление.

Одним словом, нет вреда, ну и польза небольшая.

Аббас-аге эта вера не помогала. Болезнь ломает и сильных, и волевых.

Жизнь петуха повисла на волоске.

– Я, нет! Ловить его не буду. Он твой? Вот и лови.

Мама была на всё готова, только бы сохранить ему жизнь.

– Что ты придумал? – спросила она.

– Увидишь! Поймай петуха, – возразил я.

Она вышла во двор, петух сразу же подбежал к ней, надеясь на что-либо съедобное, она просто наклонилась и взяла его на руки.

– Держи покрепче.

Я достал из кармана тубик, открыл крышку и сунул его петуху в задницу. Петух стал дёргаться.

– Ты что делаешь? Он же – мужчина!

– Кастрюля или тубик! Держи, – выдавив половину содержимого, я бросился вверх по лестнице. Стоя за мамой, смотрел на петуха.

– Что ты с ним сделал? – Увидев в моих руках тубик, сказала, – дурачок.

Сорванец вдруг попятился, остановился у ног хозяйки, и крепко прошёлся своими когтями по цементированной лестнице, оставив глубокий след.

Я не был уверен в эксперименте. Наблюдая за происходящим, увидел, что *Красноармеец* прогуливался, как обычно разбрасывая землю, медленно приближаясь к забору. И вдруг, взмах крыльев, и петух оказался на заборе:

– Мама, скорее сюда.

Петух занял свою позицию, посмотрев вокруг: «Надо привлечь внимание кур». Но те были заняты поисками зёрен. Мотнул головой сначала вперёд, потом медленно опустил её вниз, потом вверх: «Киии..... », – и выдал что-то в виде храпа и свиста, а из задницы прыснул жидкий помёт. Куры, все как солдаты, замерли с наклонившимися на бок головами, дабы лучше видеть своего *Пашу*. После маленькой паузы, по очереди закудахтали, шум охватил весь двор. Мы не могли удержаться от хохота, на шум вышел семейный *паша*. Недоумённо разглядывал нас, но мы уже не могли успокоиться.

– В чём дело?

– Смотри, что твой сын натворил.

Петух растерянно смотрел на кур, придя в себя, опять принял позу хозяина двора, и всё повторилось.

– Что ты сделал?

– Ах, ничего особенного, я ему полтубика вазелина вогнал.

Отец засмеялся и опять ушёл исправлять свои пассажи. Мы поняли, – опасность миновала. Паша спрыгнул с забора, грустно похаживал по саду, временами останавливался в глубоком раздумье. Куры сбились вместе, подумывая: «Мужик уже стар, – нужен молодой». Весь день петух шагал вдоль забора, покачивая головой. Проклятье хозяйшки сбылось: петух

потерял голос. Под вечер, видимо, больше по привычке, он взлетел на забор и долго не решался прокричать. Куры, расставив пошире лапы, а некоторые – крылья по бокам, ждали от хозяина настоящего отбоя. «Была-не была», – и он, сделав несколько странных движений головой, видимо, размачивая слюной голосовые связки, выдал: «Иииии...и». Это был писк очень молоденького петушка. *Старшая по гарему* так раскудахталась: «Аххх...», – махнула крылом, задав тон другим, мол, пора домой, и они грустно направились в курятник, за ними, свесив голову и хвост, поплёлся петух.

Завтра – выходные. Ранним утром, на куриный шум и крик мамы, мы выбежали во двор. Петух с курами были уже во дворе, а мама, указывала в сторону курятника:

– Змея, змея.

РАССТРЕЛ

Она была не из пугливых женщин – не только перед опасными животными, но и перед властителями. Муж, которого подозревали в политической деятельности, в своё время сидел в каземате, но против него не имели улик. Все политические узники были приговорены к расстрелу. Через их округ должен был проехать шах Реза Пехлеви. Народ согнали для приветствия «Шахин-шаха всех шахов, спасителя голодных и рабов», – он изъявил желание проехать через их округ. «Это большая честь для нас» – кричал с лошади местный чиновник. Между шахом и народом стояли по стойке смирно солдаты, оберегая автомобиль шаха от народных ликований. Вдруг выбегает на дорогу женщина, подбегает к машине *царя всех царей*, держа в руке бумагу, протягивает её в окошечко, откуда только что вяло помахивала рука с крупными перстнями. Женщина была тут же окружена солдатами. Шах был, видимо, в хорошем настроении. Подняв руку вверх, он остановил солдат, окруживших женщину. Забрал письмо, махнул шофёру, карета поехала дальше под радостное одобрение толпы.

Светало, по небу плыли густые тёмные тучи, в некоторых домах загорались керосинки, стали появляться на крышах силуэты людей. Увидев это, ночные коты с криком разбегались в разные стороны, потревоженная стая ворон с карканьем стала кружить над старым дубом, покружившись, садились опять на дерево. Наконец-то умолкли, наступила тишина, только холодный ветер со свистом пробегал по маленькому городу. На крыше – силуэт человека, взобравшегося на дымоход, он замер, закукарекал петух, его поддержали другие. Сняв с головы папаху, неизвестный закричал:

– Ведут, ведут, – быстро прыгнул с дымохода и исчез в темноте.

Заскрипели входные двери, со всех сторон народ стекался к близлежащему холму, все устремили свой взгляд в сторону тюремного двора. Городской каземат. В одну линию, вдоль белой стены, в сопровождении охраны шли

заключённые, эхом доносились голоса, заключённые остановились. Женщины всхлипывали, призывали на помощь Бога, другие рвали волосы на голове. Раздались выстрелы, все вздрогнули, наступила тишина. Взлетела стая ворон. Каркая, улетали за горизонт, залаяли дворовые псы, громко рыдали женщины.

Только одна из женщин не плакала! Многие удивлялись ей: «Поплачь, Сария-ханум, станет легче». Она уверенно произнесла:

– Его среди них не было! Он жив.

Соседи думали: «Шок, или она свихнулась?»

Через пару дней отец и ещё двое невиновных были на свободе, а через неделю он участвовал в тайном собрании демократов.

РЕВОЛЮЦИОНЕР (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Бейчат, стоял в трусах, смотрел в указанное место:

– Где, где, где змея?

– Там, видишь, не шевелится.

Он взял палку и постучал по лежащей в песке змее, она была мертва, вся в дырах, из которых сочилась кровь. Во всём посёлке мальчишки не видели змей.

«Ку-ка-ре-ку». – «Чёрт возьми, петух восстановил свой голос». Прокричав несколько раз, спрыгнул во двор, куры тут же окружили его, и все хором закудахтали, радуясь тому, что старый муж всё-таки лучше, чем новый.

Мама:

– Где краплёная? Где краплёная?

В курятнике лежала мёртвая краплёная курица.

Бейчат, любитель природы, оглядев мёртвую курицу, поставил диагноз:

– Змея заползла в курятник за яйцами, ужалила краплёную, а петух отомстил за свою жену.

Ну кто мог предположить, что в этом геологе таится редкостный дар криминалиста? Он посмотрел на петуха:

– Молодец, хоруз, кишисен.¹⁰

Петух поблагодарил его по-своему. Позже, Бейчат, объяснил папе причину шума во дворе.

– Он её заклевал? Ну что ж, другие держат собак, почему не петуха?

Тут и мама, наконец-то, сказала:

– А ты: «Зарежь, зарежь, парикмахера сюда».

– Ладно, ладно, делом займись, скоро дети придут.

Раздался телефонный звонок, мама взяла трубку с надеждой, что это кто-то из детей.

– Аббас, это тебя.

– У аппарата. Хорошо, только последний, как другие, в порядке, спасибо, и вам также, – положил трубку.

Он не любил много говорить по телефону, не любил, когда это делали другие, особенно, Бейчат.

– Мёртвый это разговор, в глаза человеку надо смотреть – это истинный разговор. Телефон – для обмена короткой информацией, а не для болтовни.

Но мёртвый разговор принёс приятные известия, что все проделанные изменения в порядке, и осталась мелочь, надо торопиться, пока политическая обстановка не изменилась.

Семья уже не удивлялась, если у забора иногда останавливались полюбоваться на петуха или подразнить его. Это было привычно, он был известен за пределами посёлка Монтиня.

Как-то у ворот появился худощавый мужчина в потёртом пиджаке и с восьмиклинкой на голове – на лице серая щетина. На вопрос хозяйки:

– Что вам угодно?

Ответил хриплым прокуренным голосом:

– Ханум, салам алекум! Извиняюсь, мне хотелось бы с хозяином дома поговорить.

– Подождите минутку, – и ушла в дом:

– Аббас, там за дверью стоит мужчина, хочет с тобой поговорить.

– Кто он?

– Не знаю! Похож на картёжника, откуда у тебя такие знакомые?

– Какой ещё картёжник? Пригласи сюда.

Незнакомец вошёл во двор, петух бросился на него, но мама преградила ему дорогу. Посетитель, с блеском в глазах, поглядывая на петуха, покачивал головой, приговаривая:

– Бех-бех-бех, – в то же время украдкой рассматривая двор.

Войдя в дом, снял запylённые башмаки, оставшись в дырявых носках, держа кепку в руке, почему-то сгорбился, войдя в, так называемую, гостиную комнату. Поздоровался.

– Добро пожаловать! – И предложив гостю сесть, отец коротко кивнул маме. Она очень осторожно отодвинула разбросанные рукописи, освободив небольшое место перед прищельцем, и ушла готовить чай для незваного гостя.

Через несколько минут он, извинясь и сунув ноги в башмаки, в сопровождении мамы пошёл к воротам. *Папе* так и не удалось добраться до незнакомца. Мама стояла *горой*. Погода была тёплая и без удушающего чёрного облака. Отец, сопровождая гостя, остановился у входа в коридор. Гость, глядя одним глазом на петуха, а другим – на хозяина, рассыпался в бесконечных извинениях.

– Я очень сожалею, – сказал отец. – Петухами мы не торгуем, да и собак нам не нужно, места нет. – Говорил он серьёзно, но было видно, внутри – хохотал. Картёжник, уходя, ещё раз поклонился и исчез.

Мама бросилась к мужу:

– Что с петухом?

– Да они устраивают где-то за городом, то ли у Волчих ворот, то ли в Похлудере¹¹ – петушинные бои, так он зарабатывает свой хлеб, спрашивал, не продадим ли мы ему петуха? А взамен подарит нам волкодава!

Мама спросила:

– А волков где нам взять?

Подобные просьбы были не новостью, часто приходили мелкие спекулянты, торгаши с базара, кого-то интересовали садовые фрукты: алыча, айва, и туловицей интересовались, хотя половина дерева была дикой и плодов не имела, а вот другая – просто прелесть. В Азербайджане, особенно, на Апшеронском полуострове, произрастает чёрная шелковица, так называемый, хартут, райское дерево. У парикмахера руки оказались добрыми, хартут сам привил, сам же ухаживал. Появился спрос и на яйца у базарных продавщиц.

Где-то в середине недели раздался очередной крик:

– Кур украли, вай, мои куры! Украли, чтобы ваши ноги сломались, руки отсохли!

Воры ночью утащили петуха, а заодно нескольких кур. Мама была вне себя, было грустно смотреть на неё. От курятника к заднему двору до самого забора вели кровавые следы. Видимо, петух сопротивлялся. Во дворе стало тихо, только пара кур, которым удалось ускользнуть, кудахтали непрерывно. Все были расстроены, даже Бейчат, хотя он ненавидел Петуха, что-то скороговоркой проговорил, но по лицу было видно, попадись ему вор, убил бы. А потом задумчиво сказал:

– Жаль! Хороший был петух.

Брат пришел поздно. Чтобы не тревожить отца, стучал в окно комнаты, где спал я. Он так же ничего подозрительного не заметил. В субботу вся детвора была уже в доме, расспрашивали, что ещё унесли бандиты, и были рады, что они не украли дедушку и бабушку. Бейчат зарезал оставшихся двух кур, это он умел, проведя многие месяцы в горах по работе, часто заглядывал, как готовит обеды мама. Любовь к хорошей еде научила его экспериментировать со всевозможными рецептами. В походе из небольшого количества продуктов он мог приготовить отменное блюдо. Сёстры распотрошили кур и по маминому рецепту приготовили плов с рисом. По этому рецепту готовит временами и моя супруга, только она дала ему новое название. «А la „Sarija Chanum“»¹². Все ели с аппетитом и похваливали:

– Как вкусно!

Только мама отказалась от еды, ссылаясь на отсутствие аппетита. С наступлением вечера родня потихоньку разошлась. Утро оказалось тихим, выйдя во двор, мама прослезилась, вытерев глаза платком, пошла на базар за продуктами.

Отец, сидя за столом, дописывал последнюю страницу романа. Поставив точку, он глубоко вздохнул, как вдруг из кухни донёлся сердитый голос:

– Безбожники! Ни совести, ни чести! Смотрят человеку прямо в глаза и врут! Как можно всю жизнь ложью жить, чтобы ваши тухлые яйца у вас на головах разбились!

На шум в кухню вошел отец. Мама сказала:

– Ты не беспокойся, я быстренько приготовлю кое-что другое.

- 1 посёлок на севере г. Баку;
- 2 сорт шелковицы;
- 3 район г. Баку;
- 4 посёлок на севере г. Баку;
- 5 глава племени;
- 6 сорт вермута;
- 7 милиционеры;
- 8 деревня на юге г. Баку; её жители – староруссы;
- 9 исламский аналог слова «грех», «проклятье»;
- 10 настоящий мужчина;
- 11 «дерьмовый» овраг;
- 12 «А ля „Сария Ханум“».

МИХАИЛ ПИКЕР

РОБОСТЬ.

Какой-то скромный я, неброский,
Порой, придёшь в квартиру к людям
И там, последним отморозком,
Сидишь в углу, как конь на блюде.

Другие – девушек снимают
С необъяснимою сноровкой.
И только ты, забившись с краю,
Сидишь, угрюмый и неловкий,

Другие в суете привычной
Не устают шутить, смеяться,
Лишь только ты – косноязычный,
И девушки тебя боятся.

Потом внезапно, скомкав вечер,
По опостылевшему дому
Пройдешь, круша чужие вещи,
И вывалишься в ночь, как в омут.

НОСТАЛЬГИЯ ПО СИБИРИ.

...И неприступная тропа,
И древнерусская чеканка,
Звенит тайга, гудит тайга
На потаённых полустанках,

Бежит дорога под уклон,
Вдали царит утёс отвесный
И волк хоронится в свой схрон
На фоне вздыбленного леса.

Суровый, молчаливый дол
Заполнен воздухом творожным.
И колокол гудит, как ствол
И лупит языком по роже.

Не ведаю, с каких времён...
И знания какого, ради
Я понимаюм наделён,
Что навсегда тайгой украден.

Я, как верблюд, мотаю головой.
Во мне живёт совсем другая местность –
Какой-то сад за голубой горой
И удочки натянутая лёска.

И голову вниз опустивший парк
Не в меру затянувшейся длиннотой,
Бессмысленное имя Аристарх –
Приснится же в бреду такое что-то,

Водою неразбавленной скользя,
Я проникаю в сумрачные ниши,
Но наяву туда попасть нельзя,
Лишь только умерев или упившись.

ПОЗДНИЙ СНЕГ.

Не замечали? Порою, в апреле,
Перебивая весенний забег,
Словно в насмешку, кружась еле-еле,
Выпадет неожиданый снег,

Ветки деревьев беременны почками,
Но, окунаясь в внезапную грязь,
Люди погруппно и поодиночке
Бродят, отплёвываясь и крестясь,

Так сумасшедший, едва залечивши
Зимние хвори и встретив облом,
Не понимая, на что ополчившись,
Бьётся о стену старательным лбом.

НОВАЯ СКАЗКА

Магазин втягивал в себя посетительниц, которые исчезали в его чёрной дыре, оставив позади мужей. Что-то найти тут было трудно, но женщины находили и выскакивали, радостные наружу.

Придя домой, Света занялась примеркой. Одежда лежала вокруг тухлыми рыбинами. Она хотела куда-то идти, но уже никуда не шла. Гора вещей росла. Тряпки ожили. Рубаха схватила за плечи, туфли впились в ноги. Сумка открыла рот, руку обвил ремешок от Армани.

«Ни хрена себе», – подумала Света. Голова закружилась и она осела посреди холмов.

Одежда ласково втягивала её в своё лоно. Она стала маленькой и пластиковой. Теперь у неё были домик со стильной мебелью, идеальная фигура и кожа ровного, матового цвета.

В дверь вошёл Эдуард. Они ели поскрипывающий стейк, пили вино и говорили фразами. Потом на хрустящих простынях они предались любви. В правильный момент их охватил оргазм.

Света очнулась. Мотнув головой, она скинула с себя наваждение, потом решительно собрала тряпки и, надев шлёпанцы, выбросила всё в мусор.

Она забралась с ногами на диван, и ей было так уютно в непротёртых, сползающих с носа, очках и застиранной кофте. Она посидела ещё, потом ещё, потом встала и пошла выуживать из мусора выброшенную одежду.

БЕГ

Сколько себя помню, я бегал всегда и везде, когда это считалось полезным и когда – нет. Когда бегали от инфаркта и когда – к нему. Я бегал по Парижу, по Барселоне, по Тель-Авиву, по Акабе, по Нью-Йорку, по деревне Паскудино. Бегал и по беговой дорожке, но это бег в никуда. Каждый город, отмеренный ногами, становился своим. Особенно плохо было в украинском Стороженце. Из домов выбегали коротконогие, мелкой, местной породы, собаки и, не веря своему счастью, хватали меня за икры.

В Берлине собаки другие, только косятся в твою сторону.

Я бегал ночью и днём, в сухом израильском мареве, когда пыль из пустыни забивалась в нос, а майка натирала до крови, и в сибирскую стужу, когда борода обрастала льдом и его надо было выбивать кулаками.

Я бегал в религиозном Бней-Браке, между хасидами с пейсами и женщинами в париках и в бесформенных юбках, с выводком детишек.

Я бежал по кромке Средиземного моря, на ходу подбирая выброшенные прибором раковины и глиняные черепки с рисунком. Потом я скидывал трусы и бросался в воду. Болтаясь в волнах, я приходил в себя.

Сейчас я, – галахический еврей, с какой-то мстительной радостью бегу по Берлину, мимо Рейхстага, Бранденбургских ворот, по Унтер ден Линден, мимо бункера, мимо бабы с крыльями «Зиге Зойль» и памятника Бисмарку.

В Иерусалиме я добежал до Стены Плача, здесь бегу вдоль бывшей Берлинской стены.

По вечерам я бегаю в парке. Под ногами – то грунт, то асфальт. Вначале – в гору, потом – с горы. Внизу раскинулось СПА, где выходят на воздух распаренные, голые люди. Вот проскочила крыса, вот – знакомая лиса.

В кустах курят марихуану. Я пробегаю сквозь дурманное облако, и меня заносит в сторону. За загородкой, в бывшей школе, живут беженцы, там с тяжёлым топотом бородатые мужчины кружат свой дикий танец.

На бегу я слушаю лекции Дмитрия Быкова. Кто-то его спросил, как стать писателем. «Писать, – ответил он. – В любой ситуации и по любому поводу». Вот я и пишу. Наверное, я – литератор.

НИНИНА МОГИЛКА

Николай в толпе родственников брёл за гробом. Хоронили жену. Оглушённый водкой, он не понимал, что происходит. Нина умерла так быстро, что он ничего не чувствовал. Он удивлённо смотрел на скорбные лица знакомых.

Завернув на кладбище, прошли к месту, которое они с женой давно купили и где рядом со свежей могилой с новеньким памятником и фотографией Нины, которую она выбрала сама, было оставлено место и для него.

Люди что-то говорили. Он равнодушно смотрел то на фото жены, то на людей.

На поминках он выпил водки и ему стало хорошо. Сквозь пелену проступали звуки баяна. Он и не заметил как остался один за столом. Обычно его, захмелевшего, вела домой Нина, но теперь он пошёл сам.

Дом встретил оглушающей пустотой. Николай достал из холодильника ещё женой заготовленные огурцы, откусил один, да так и застыл с нелепым огурцом в руке. Теперь можно было всё – курить в комнате, не бриться, забивать козла с соседом, но ему ничего не хотелось.

Он стал вспоминать, как впервые увидел Нину. Бойкая девушка стояла в дверях клуба и задорно смотрела на него. Недолго повстречавшись, они поженились, она нарожала ему детей, а потом слегла и померла.

«Вот и вся жизнь», – подумал Николай. Ему остро не хватало всего. Разговоров, событий, да и пожалуй, самой жизни.

Через забор заглянул сосед. Постояв, пошёл дальше. Зашла знакомая женщина. Долго сидела, исподлобья поглядывая на него, ещё крепкого мужчину,

но он так упорно молчал, что она вздохнула и вышла.

Он попытался заснуть, но не смог. Вышел во двор. Луна жёлтым светом заливала округу. Ноги сами понесли его к кладбищу.

Стелился туман, рытвины выламывали ступни. Подойдя к могиле жены, он неуверенно заговорил: «Нин, а Нин, нехорошо мне».

Его вдруг развезло. Спазмы душили горло. Он бормотал всё, что приходило в голову.

Он впервые говорил с женой так, как не мог никогда раньше. Он пытался, но разговоры всегда переходили на какие-то бытовые темы.

Николай вернулся домой посвежевшим, словно побывал в очистительной купели.

Теперь он стал приходить к могиле жены часто, чувствуя, что они снова вместе, даже ближе, чем были раньше.

Весть об этом разнеслась по посёлку быстро. Люди останавливались, молча смотрели вслед, но ему было всё равно, его жизнь была там – у Нининой могилы.

Как то он зашёл в магазин, люди молча расступились, пропустив его к прилавку. В навалившейся тишине Николай выбрался наружу. Он уже знал, что делать. Придя на кладбище, он схватил лопату и стал копать там, где было его место.

Пошёл дождь, он заливался в глаза, в рот, но Николай не останавливался. Выкопав яму, он лёг на холодное дно. Теперь они были совсем близко, так, как ещё недавно в их постели.

Сколько прошло времени – неизвестно. Дождь закончился, выглянуло солнце. Сквозь толщу воды оно осветило едва различимый силуэт лежащего на дне ямы человека.

А напротив, совсем рядом, сквозь слой земли, на него, неподвижно улыбаясь, смотрела его жена Нина.

МИХАИЛ ПОГРЕБИНСКИЙ

ЛЕРА

Она никогда не появлялась в его дворе, так как жила на другом конце длинной улицы, где стояли прочные кирпичные дома с высокими зелёными воротами. Там селились военные, которые по служебным делам приезжали на два-три года, пока их не переводили в другое место. Многие, выходя на пенсию, оставались здесь жить, строя дома на живописных берегах реки. Лера была дочерью полковника, которого служба занесла в маленький городок у Южного Буга. Дети военных вносили в провинциальный быт какое-то беспокойство и свежее дыхание цивилизации. Они много путешествовали, меняя города, и были для местных сверстников людьми из другого мира.

Лера стала центром внимания среди подростков из её школы. Она многих восхищала ладно сбитой фигурой и быстрой, слегка нелепой, походкой. В свои четырнадцать лет она выглядела старше мальчишек своего класса, – девочки в этом возрасте стремительно вырастали, обгоняя их в развитии. У неё рано сформировались девичьи формы, что не осталось незамеченным для старшеклассников.

Юра жил на другом конце улицы. Среди сверстников ничем не выделялся, был маленького роста, тщедушным, замыкая шеренгу при построении на занятиях физкультуры. По натуре – добрый и отзывчивый, выполнял любые поручения одноклассников, которые часто этим пользовались. Его называли Юрчиком. У него была страсть к приключенческим романам, он собирал открытки и вырезки из журналов с видами городов мира, предаваясь мечтам о путешествиях и отождествляя себя с героями романов Вальтера Скотта, Фенимора Купера и Майн Рида. Придумывал разные истории, в которых был главным героем, а не таким незаметным, каким был на самом деле – никогда не выезжавшим дальше областного центра.

Лера редко бывала в компании девочек – ей больше нравилось проводить время с мальчишками. Она принимала участие во всех мальчишеских играх. Охотно играла в волейбол на школьном дворе, куда зачастил и Юра. Все старались подать ей пас, который она ловко отбивала. Белокурая и сероглазая, она была прыгучей и гибкой. Громко и задиристо хохотала, обнажая крепкие, белоснежные зубы. Её лицо становилось румяным, губы алели и глаза светились азартом. Она хорошо плавала, прыгая в воду с борта старого катера.

На Юру она не обращала никакого внимания. Он сидел на берегу, издали наблюдая за ней. Стесняясь своей худобы, он заходил в воду подальше ото всех, несколько раз переплывал реку, не останавливаясь на отдых, как делали многие, у бревенчатых свай, торчащих из воды посередине реки.

Через год в школе появился новенький, тоже из семьи военнослужащего, приехавшего из Германии. Он приходил на занятия в куртке из тонкой лайковой кожи, джинсах и стильных кроссовках, что в провинции было совершенно немыслимой роскошью. Но главным его преимуществом был гоночный велосипед с переключением скоростей и рулём, изогнутым, как бараньи рога. Он был тоже очарован Лерой, стал провожать её из школы домой. Она шла пешком, а он – на велосипеде, стесняясь идти рядом, так как значительно уступал ей в росте.

Через год его отца перевели в другую воинскую часть, и он уехал из города. Но у Леры не было недостатка в обожателях. Её приглашали в кино, на стадион или лодочную прогулку.

При появлении у Леры нового ухажёра, Юра изнывал от ревности. Он снова окунался в мир мечтаний, где превращался в отважного рыцаря, отбивающего свою возлюбленную у лесных разбойников или племени гуронов. Спасённой дамой сердца в его грёзах была Лера. Они мчались от погони на быстроногом коне, и девушка прижималась к плечу своего спасителя, осыпая его поцелуями.

В школе открылась стрелковая секция, которой руководил молодой военрук, и Лера увлеклась стрельбой из малокалиберной винтовки. Юра тоже записался в команду и два раза в неделю стал посещать пятидесятиметровый тир, недавно оборудованный за стадионом. Лера делала большие успехи и легко выбивала норму второго разряда. Разглядывая в бинокль её мишень, тренер говорил:

– Молодец Валерия, кучно бьёшь – последний выстрел восьмерка на три часа. Целься чуть левее и задерживай дыхание при выстреле. Юра тоже старался и научился засаживать десять зачётных выстрелов в чёрное яблоко. Возвращались вместе из тира в школу, где сдавали ружья. Юра нёс на плече и лерину винтовку, что доставляло ему большую радость. Каждое лето Лера уезжала с матерью к родственникам и возвращалась в конце августа. За два года Юра заметно подрос и возмужал. Он уже не замыкал строй, а был в числе первых на построении.

Каждый год в начале июня школьников отправляли на поле для сбора вредных жучков, пожиравших молодую ботву сахарной свёклы. Их собирали вручную и заталкивали в пивные бутылки. В этот раз поехали десятиклассники.

Юра выбрал полосу рядом с Лерой. В полдень стало жарко и она, не стесняясь, сбросила блузку и повязала её на бедрах. Её плечи и руки покрылись первым загаром. Выполнив норму, все собрались на меже и нежились под солнцем.

– Пойдёмте домой пешком вдоль реки – предложил кто-то.

Идею дружно поддержали и двинулись через овраг к реке. Берег был

устлан яркой весенней травой и усыпан жёлтыми одуванчиками. Школьники выбрали место для купания в ста метрах от плотины и дружно бросились в воду. Лера, раздевшись, ступила на камни, грядой спускавшихся с крутого берега. Между ними струились тёплые ручейки, в которых сновали мелкие рыбёшки. Она была похожа на физкультурниц, которых любил рисовать художник Александр Дейнека. Массивные, крепкие ноги с широкими лодыжками сочетались с изящным торсом и маленькой, упругой девичьей грудью. Лера бросилась в воду и поплыла по течению, разрезая воду сильными взмахами рук. Значительно удалившись, она вдруг стала лихорадочно грести, заныривая в воду. Чувствовалось, что она выбивается из сил. Лера стала звать на помощь. Течение несло её к плотине, грозя затянуть в шлюзы с гидротурбинами. Юра был к ней ближе всех. Их разделяло метров двадцать.

– Держись! – крикнул он ей и ринулся в её сторону. Сомнений не было – она попала в воронку. Водовороты были довольно редки на их реке, и он вдруг вспомнил, где-то услышанное правило: нырнуть и под водой проплыть пару метров по направлению к берегу. Юра мог под водой проплыть метров двадцать, но ему придётся тянуть обессиленную Леру. Он был уже рядом с ней.

– Набери воздух в лёгкие, ныряем.

Юра обхватил девушку за плечи, и они скрылись под водой. Вероятно, они проплыли метра четыре. На большее, не хватило сил. Когда вынырнули, под ногами ощущалось дно.

Они легли на траву, тяжело дыша. Пережитый страх постепенно проходил. Над ними проносились стрекозы, на жужжание которых отзывались своим стрекотанием кузнечики. Высоко парил одинокий жаворонок.

– Какие у тебя смешные ресницы, длинные и загибаются кверху, как у девушки. Лера повернулась к нему, заглядывая в лицо парня, как будто видела его впервые. Прядь мокрых волос шекотала кожу на его груди. – Не проспип, завтра рано мы выезжаем на соревнование в область.

...В школе их ждал автобус, куда подсели участники из других команд. Большой город приветливо обласкал их. На стрельбах Лера выбила из трёх положений норму первого юношеского разряда, Юра – второго. Уезжать они должны были вечером, и оставалась уйма времени. Побросав вещи в автобус, переодевшись, они отправились бродить по городу и были неразлучными весь день. Ели фруктовое мороженое, быстро тающее на жаре, превращаясь в душистый сок. Недалеко от яхт-клуба взяли напрокат лодку. Здесь река превратилась в широкий лиман, который для Юры был почти морем. Он сидел на веслах часа два. Хорошая шлюпка легко реагировала на гребки, оставляя след на воде. Вдгонку летели чайки. На Лере было розовое платье в горошек, в руке солнечный зонт. Она откинулась на сиденье, ладонью загребая воду. По её лицу скользили солнечные блики. От яркого света зрачки

её глаз превратились в маленькие чёрные точки, как две мишени, от которых невозможно было оторвать взгляд. День пролетел, как одно мгновение.

Поздно вечером они возвращались домой. Под монотонный гул мотора Лера уснула, положив голову на плечо Юре, и затем легла на его колени. Юра боялся шевельнуться, чтобы не нарушить её сон. Для него самого сегодняшний день походил на сон, и он боялся проснуться.

Автобус мчался по бескрайней степи, выхватывая светом фар высокие тополя.

«Далеко, далеко степь за Волгу ушла. В той степи широко буйна воля жила...» – затянули девушки старинную песню.

Постепенно деревья стали уменьшаться в размерах и затем исчезли из вида. Автобус плыл по небу, наполненному россыпью ярких звёзд. Он вывозил их из детства в новую жизнь, неизведанную и захватывающую. Эта новая жизнь будет прекрасной, – думал Юра, засыпая. – Такой, как сегодня, как сейчас, как сию минуту...

НОЧНОЙ РАЗГОВОР ИЗВАЯНИЙ

Поздними вечерами, когда многолюдные площади пустеют, закрываются дворцы, соборы и храмы, гаснет свет в музеях, и последние посетители покидают их залы, изваяния из меди, мрамора и бронзы вступают в разговор друг с другом. Они общаются без слов, на языке телепатии, давно забытом человечеством с момента его сотворения. Скульптуры, хоть и неживые предметы, всё же обладают своим сознанием и частицей души, заложенной в них авторами. Их создавали для украшения площадей и храмов, а также для прославления героев. Им очень хотелось узнать, как ими восхищаются люди. Достаточно ли они красивы и грациозны на самом деле.

Естественно, тон всегда задаёт Венера Милосская:

– Только я одна являюсь воплощением любви и обаяния. Красоту мою воспевали поэты и художники во все времена.

– Если ты считаешь себя неотразимой, то почему прячешь нижнюю часть своего тела в драпировках, и действительно ли были столь хороши твои утерянные руки? Мы ведь не стесняемся показать полностью свои обнажённые тела. Они совершенны, как видишь, – парировали две Афродиты: Книтская и Мидицейская. – И разве не в наших глазах сияет вдохновение?

– Угомонитесь! – Вмешалась Афина Паллада – Только я являюсь подобием олимпийской богини, воплощением мудрости и красоты. Живые боги Олимпа служили образцом для моего тела.

– Люди любят не тобой, а многочисленными складками твоей туники. И ты более напоминаешь ионическую колонну, чем женщину. – Не сдавалась

Венера. – Да и этот боевой шлем и копьё совершенно тебя не красят.

– Неужели вы думаете, что скульпторы, ваявшие вас, видели живых олимпийских богов – слышался бас Геракла. – Я ведь сын бога Зевса и царицы Алкмены, и только моё тело божественно.

– А разве не мы являемся воплощением красоты и изящества? – заявили полулежащие по краям фонтанов аллегорические женские фигуры, символизирующие плодородие земли.

– Постыдились бы такое говорить, – дружно захихикали кариатиды. – Вы же воплощение пошлости и похотливости. И похожи вы на простолудинока, а ваш скульптор ваял вас по образу простых крестьянок. Да на вас живого места нет. По вашим сытым телам ползают туристы. Вы хоть и отлиты из благородной бронзы с зеленоватой патиной, но ваши груди сверкают, отполированные до блеска руками любопытных людей.

– Да и ваши прекрасные торсы не оставили бы в покое, если бы смогли до вас дотянуться, – парировали аллегории.

– Я что, по-вашему, тоже воплощение похоти? – Возмутился вздыбленный конь, несущий на себе Петра Первого. Да, некоторые места на моём крупе действительно блестят, но вовсе по другой причине. Дотрагиваясь до них, приобретают мужскую силу.

– Да, что вы знаете о мужской силе? – снова вмешался в разговор Геракл, – я являюсь её воплощением. Моя родословная прослеживается на протяжении тысячелетий, и мои гены носил и Александр Македонский и Марк Люциний Красс. Быть похожими на меня стремятся многие мужчины. Они придумали новый вид спорта, хотя я учредил Олимпийские игры в Греции, девизом которых было: «Быстрее. Выше. Сильнее». Теперь их желание – быть красивей и только. Они называют себя культуристами и развивают мускулатуру, пытаясь быть похожими на богов. С кем они сравнивают свои тела? Ну, конечно же, со мной. Они соревнуются, демонстрируя мускулистые тела с неестественно узкой талией, тонкими запястьями и лодыжками. Но, смертным не дотянуться до великолепия богов.

И тут в спор вмешались Атланты, держащие своды портика Нового Эрмитажа.

– Мы установлены во весь рост, и наши туловища не прикрыты декоративными вензелями, как у других. Видели вы где-нибудь столь прекрасные мужские ноги, которыми обладаем мы? Здесь, под сводами портика, люди назначают деловые встречи и любовные свидания. И, что вы думаете, ожидающие смотрят на часы? Они любят наши стопы, подобных которым не встретите нигде.

– Чем я, по-вашему, не совершенен? – Произнёс Ахилл, опирающийся на длинное греческое копьё. Во мне ощущаются воинская доблесть, сила и красота.

– Тобой нельзя восхищаться, ибо ты любишь сам собой, – заявили Сатиры и Вакхи. – Ты самый настоящий поэт. Даже там, где ты изображаешь взмах копьем, в твоих глазах нет решительности и ненависти к врагу.

– Это выражено в моём взгляде, – произнёс мраморный Давид с площади Флоренции. – Сколько ненависти и гнева я вложил в камень, выпущенный из пращи, чтобы поразить этого безбожника Голиафа, носящего бранью воинов моего народа.

– Ты – мальчишка, простой пастух, и пропорции твоего тела щенячьи, – не унимался Ахилл. – Подумаешь, велик подвиг – один раз угодить в лоб своему врагу, если твой Бог направил камень по нужной траектории. Копья, пущенные мной, без промаха косили ряды неприятеля, а мои меч и щит приводили в замешательство защитников Трои.

– А разве ты, великий Ахилл, служил людям? Вся твоя жизнь была направлена на то, чтобы оставить легенды после себя. Ты самовлюблённый, как Нарцисс, – заявил Парис.

– Оставьте меня в покое, – услышали голос Нарцисса. – Мне совершенно нет никакого дела до людей, проходящих мимо. Я люблюсь своим отражением в воде и знаю, краше меня нет никого в мире. И разве не страдают нарциссизмом многие политики, любясь на телеэкранах своими пафосными выступлениями в парламентах?

– А я, хоть изображаю спящего, – раздался девичий голосок Гермафродита, – но чувствую своей мраморной кожей, как все восхищаются пластикой моего тела. Обойдя меня, все с изумлением замечают, что я двуполой, и стыдливо отворачиваются. Но вы не заметили, что за последние пятьдесят лет количество двуполой стало неуклонно расти. Разве это не влияние моей харизмы?

– Скульптор, ваявший мою статую, – раздался громогласный голос кондотьера Гаттамелаты из Падуи – слишком увлёкся конём подо мной, и из-за его огромного крупа многие не замечают, как властно и горделиво я сижу в седле. А мою голову рисуют в Академиях.

От такого дерзкого заявления зароптали все конные статуи. Больше всех это возмутило Марка Аврелия из Рима.

– Как смеет этот наёмник, сын пекаря, рассказывать, что он умело держится в седле? В наше время мы ещё не пользовались седлом, но как гарцевал я по улицам Рима и заворожённые граждане бросали лепестки роз под ноги моему коню.

– Я провёл в походах многие годы и разве не моя статуя изумляет всех? – Вступил в спор Фридрих Великий, король Пруссии.

– Да, мы слышаны о твоих ратных подвигах, – ответил Марк Аврелий. – Конь под тобой хорош, и поза патетическая, но назвать тебя красавцем в этой странной треугольной шляпе можно с большой натяжкой. На твоём

постаменте такое количество всякой челяди, что люди едва могут перевести взгляд на тебя.

Тем временем, Парис долго пререкался с Аполлоном Бельведерским:

– Я нахожу твоё тело слишком женоподобным, и что за причёску соорудили на твоей голове. Мы с трудом отличаем тебя от женщины.

– Мою фигуру считают богосотворённой. Я – велик, как Гелиос, излучающий свет. Слышал ли кто когда-нибудь мою игру на лире?

– Камень безмолвен и не передаёт звуки музыки, – отвечал Парис. – Но звон моего меча слышат многие, видя мою скульптуру, сжимающую его в руке.

– Ты, безусловно, хорош, изображая воина, но зачем ваятель вложил в твою левую руку отрубленную голову Горгоны Медузы, которая даже мёртвая наводит ужас на всех?

Вдруг заговорила голова римского императора Каракаллы:

– А вы знаете, уважаемые коллеги, что только на моём лбу обнаружен мускул, который назвали: «Мускулом гордецов»? И сколько лет мою прекрасную курчавую голову рисуют в Академиях художеств, пытаюсь выразить волю и мужество моего лица?

– Великий Геракл, – заметил Давид – ты, конечно, очень эффектно порвал пасть Немейскому льву, но, признайся, ты совершал подвиги не по своей воле? Ты служил царям и был лишь марионеткой в руках богов.

Забрезжил рассвет, и изваяния умолкли, приступив к своим ежедневным обязанностям.

И лишь одна статуя не принимала участия в ночной дискуссии. Она была высечена из розового мрамора и изображала девушку с кувшином в руках. Неизвестный скульптор, ваявший её, не имел понятия, как выглядят олимпийские боги. Он был страстно влюблён в хрупкую девушку, часами позирующую ему. И она отвечала ему взаимностью. Прошло две тысячи лет. Время пощадило эту статую. Она слышала топот римских когорт, крики варваров, пулемётные очереди и разрывы снарядов. Эта скульптура и сейчас стоит в одном из старых парков. Она хороша в любое время года, особенно, весной, когда большой куст ракиты покрывается белыми мотыльками цветов, и блики журчащего ручейка скользят по её лицу. Она не ждёт любви, а сама источает её в смущённой улыбке на устах, которые и произносят это слово.

СЫНОЧЕК МИЛЯ

Из цикла «Ароматы местечка»

«Ну, куда он мог подеваться? Уже четыре часа. Ушёл утром прогуляться к вокзалу. Что ему там делать? Зимой рано темнеет, да и лампочек мало на улицах. Ещё ударится головой о столб и разобьёт очки, а без них он плохо видит, – думала мать, взволнованно шагая по кухне. Она пыталась отогнать от себя дурные мысли, назойливо заползающие в голову, как муравьи на повидло. – Да ничего не должно случиться. Не в первый раз такое происходит с ним. – Фейга начала вырезать стаканом кружочки из раскатанного теста. На слабом огне керогаза попыхивало жаркое. – Ну вот, порадуется мой Миля. Он так любит мои коржики. Что он там, в общегитии, ест? Как можно прокормиться в Одессе на стипендию, хоть и повышенную. Мой Миля – круглый отличник. Был им в школе и сейчас заканчивает с отличием университет. Скоро получит диплом физика. Когда я встречала директора школы, он всегда хвалил моего сына».

«Как учится, спрашиваете, мадам Сипитинер? – опираясь на палку, отвечал ей директор. – Тянет на медаль, но на золотую надеяться нечего. Сами знаете, как жалуют вашего брата в области. Способный он у вас. Ох, и нелегко мне с ними. Шалят, мерзавцы. Гоняю их по двору со своей деревянной ногой. Отнимаю папиросы, велю состригать патлы. А ваш Миля головастый. Хватает всё на лету. Да вот, странный он какой-то. Задумывается часто. Рассеянный». «Странный немножко, но не сумасшедший, слава Богу, – думала Фейга. – Странности есть у кого перенять. Это же вылитый отец. Тот тоже впадал в задумчивость и забывал, что у него есть я и сын. А как над Милей издевались в школе. Он же – безобидный, зла никому не причинял. А одноклассники прибывали его галоши к полу и бросали гусениц за шиворот. Иван Данилович, директор, очень приличный человек, дай Бог ему здоровья, устраивал танцы в школе для старшеклассников. Так этот жлоб богопольский, сын пьяницы, до чего додумался? Когда мой Миля пригласил девушку на вальс, тот оттянул резинку лыжных штанов моего сына и влил в них кружку воды. Между ног образовалось мокрое пятно, как будто он уписался. Какой стыд... А он на них даже не обиделся. Летом Миля любил прогуливаться в парке вокруг танцплощадки. Так его дружки подводили к нему девушку и знакомили с ним. Он подавал девушке руку, представлялся, щурясь разглядывая её. Через час они подходили к нему с той же самой девушкой и мой Миля снова знакомился с ней, думая, что это – другая. Ну, разве так можно? – Фейга стала нарезать домашнюю лапшу. – Вот вчера он ушёл к директору книготорга играть в шахматы. Хорошая компания. И я ведь знала, где его искать. Женить бы его. И девушку я присмотрела. Дочь бухгалтера пивоваренного завода. Вполне интеллигентная семья. Так он носом воротит.

Не нравятся ему наши еврейки. Ему подавай только русскую или украинку. Ну, вылитый отец».

Фейга взглянула на часы. Уже шестой час. Она не на шутку заволновалась. Отдёрнула оконную занавеску. На улице сгустились сумерки. Качался фонарь на столбе, бросая прозрачные тени на снег. Во дворах лаяли собаки.

«Может быть, его переехала подвода? Ведь носятся эти биндюжники, как угорелые, не глядя по сторонам. Может, он случайно упал с моста? Нет, этого не может быть. Он прыгал в воду с любой высоты».

Миля мог целый час лежать на воде, читая книгу. «Почему у него не тонут ноги?» – задавались вопросом многие, завистливо глядя на это. «Да потому, что у него центр тяжести расположен выше пупка, – разъяснял им тренер по плаванию. – Я готов сделать из него отличного пловца. Он же врождённый брассист. Посмотрите, какой у него наплыв от движения ног».

И Миля за короткое время освоил брасс на груди, выполнив норму первого спортивного разряда. Но, достигнув таких результатов, вдруг забросил плавание и занялся Йогой. Однажды Фейга застала дома сына, стоящего на голове. Ноги его были сплетены вместе.

– Что ты делаешь? – с испугом уставилась на него мать.

– Не отвлекай, – сказал он, не открывая глаз. – Я медитирую в позе ширшасаны и сидхасаны и концентрирую внимание на третьем глазе.

Да, нелегко одной воспитывать сына в провинции. Фейга продолжала работать в артели по пошиву ватных одеял. Цех располагался у реки рядом с лодочной переправой. Выглядывая в окно, она видела, как Миля быстро нёсся по воде новым стилем баттерфляй, выпрыгивая из воды, как дельфин. Как она гордилась им.

Когда стрелки на «ходиках» показали восемь часов, Фейга обомлела. Сердце предчувствовало беду. «Его избili бандиты, – представилось ей. – Сначала ударили по голове чем-то тяжелым и добивают ногами. – Она увидела сына с окровавленным лицом. На снегу валялись разбитые очки. – Он ещё жив, мой сыночек». Фейга выскочила на улицу, набросив платок и застёгивая пальто. Она бежала по тёмной аллее парка, ведущей к реке. Интуиция подсказывала ей: он – там.

– Миля, Милечка, сынок! – звала она на бегу.

– Ма-а-а... Мама!

Она увидела Милю. Он бежал к ней, размахивая руками.

– Мама! – кричал он, – убили!

– Ну, слава Всевышнему! Ты жив остался. Кого убили?

– Лумумбу.

– Какого Лумумбу?

– Героя демократической республики Конго.

Фейга остановилась перед сыном, переведя дыхание. Град проклятий вырвался из её уст:

– Малохольный, идиот! Холера на твою и на голову твоего папаша. Чтоб вас обоих кондрашка хватила. Это же надо, так мать напугать?! Твой отец тоже любил гулять один до поздней ночи, пока не встретил эту шлюху, с которой укатил в Одессу. О, горе мне!

Дома, наконец успокоившись, Фейга присела у остывающей печи и принялась штопать сыну носки. «Он такой неряшливый. Привозит маме кучу грязной одежды, да ещё забывает стричь ногти на ногах, пока они, отрастая, не начинают сгибаться, как когти на птичьих лапах. Ну, что с него возьмёшь? Он же будущий ученый?»

– Перестань шуршать газетами и иди ужинать, пока всё не остыло.

– Я нашёл его. – Он протянул ей газету с портретом молодого африканца. Солидные очки, аккуратный пробор на курчавой голове. Ухоженное лицо.

– Он хотел построить социализм, а его посадили в тюрьму и там убили. Все подозревают диктатора Чомбе.

«Какое ей дело до этого Патриса Лумумбы и, заодно, до красавца Фиделя Кастро. Тот у себя на Кубе тоже строит социализм».

В доме наступила тишина. Негромко стучали «ходики» на стене. Мурлыкала кошка у тёплой духовки. «Хоть бы отдохнул хорошо за неделю. Не спит ещё, включил радио».

Из динамика гремели слова:

– Позор американской марионетке Моизу Чомбе!

КАРЕЛЬСКИЕ СТРАДАНИЯ

Илья, по профессии, – книжный иллюстратор. Он – художник домашний, любитель уюта, тепла и комфорта, с упоением отдавался своему ремеслу. Обхватив ногами ножку стула, низко склонившись над небольшим листочком бумаги и пожёвывая кончик кисти, он сочинял композиции иллюстраций, которые писал акварелью, тушью, оживляя никогда не виданные им персонажи, жившие в прошлом столетии. Тщательно, с любовью прописывал старинные одежды, экипажи, убранство дворцов и архитектуру ушедших времён. Одеваться любил стильно и даже с некоторым пижонством. Носил длинные волосы. Был очень неравнодушен к представительницам прекрасной половины человечества. Они охотно позировали ему для героинь его иллюстраций, на которых превращались то в знатных графинь, то в простых крестьянок из иллюстрируемых им повестей и романов.

Его давнишний приятель Роман был полным антиподом. Высокий сухощавый блондин с фигурой американского ковбоя, был совсем не похож на художников, традиционно бородатых любителей обращаться к зелёному змию за вдохновением. Не курил и не выпивал. Любил путешествовать и рыбачить.

Объездив все города «Золотого кольца» России, ночевал в палатках и под открытым небом. Мог жить в спартанских условиях, проводя недели в тайге. С рюкзаком за спиной он отправился на Волгу. Плыл пароходами и, пройдя почти весь путь художника Исаака Левитана, много писал акварелью. Листы получались броскими и текучими. Роман владел техникой писать по сырой бумаге. Это требовало большого навыка и напряжения. На смоченном листе размыто проступали очертания горизонта, небо и облака. И энергичными мазками сухой кисти он оживлял деревья, дома, чаек, оставляя солнечные блики на воде и в сверкании куполов церквей. Этому искусству завидовали многие и Илья в том числе. Очень ему хотелось попробовать бродячей жизни, но никак не мог решиться на это.

– Опять высасываешь из пальца свои картинки? – изрёк Роман, возникший в дверном проёме мастерской Ильи.

– Следует отметить, коллега, – ответил Илья, – что мои картинки образуют книжечку, которую издадут тиражом в сотни тысяч экземпляров. Теперь представь себе, сколько читателей, листая её, становятся моими зрителями. А сколько людей посещают выставки, где висят твои пейзажи? Ну, максимум сто человек.

– А пейзажи для твоих иллюстраций, никак, срисовываешь с фотографий? – парировал Роман.

– Рисую с фотографий, но не с чужих, а снятых моим фотоаппаратом, – огрызнулся Илья. – Ты же знаешь, я стесняюсь писать на пленере. Эти зеваки, сопящие за спиной и дающие советы, лишают меня вдохновения.

– Я повезу тебя в такие места, где даже собаки – большая редкость, и на тебя будут посматривать только безобидные овечки. Живая природа. Синие озёра. Чистое небо. Ты его видел когда-нибудь из окна своей душевной мастерской?

На небо Илья поглядывал редко. Индустриальный город коптил его и делал бледно-розовым даже в летние дни. Заводские трубы регулярно выбрасывали какие-то серные соединения, несущие запах прокисших щей.

– Так ты говоришь, Карелия? Слышал о ней. Ладно, уговорил. Едем!

Синяя куртка, пуловер в тон и брюки, заправленные в красные ботинки с высокой шнуровкой. «Нужно выглядеть прилично даже в среде водоплавающих уток», – решил Илья, разглядывая себя в зеркале. Две папки с нежной бумагой «торшон», новые колонковые кисти, две коробки акварельных красок и выходной костюм с туфлями нашли место в его чемодане.

Когда наши герои высадились на вокзале «Медвежьегорска», Илья, подогретый вином, принятым в поезде, радостно носился по перрону с возгласом:

– Вперёд на свободу, на озёра, в тайгу, в пампасы, к чёрту на рога! Над ним синим куполом сияло небо с кучевыми облаками, а вдали маячила деревня Паданы и большое озеро, к которому их должен домчать местный

автобус. Энтузиазм Ильи стал заметно улетучиваться, когда они добрались до деревни. На пригорке – старый бревенчатый дом с разбитыми окнами улыбался щербатыми зубами. Из мебели в нём оставались деревянная кушетка, пара стульев и старая кровать с металлической сеткой. Деревня была вымершей. Все обитатели давно переместились на другую сторону большого озера в новые многоквартирные дома. Правда, один из домов неподалёку был обитаем. В нём проводила отпуск волоокая блондинка из Ленинграда. Дом был ухожен, занавески на окнах говорили о домашнем тепле и уюте.

Роман спозаранку отправлялся в лодке на рыбалку, а Илья, восхищённый окружающей красотой живой природы принялся с вдохновением её запечатлевать. Стоило ему начать наносить первые мазки, как внезапно срывался дождь и смывал всё изображённое на листе, зонт на штативе уносило ветром, а мокрую бумагу атаковали полчища мошек. Он пробовал писать с лодки, качающейся на воде, прекрасный вид с озера на заброшенную деревянную церквушку, но нагрывший ветер вырывал папку из рук и переворачивал коробку с красками и палитру. Природа решила поиздеваться над городским пижоном, желая его проучить. Целую неделю он пытался ей противостоять, но терпел поражение. С остервенением рвал он на куски листы акварельной бумаги. Весь берег озера был покрыт обрывками его творчества.

«Зачем я здесь, что потерял в этой глуши?», – задавался он вопросом, глядя на соседний двор. Там, на веранде, у самовара, расписанного хохломой, сидела белокурая женщина с заплетённой косой цвета пчелиного воска. Она была в красном ситцевом сарафане. В тарелке лежали пышные, румянобокие оладьи, а в вазочке – варенье из собранной земляники. «Ей ещё бы кокошник на голову, – думал Илья. – Ни дать, ни взять: былинная красавица». Ему казалось, что она подмигивает ему, и влечёт в опасное любовное приключение. Он уже направился к калитке дома, чтобы представиться и предложить нарисовать её портрет. Это у Ильи получалось лучше, чем пейзажи. Возможно, он сможет понравиться носителнице такой естественной красоты. Взглянув мельком на свое отражение в оконном стекле, Илья отшатнулся. На него глядела отталкивающая физиономия со спутанными волосами и небритыми запавшими щеками. «Нет, как-нибудь в другой раз», – решил Илья, и понуро поплёлся в свой заброшенный дом.

Погода благоволила только Роману. Он забрасывал с лодки спиннинг, и ему удавалось перехитрить избалованных щук в камышовых заводях, весьма неохотно глотавших блестящую металлическую рыбёшку с крючком на конце. Писал он, походя, продолжая рыбачить. Брызги дождя он превращал в фактуру скал, а под удалённой мошкаррой на листе проступали блики на ряби озера.

На десятый день Илья скис основательно. Два дня, не прекращаясь, лил холодный дождь. Сегодня его очередь идти в сельский магазин, рас-

положенный в пяти километрах от дома. Там, кроме хлеба, был очень скупой выбор товаров: мыло, спички, макароны и слипшиеся от вытекшего повидла конфеты «подушечки». Илья поддерживал огонь в печи, откуда доносился аромат варящейся в казанке пшённой каши, необходимой для подкормки лещей. Роман смешивал её с постным маслом, скатывал из неё шарики и бросал в воду. Зачем такое богатство выбрасывать, пробуя кашу, думал Илья. Он подъедал её с краёв казанка и незаметно съел половину содержимого: «Да тут её много, Роман недостачи не заметит». Пришедший с пойманной щучкой Роман, заглянув в горшок, сразу всё понял.

– Всё, мое терпение лопнуло. Я оставляю удочки дома, и завтра мы едем в приграничную деревеньку. Там будет настоящая работа. Ты у меня перестанешь хныкать. Там такая красота, будешь работать, как одержимый. Всего двадцать километров автобусом.

На следующий день у Ильи произошёл настоящий прорыв. Он перестал бояться испортить бумагу. Зрителями стали окружившие его овечки на тонких, как соломинки, ножках. Развесив в стороны уши, они направляли на него тёмные мордочки с глуповатыми глазками. На листе оживали бревенчатые избы, ярко-зелёная трава, густые ели и пасущиеся овцы. И главное, рядом было озеро, по противоположным берегам которого сгрудились покосившиеся избёнки с мокрыми крышами и лодки, качающиеся на воде у камышовых стеблей. Над ними проплывали грозовые облака. Работал Илья с упоением. Его больше не смущали дождевые струи, комары и пот, капающий на поверхность листа.

– Молодец Илья, лови состояние. Мелочи прорисуешь потом, – похваливал его Роман, расположившийся рядом.

За весь день Илья написал десяток вполне приличных акварелей. Ноги еле несли его до остановки автобуса. Приятели сели на груды брёвен, мечтая побыстрее добраться до своего дома и лечь спать под звуки потрескивающих в печи березовых поленьев. Внезапно их внимание привлёк остановившийся неподалёку армейский УАЗ. Из него вышли двое военных с автоматами в руках.

– А что здесь делают эти автоматчики? – удивился Илья.

– Здесь неподалёку колония строгого режима. Вот и ринулись какие-то недоумки в побег и направляются в сторону финской границы, – со знанием дела ответил Роман. – Ну, здесь их быстро накроют.

– Да, не повезло беглецам, – сказал Илья – Граница у нас на замке.

Пограничники и не думали углубляться в лес на поиск беглецов, а направились к ним.

– Кто такие, что делаете в зоне строгого режима? – задал вопрос офицер.

– Да мы художники, рисуем пейзажи, – ответил Илья, с гордостью показывая свои работы.

– Предъявите документы!

Художники с недоумением переглянулись.

– Мы оставили их дома. Забыли взять.

– Ну, вот и доставим вас по месту жительства.

В машине было тепло и уютно, Сзади в затылок дышала овчарка в наморднике. «Какие у нас внимательные пограничники, – думал Илья, засыпая. – Любезно предоставляют свой транспорт».

– Задержанные выдают себя за художников, – докладывал по рации офицер. – Приметы совпадают. Один – высокий блондин, другой – лохматый, среднего роста. Во рту золотой зуб. Доставляем по месту проживания для установления личностей...

ВСПОМИНАЯ ТУ ОСЕНЬ

Мы встретились с ним в далёком Сыктывкаре, название которого многие с трудом выговаривали. «Пути Господни неисповедимы» – это библейское выражение ещё раз доказывало, что предугадать судьбу невозможно, хоть нам и дана свобода воли.

Узнали друг друга сразу, хотя прошло более двух десятков лет со времени нашей студенческой юности. Передо мной был Кирилл, мой давнишний приятель. Слегка располневший, он сохранил былую осанку и привлекательность. Крепкое телосложение выдавало в нём бывшего спортсмена. Высокий лоб с густыми бровями, глубоко посаженные серые глаза, волевой подбородок говорили о человеке сильной воли и уверенности в себе. На нём была добротная дублёнка и шапка из меха норки. Так выглядели вполне успешные люди.

В конце 50-х годов мы посещали в Одессе спортивный зал, оба были родом из провинциальных городов и подавали большие надежды в гимнастике, – это нас объединяло. В основном, поддерживали спортивную форму, и своё будущее не связывали с этим видом спорта. Кирилл был студентом экономического факультета, эрудированным и остроумным. Он выгодно отличался от нашей спортивной братии, опровергая устоявшееся мнение о спортсменах, как о недоумках. Телосложением походил на статую копьеносца Дорифора античного скульптора Поликлета. Ему легко давались силовые комбинации на кольцах и махи на коне.

Мы зашли с ним в недавно открытое уютное кафе. За окнами валил мягкий снег, начало смеркаться, и мигающие вспышки газосветных вывесок устраивали пляску на тротуаре.

– Ты помнишь, как возвращались мы гурьбой поздними вечерами с тренировки, и встречные девушки пялили глаза на тебя? – сказал я ему. – Да,

в тебя влюблялись многие, и все мы тайно завидовали тебе.

– Я как-то рассказывал тебе о моей первой влюблённости ещё в школе, – ответил задумчиво Кирилл, смахивая прядь волос со лба. – До сих пор не могу вычеркнуть её из памяти. Вот я добился всего, о чём могут мечтать многие. Удачное продвижение по службе. Прилично зарабатываю. Жена родила мне двух дочурок. Очень забавные растут. Сейчас – командирован проверить финансовые дела одного здешнего треста. Я тогда заканчивал школу. Это был один из вечеров, когда больше нравится сидеть дома. На улице разгуливал осенний ветер и моросил дождь. Внезапно появилась на пороге моя одноклассница Люся.

– Выручай Кирилл. Ты же давно мечтаешь разучить вальс бостон. Так вот, сейчас в Доме культуры набрали танцевальную группу. Отличный педагог, в прошлом – балерина. Не хватает парня для пары. Я сразу подумала о тебе. Ну, ты же чувствуешь ритм, мелодию. Есть координация.

– Да где мне найти время на ваш танцевальный кружок, – отмахивался я, – мне бы с гимнастикой разобраться. Скоро в область ехать на первенство.

– Только один раз в неделю. Пару часов, выкроишь как-нибудь, – настаивала она. – Пойдём, это недалеко, нас ждут.

«А почему бы не пойти, – подумал я. – Ведь мы же вольные упражнения разучиваем тоже под музыку. Ладно, не помешает».

– Мы будем с вами в паре, – ко мне подошла девушка лет шестнадцати. На ней была повседневная школьная форма – коричневое платье и чёрный передник. – Меня зовут Ванда. – Она говорила с лёгким украинским акцентом. – Вы когда-нибудь, танцевали?

– Да так, немного, но не профессионально, – ответил я.

Нам показали несколько начальных движений.

– Возьмите меня за талию.

Я ощутил на себе дерзкий взгляд тёмных бархатных глаз. Густые светлые волосы окаймляли широкоскулое с румянцем лицо, переходящее в узкий подбородок, акцентированный пухлой нижней губой. Голос тихий. грудной.

– Ну, что тебе сказать? Я стал посещать эту студию с завидной регулярностью. Ванда была из другой школы. Мы возвращались со студии вместе, и я даже вызвался однажды проводить её до дому. Жила она далеко, за железнодорожной насыпью. Люся уцепилась за локоть.

– Ты знаешь, чья она подруга? Будь осторожен. За ней ухаживает Мирон.

Это имя было известно многим. Непререкаемый авторитет. Но меня нельзя уже было остановить. Вот так и свела меня судьба с ним.

Он был в те времена авторитетом городской шпаны, значительно старше своих поделльников. Больше известен по кличке «Косой». Высокий, худощавый, с длинными светлыми волосами, он обладал аристократической внешностью. Мирон наводил страх на многих и мог расправиться с кем угодно.

В драке был изворотлив, как ягуар, мог нанести удар кастетом и привести соперника к увечью. Встреча с ним не сулила ничего хорошего и многие обходили его стороной, пытаясь не злить. Как хищный зверь, почуяв трусость, измывался над своей жертвой, вымогая деньги на выпивку. Как только жертва сдавалась и начинала платить ему «дань», шантаж становился бесконечным. Пьяным его не видели, хотя постоянно был навеселе. Мирон чувствовал свою безнаказанность. Измываться над слабым – вот что приносило ему особое удовлетворение, как капитану Ларсену из повести Джека Лондона «Морской волк».

Когда-то Мирон был отличным гимнастом, гибкость и выносливость помогали ему исполнять упражнения на перекладине с особым изяществом. Видимо «звёздная болезнь» не обошла его стороной, Мирон стал выпивать, забросил спорт, и уже не мог обойтись без нескольких стаканов вина в день. Не прибегая к хитрости, он просто вымогал деньги у всех знакомых. И многие давали, откупаясь от приставаний.

Он остановил меня на улице.

– Ну, я знаю, что ты тащишься за моей Вандой. Так я тебе скажу, как спортивному корешу – она мне уже порядком надоела. Я предлагаю тебе «отступные». Ты даёшь мне на бутылку водки, и я сваливаю.

– Ты что, продаёшь её? – недоумевал я.

– Не буду тебе мешать, – пробурчал Мирон. Он был уже навеселе и ему требовался допинг.

Я брезгливо сунул ему в руку деньги, чтобы отвязаться. И попался на крючок. Он уже не оставлял меня в покое. Мирон находил меня везде – в спортзале, наведывался в школу, ожидал с друзьями возле Дома культуры. И я, признаюсь, откупался от него. Меня парализовал липкий страх, делая меня безвольным и податливым. Я сам превратился в вымогателя денег у своих родителей. И вот, однажды он вызвал меня во двор студии за очередной «данью». Дружки окружили меня полукольцом. Я прижался спиной к стене. И вдруг, возникшая во мне волна ярости, переборола страх. Драться я не умел, хотя слабаком себя не считал. И нанёс Мирону внезапный удар в лицо. Очевидно, он получился сильным. Мирон резко откинулся назад и рухнул на землю. Я приготовился к самому худшему. Решил держаться до конца. Мирон приподнялся на корточки, обхватив голову руками. От боли на его лице появился неприятный оскал, как у гиены, которую отогнал от добычи более сильный хищник. Дружки ринулись на меня.

– Назад! – прохрипел Мирон.

– И ты знаешь, старик, – продолжал свой рассказ Кирилл – он больше не подходил ко мне, ни разу. Я не чувствовал себя победителем, хотя мог встречаться с Вандой беспрепятственно. Провожал домой и пару раз был с ней в кино. Я знал, что Мирон продолжал наведываться к Ванде домой под

хмельком, измываясь над ней. И она не прогоняла его, терпела. Я не выдержал и сказал ей:

– Ну зачем тебе этот подонок? Почему ты не можешь его отшить? Он же не достоин тебя.

– Да что вам всем от меня нужно? – выпалила Ванда, смерив меня холодным взглядом. Лицо её стало пунцовым. Из бархатных глаз выкатывались слёзы.

– Вы все такие, правильные, исключительные. Я большего, чем Мирон, не стою. Отстань от меня, чем ты, в конце концов, лучше него? Убирайся!

Наступила весна. Танцевальную группу я забросил, потеряв к ней всякий интерес. Заканчивал школу и готовился к поступлению в институт. Мирон, говорили, спился окончательно и исчез из города. Ванду я не видел полгода. Став студентом, я приехал на осенние каникулы домой, и решил навестить её. От знакомых я узнал, что она пыталась поступить в институт, но не прошла по конкурсу и устроилась продавщицей в магазин железоскобяных изделий.

Ванда не ожидала увидеть меня. Она чувствовала себя смущённой, но с нескрываемой радостью обняла и расцеловала меня.

– Подожди, у меня заканчивается рабочий день. Проводишь меня.

Она сбросила серый халат. На ней было тёмно-бутылочного цвета платье, гармонирующее с её румянцем на щеках. Она повзрослела и стала заметно женственней. Мы провели вместе оставшиеся дни. Это были самые счастливые дни в моей жизни.

Простились мы с ней на вокзале. Ванда выглядела грустной и немного растерянной. И ты знаешь, старик, она предчувствовала, что мы расстанемся с ней.

Я писал ей письма полные признаний, и она отвечала мне. Это была тоска по ушедшим дням нашей юности и надежда на скорую встречу. И тут, чёрт меня дёрнул блеснуть остроумием. В письме я назвал её торгующей примусными иголками Золушкой, по которой я сильно соскучился. Отправил письмо и опомнился. Ванда ведь тогда сильно переживала, что все её подруги разъехались, и она осталась одна из школьного выпуска. В ответ я получил гневное письмо, где она напомнила, что не достойна таких умников, как я, что между нами всё кончено. Как я ни пытался ей объяснить, что не хотел обидеть, неудачно пошутив, Ванда оставалась непреклонной, и мы расстались навсегда.

Прошло двадцать лет. Она давно уехала из города нашей юности. Я всё же решил её разыскать. И лишь недавно одна из её подруг сказала, что Ванда вышла замуж и уехала в Днепропетровск. Там я её разыскал – она осталась на девичьей фамилии. Мне очень хотелось покаяться за ту нелепую шутку.

Дверь открыла женщина средних лет, слегка располневшая, с лёгкой сединой в волосах. Только бархатистые глаза и дерзкий взгляд в ней остались неизменными. Она приняла меня без особых эмоций. На стене я увидел

большую фотографию Мирона.

– Я вышла за него замуж. Он появился в нашем городе снова, отсидев пять лет за ограбление магазина. Мы прожили вместе 15 лет. Он выпивал, но редко и был хорошим мужем. Мирон поступил на завод электриком. Он хорошо относился ко мне и детям, хотя все эти годы был каким-то подавленным. Два года назад он погиб при довольно странных обстоятельствах. Полез в высоковольтный распределитель, не отключив рубильник напряжения. Он ведь не был пьяным. Как будто искал своей смерти. Я была счастлива с ним все эти годы. У меня осталось двое сыновей. Старший сейчас в школе, а младший – у бабушки.

Ванда поставила на проигрыватель грампластинку.

– Помнишь, мы любили напевать эту песню: «Тот, кто рождён был у моря...» Это же из нашей юности, – тихо сказала она.

Я заторопился уходить, забыв о цели своего визита. За окном свирепый ветер гонял по улице осенние листья, сбивавшиеся на обочинах в мокрые кучи... Я вспомнил ту осень, когда мы встретились.

– Вот и осталась только песня, – закончил свой рассказ Кирилл...

Мы вышли на улицу и, постояв немного, распрощались. Улицы изрядно замело снегом. Начиналась долгая северная зима. Я думал, что у каждого из нас случалась такая же осень, вызывая болезненные воспоминания о чём-то потерянном навсегда. Рассказ Кирилла напоминал, возможно, судьбы многих, кто считает, что добиться взаимной любви можно своим положением, талантом, красотой или большими деньгами. Любят же не за достоинства, а просто – сердцем.

АНЖЕЛЛА ПОДОЛЬСКАЯ

ТУРБУЛЕНТНОСТЬ

Самолёт, нырнув в облака, оказался в зоне грозового фронта и сильной турбулентности. Стихия швыряла его в разные стороны, теряя высоту, он начал падать. У сидевшего у окна человека промелькнула отчаянная мысль: «Неужели возмездие?» Мозг парализовало от страха перед неизбежным. Мельком глянул на своего секретаря, и тот, чуть ли не ползком, бросился к кабине пилотов. Человек у окна остался неподвижен, лишь на руках вздулись вены – с такой силой он вцепился в подлокотники кресла. Взглянув в иллюминатор, он отшатнулся, но увиденное за окном вновь приковало его взгляд. Сквозь проливной дождь, в некоем ореоле, он увидел Женщину в Белых Одеждах, с сожалением смотревшую в его глаза. Она не стояла на месте, а как будто проплывала вдоль самолёта среди облаков – они двигались вслед за нею. Сверкавшая молния и ливень обходили её стороной.

Человек у окна прошептал: «Помоги». В его голове отчётливо прозвучало: «Молись». Не зная ни одной молитвы, вероятно, он нашёл нужные слова. Женщина приподняла полу своей накидки и накрыла ею самолёт. В ту же секунду, осознав, что всё закончится хорошо, он впал в протрацию.

Тем временем, миновав опасную зону грозового фронта, самолёт набрал нужную высоту и продолжил полёт.

Очнувшись, мужчина увидел Женщину в Белой Накидке, на которой не было ни капли дождя. Словно бы сошедшая с полотна известного мастера средневековья, она сидела напротив, безмолвно глядя на него. Вместо младенца в её руках он заметил мобильный телефон. Задохнувшись от изумления, он прошептал:

– Пресвятая Дева! Вы спасли жизнь мне и экипажу! Сохранили мой самолёт.

Его лихорадило, он не понимал, что происходит: «Сюрреализм?! Галлюцинация? Призрак или, действительно, Она? Происходящее – плод большого воображения? Он теряет рассудок? Тогда его место не во главе корпорации, а – в психушке». Он не мог смотреть ей в глаза, столь пронзителен был её взгляд – словно тысячи рентгеновских лучей просвечивали его. Но и отвести глаза тоже не мог – какая-то неизвестная сила парализовала волю. Перед её простой Белой Накидкой с капюшоном, в своём костюме и туфлях из крокодиловой кожи, стоивших несколько тысяч, он выглядел вызывающе. Его захлестнуло непреодолимое желание исчезнуть, стать незаметным, превратиться в маленькую, еле различимую, точку – он с силой вжался в спинку кресла, и снова услышал: «Не делай бесполезных телодвижений».

Украдкой взглянул на секретаря, сидевшего сбоку: «Тот видит Её?» Но секретарь выглядел абсолютно спокойным и расслабленным после недавно пережитых волнений.

Ощутив комок в горле, человек у окна попытался взять себя в руки и что-то сказать. Но голос остался беззвучен, хотя женщина услышала и улыбнулась.

Тут он заметил, что с этой улыбкой она поменяла обличье, а её губы скривились в усмешке: «Время к тебе милосердно – выглядишь на сорок, хотя, на самом деле, тебе – почти семьдесят. Очевидно, ты – новый „Дориан Грей“, продавшийся дьяволу? Только тот не убивал. Скольких друзей и врагов ты сбросил в бездну? Скольких женщин, любивших и сходявших по тебе с ума? Даже меня, от которой сам когда-то терял рассудок, если, конечно, способен был из-за кого-либо его потерять... От тебя давно осталась лишь оболочка, внутри – пустота... Не осталось ни одного чувства, кроме желания приумножать, приумножать... Оставить накопленное некому? Я – права? Знай, тогда ты избавился не только от меня, но и от нашего, ещё не родившегося, ребёнка... Я не успела тебе рассказать... Ты давно нуждаешься в психоаналитике, но опоздал на целую жизнь».

Её сарказм – сокрушал. Монолог был безжалостным. Приговор – беспощадным... А голос... Голос звучал монотонно и отстранённо.

Сложно встретить в женщине друга, расставшись с ней врагами. Наступила пауза – они не отрывали глаз друг от друга. Ему хотелось возразить, что всё сказанное ею – «чепуха»... Что без друзей легче – никого не потеряешь. Без женщин, и того проще, – не предаст. Но, ребёнок?!

На несколько мгновений он почти потерял сознание, когда пришёл в себя, перед ним снова была Дева Мария. «Господи! Что же ты со мной делаешь? – взмолился он. – Если нужна моя жизнь – возьми её сейчас же!» Она не разжала губ, но он отчётливо услышал: «Не стоит торопиться – всему своё время. Тебе предстоит встреча с Моим Сыном – ведь твой самолёт направляется в Бразилию? Он и решит, что с тобой делать. Шанс небольшой, но попробуй им воспользоваться. У каждого – свой „крест“. Возможно, там – твоя „Голгофа“».

Его сердце колотилось так, как никогда в жизни. Потом замерло, он не чувствовал его ударов и подумал, что умер. В абсолютной тишине был слышен мягкий гул работавших двигателей, который усыплял. Во сне приснилось, что всё произошедшее ему привиделось. И Дева Мария, и та, которую когда-то любил... «Но, всё же... Что Она говорила о шансе? Что имела в виду»? Его мозг лихорадочно заработал, даже во сне испытывая какой-то психологический подъём. Кивком подозвав секретаря, потребовал у того компьютер: «Возможно, ближайшие несколько минут перечеркнут всю вторую половину его жизни. Надо изменить лишь некоторые атрибуты бытия...» Пальцы скользили по клавиатуре, он уверенно набирал номера

счетов во всех ведущих банках мира, освобождая их от бранных миллионных сумм в пользу благотворительных фондов, тех, которые вспоминал. Ещё несколько часов назад это казалось невероятным. Его действия сопровождал испуганный, изумлённый взгляд секретаря, пытавшегося предотвратить это безумие. Когда все манипуляции были позади, во взгляде секретаря читались жалость и презрение.

Очнувшись, человек у окна увидел, что кресло напротив – пусто. Но нервное возбуждение не оставляло его: «В чём момент истины? В этой встрече в небесах? Была ли она? Всё могло оказаться очередными происками конкурентов». Но, он устал думать. Усталость не была напускной – слишком много душевной энергии затрачено на противостояние силе, которая выше человеческой. Он расслабился и не заметил, как его самолёт совершил посадку.

Пройдя мимо стойки пограничного контроля, увидел среди встречавших несколько человек с табличками в руках с его именем. Увидел и прошёл мимо. Это был шанс... Шанс – обрести, наконец, свободу. Свободу – от всех.

Он совсем не помнил, что летел сюда для заключения очередной сделки. Как будто кто-то «обнулil» его память. Освободившись от отягчающих обстоятельств своей жизни, человек казался чем-то инородным среди улыбающихся людей в майках и шортах. Казался нелепым, роскошно одетым, телом, – на него никто не обращал внимания. Он шёл по набережной «Копакабана», раскинувшейся на несколько километров вдоль одной из красивейших в мире бухт – «Гуанабара».

Раннее утро, но на пляже уже многолюдно и шумно. Слышны крики и частые удары по мячам – группы молодых людей играют в волейбол или в футбол. По бухте скользят парусники.

Устав от ходьбы, он присел на ступеньки, спускавшиеся к пляжу. Снял свои начищенные до блеска туфли, снял носки, погрузив ступни в песок, – золотистый, песчинка к песчинке. Поднимавшееся по телу тепло ласкало, убаюкивало, примиряло его с жизнью. Надо всем этим праздничным многоголосьем вечно зелёного города на горе «Корковаду», нависшей над Рио-де-Жанейро, возвышался Спаситель. Огромная статуя Христа, казалось, «парила» в небе, откуда своим взором и распахнутыми руками Он обнимал весь мир.

РЫЖАЯ

Класс встретил её двадцатью парами глаз. Они были разного цвета, но объединяло их то, что все они не были дружелюбны, скорее – враждебны: «Чужая... Рыжая ворона».

Рыжие волосы всегда приносили огорчение: «Не такая, как другие». Чтобы как-то успокоить, мама говорила: «Ленин тоже был рыжим, просто он красился». Но чаще, она вздыхала, и из её уст вырывалось: «Какой гадкий утёнок». И хлопала дочь по спине, чтоб та не сутулилась.

Девочка, отвечая одноклассникам взаимностью, школу возненавидела. Чем ближе подходила к школе, тем неуверенней становились её шаги. Бесила необходимость, переступая через собственную гордость, каждый день входить в класс, как на эшафот, ощущая при этом лёгкую пульсацию крови и быстрые удары сердца. Она не могла понять, за что всё же её невзлюбили? Не за рыжие же волосы и веснушки во всё лицо, которые придавали ей особость и которую она ощущала кожей? Казалось, это должно было бы развить в ней комплекс неполноценности? Но, наоборот, эта особость вырабатывала в ней бойцовские качества.

Мама уговаривала: «Нужно обязательно с кем-нибудь сблизиться, заслужить доверие. Может быть, всё не так уж и плохо?» Это мамино всепрощение и теория «не замечать вокруг ничего плохого» – казались дочери малодушными и лживыми.

В первый же день, переступив порог класса и не успев раскрыть рта, Рыжая едва не была сбита с ног сильно толкнувшей её девчонкой, в издевательской улыбке которой проступило что-то неприятно-жабье.

– Отвали, жаба! – сказала Рыжая.

Весь класс прыснул от хохота, наверное, оттого, что она попала точно в цель. Но потом все они обступили новенькую, не давая ей прохода:

– Ты кто такая?

Круг сузился. Они думали, что она запросит пощады, а ей хотелось дать им всем в морду. Она подняла над головой портфель:

– Пошли вон! Убью, и меня оправдают.

После школы шла в обход, специально удлиняя путь к дому. Это немало приводило её душевное состояние в равновесие. Шла неторопливо, воспринимая этот отрезок времени, как островок свободы. Останавливаясь у витрин магазинов, оттягивала момент возвращения домой. Но, «сколько верёвочке ни виться...»

Войдя в дом, стягивала с себя, словно кожу, всю одежду вместе с нижним

бельём и зашвыривала её за кресло, чтобы ничего не напоминало о школе. Вечерами мама проводила очередную беседу, призывая её не ходить в «распущенном» виде:

– Не понимаю, как, закрывая за собою двери дома, человек превращается в неряшливое существо? Дома нужно блюсти себя даже больше, чем на людях. Потому что дом – главное, ради чего человек живёт. А как же иначе? Ну, что мне делать с тобой, такой неуправляемой? Если ты с чем-то не согласна, подумай, хотя бы, десять секунд. Может быть, через десять секунд всё приобретёт другое значение? Мой тебе совет: запиши все свои проблемы на листке бумаги. И попытайся с ними разобраться. С каждой из них.

Всякий раз дочь отвечала матери одной и той же фразой:

– Не волнуйся, мама. Утром всё пройдёт. Ты ведь так обычно говоришь?

У других мам, если что случается, виноваты чужие дети, у её мамы – всегда виновата дочь. Даже, когда во втором классе один мальчишка, то ли случайно, то ли нарочно, чуть не выбил дочери глаз, мама и не подумала его отругать или пожаловаться его родителям, а во всём обвинила Рыжую. Стала ругать за то, что дружит с таким драчуном. А Рыжая и не собиралась с ним дружить... И сейчас мама не понимала, как это дочь не может вписаться в новый школьный коллектив: «Просто, не хочешь. Не стараешься».

Одноклассников особенно раздражало то, что Рыжая, иначе её не называли, оказалась отличницей, и учителя постоянно приводили её в пример всему классу. Но в классе уже были свои «звёзды», и никто не собирался уступать новенькой место на «пьедестале».

Например, Эльвира. У неё были длинные ноги, вырастающие из-под коротенькой юбки, точёный носик и прозрачные глаза. Стоя у доски, она оглядывалась на класс в ожидании подсказки. Получив свою тройку и встряхнув белокурыми кудрями, победоносно и презрительно улыбалась: Эльвира терпеть не могла математику и математичку с её необъятной грудью: «Тройка? Какая разница, если в школе, она, Эльвира, – первая красавица. Самые красивые старшеклассники соревнуются, кому нести её портфель?», – в которм, обычно, ничего, кроме полного набора косметики, не было.

Две другие «звёздочки», Карина и Зоя, рангом чуть пониже. Хорошенькие, но куда им до Эльвиры? Впрочем, расставленные в классе приоритеты обеих устраивали. Они всегда ходили, обнявшись, интересовались лишь друг дружкой, даже одевались одинаково – джинсы, обтягивающие их округлые формы, были готовы вот-вот лопнуть. Когда они проходили по школьному коридору, мальчишки провожали их смешками и долгим свистом. В ответ подружки улыбались, и каждая демонстрировала свистунам средний палец.

Рыжая, как-то оказавшаяся свидетельницей такого эпизода, залилась краской стыда. «Матрёшки», – окрестила про себя подружек.

Девчонка, которая получила прозвище «жаба», несмотря на свою

явную непривлекательность, в классе играла также не последнюю роль. Её квадратное лицо и отсутствие шеи компенсировались весьма состоятельными родителями. Даже учителя заискивали перед нею и, обычно, вместо заслуженной тройки, ставили «четыре».

Почти у всех одноклассников – iPhone¹, в классе – конкуренция, у кого более поздняя и престижная модель... На уроках, не обращая никакого внимания на «что-то» там говорящего учителя, ученики обменивались SMS², выкладывая в Instagram³ свои селфи⁴.

Все эти персонажи кажутся Рыжей ненастоящими, какими-то «человечками на верёвочках», за которые кто-то невидимый дёргает, заставляя их кривляться: «Дебилы. Какие же они все дебилы», – вынесла она вердикт одноклассникам.

С какого-то момента дебилы перестали к ней цепляться, но и замечать перестали. То ли это был всеобщий бойкот, то ли она перестала их интересовать. Словно в хоре, все пели одним голосом, например – вторым, и только она одна – первым. Она не была внушаемой, не умела и не хотела приспособливаться, поэтому ей так и не удалось кого-то поближе узнать, с кем-то подружиться. И она также демонстрировала своё абсолютное безразличие к одноклассникам: к девчонкам, которые пахнут пудрой, к мальчишкам, от которых несёт столовскими котлетами. Каждый понедельник она с нетерпением ждала субботы, а ожидание каникул превратилось в мечту.

Когда матери удавалось хоть немного разговорить дочь, она ужасалась. Её, аж, передёргивало: «Это – кошмар. Настоящий кошмар. Я надеялась, что это временно, что ты всё же эти трудности преодолеешь. Но ты – верна себе...»

Рыжая, которую не поддерживала даже родная мать, оставалась в одиночестве. Как-то решила съездить во двор своего детства. Дом их снесли, на его месте построили многоэтажку из стекла и бетона. Оказавшись на родной улице, ничего вокруг не узнала, память не подсказала ни одной знакомой приметы... Разве что, сквер пока оставался незатронутым переменами.

Вопреки комплексу полноценности, иногда её одолевали тоска и ощущение некой ущербности. Своё настроение она доверяла только подушке, обнимая которую, иногда плакала. Чтобы меньше обращать внимание на разные неприятности, девочка «закаляла» свой характер. Могла долго-долго простоять под дождём, промокнув «до нитки», но выдерживая определённое время. Всё лишь для того, чтобы, оказавшись дома и закутавшись в плед, в полной мере ощутить призрачное тепло этого дома. Или, нарочно, по выходным, ставить будильник на «шесть» утра. Рано проснувшись – обрадоваться, что в школу идти не надо, и с облегчением снова заснуть.

Иногда ей снились сны. В самом чудесном из них, она была брюнеткой. Этот сон в течение целого дня доставил ей такую радость, что вбежав после школы в парадное, она от избытка чувств залилась идиотским смехом и, не

воспользовавшись грохочущим лифтом, который медленно пополз вверх, наперегонки с ним, взлетела на свой, седьмой этаж. В унисон лифту сердце её грохотало где-то между горлом и губами.

В начале следующей четверти фото Рыжей, среди других отличников, появилось на доске почёта рядом с учительской. Через несколько дней кто-то попытался испортить его, перекрасив в чёрный цвет волосы и дорисовав чёрные усы. Придя в школу, Рыжая обнаружила перед доской почёта хохочущую толпу. Нет, она не заплакала: «Не доставит этим „дебилам“ повода ещё больше радоваться». Сорвав с доски своё фото, пошла в медпункт. Не вызвав подозрений, легко получила освобождение от уроков на два дня.

Она не стала наворачивать, как обычно, круги, а помчалась домой. Мама – на работе, никто не помешает ей вдоволь насладиться своим горем. По мере изучения испорченной фотографии, слёзы Рыжей подсыхали. Рыжеволосая девочка, но не настолько несчастная, что не способна была рассуждать здраво – оставалось только отыскать мамины портняжные ножницы с маленькими зубчиками и отхватить эти противные, тоненькие рыжие косички почти у самых корней. Она провозилась долго, это было не так легко – ножницы затупились. Но минут через сорок из зеркала на неё смотрел подросток с художественным беспорядком на голове. То ли девочка, то ли мальчик? Чтобы подчеркнуть женский пол, она завязала на голове ярко-красную ленту, рыжие брови чуть-чуть подкрасила чёрным карандашом. Её зелёные, с рыжинкой, глаза – улыбнулись. Она уже не выглядела обречённой носить свою особенность.

Придя с работы, мама оценила перемены, произошедшие в дочери: «Кажется гадкий утёнок уже не такой гадкий». Но вслух не преминула высказать очередное нравоучение:

– Могла бы и с матерью посоветоваться. Давай, немного подровняю, сзади не совсем аккуратно.

– Не стоит, мама. И так, сойдёт. Если можешь, укороти моё платье.

Зеркало, которое раньше ненавидела, воспринимая его, как врага, в друга и товарища не превратилось. Но... Необходимый предмет, в который иногда нужно заглядывать. Конечно, до «прекрасного лебедя» было ещё далеко, а может быть, он, вообще недостижим, но девочка с красной лентой в волосах, Рыжую вполне удовлетворяла. Вечером, накануне школы, она вымыла голову заваливавшейся у матери хной.

Подойдя к школе, всмотрелась в своё отражение в окне: «Привет, девушка. А ты – ничего!». Вошла в класс, когда почти все уже были в сборе. Одноклассники, разинув рты, уставились на неё.

– Ну что, дебилы? И от вас иногда случается польза, – сказала Рыжая,

прикрепив к доске своё фото с чёрными усами и курчавыми чёрными волосами. – Жду от вас дальнейших предложений по улучшению моей внешности.

В этот день учителя, заходя в класс, на несколько мгновений задерживали свой взгляд на ярко-рыжем пятне медного оттенка, как будто в класс впорхнуло солнце. Рыжая понемногу начинала себя любить. Это, как болезнь – подкрадывается незаметно, замечаешь её, когда она уже полностью подчинила себе. Избавиться от любви к себе не так просто. А стоит ли?

ЧЁРНЫЙ КОФЕ

На вершине измокшей закарпатской горы суровый мужчина подарил мне букетик мокрых горных цветов, изумив саламандру, спешащую укрыться от грозы.

Пробивавшийся сквозь ветви смэрэк* полусвет потемневшего неба рассыпался веером и брызгами...

Было тихо, чисто и как-то блаженно... Мгновенный апофеоз счастья...

Потом был чёрный кофе. Ничто не сравнится с чашкой настоящего, свежесваренного чёрного кофе. Явственно помню этот запах... В нём есть достоинство и стиль, подчас отсутствующие у человека.

Мысль, пронзившая вдруг: «Пусть лучше в будущем отсутствует этот человек, чем появится кто-то другой. Пусть останутся иллюзии...»

Иногда закрываю глаза, и в воображении видится, почему-то, не Закарпатье, а место, где никогда не бывала, но так хочется побывать: пагода на фоне цветущей саккуры и заснеженной Фудзиямы. И прочий, прочий дзен...

* Вид закарпатской ели.

ЧАСТЬ РЕЧИ

«Увы», «но», «однажды» – вечные спутники жизни.

Той зимой, по утрам, за окнами трамвая, струился медленный и густой снег. Какая белая пелена... Трамвай плыл, преодолевая Время и Пространство, которые, казалось, застыли...

Хотелось отгородиться от мира, никого не впуская в свою жизнь. Но твою музыку я впустила... Я слушала твои песни. Слова предназначались мне одной. В них всё было про меня. Слова, вроде бы, ни о чём... Но о главном в жизни. Такой далёкий и близкий голос...

Увы... Ты продолжал мне сниться...

Удивительно, как человек, живущий за тысячи километров, с которым никогда не встречался, вдруг становится таким родным? Близкие люди всегда далеки друг от друга. Ты понимал меня, как никто.

Я пыталась удержать твою музыку в ладонях... И не смогла... Много позже поняла – музыку невозможно удержать – в ней можно только раствориться...

Минуло много времени с того момента, когда я запретила себе думать о тебе, но ничего не менялось... Однажды опалённая огнём твоих песен, я уже никогда не смогла быть прежней...

«ЕЩЁ РАЗ О ЛЮБВИ»

...Когда звёзды кружат, и отлетают последние листья,
когда ветер приносит сырость с северного моря – хватаешь капли дождя,
как последний поцелуй...

...Помню, как радуга соединяла наши дома. Я поднималась по ней
к тебе...

Любовь не знает меры, цены... У неё нет срока давности...

...Источник любви – внутри нас. Любовь выше греха.

Некий нравственный катаклизм, когда в тебе есть её ген...

...Любить, значит – касаться. Лучшее средство от любви –
любить ещё сильнее...

Проникая во все поры, она подчиняет. Это – диффузия,
химическая реакция...

...У любви всегда – большой блеск в глазах...

Она беспощадна и жестока...

Право на любовь – фетиш... На неё ни у кого нет прав.

У неё нет обязанностей. Она – иррациональна...

...Любовь – затяжной прыжок в омут одержимости другим человеком.

Вечный страх – полюбить снова... Или не полюбить никогда...

...Любовь – единственная единица измерения всего... Дефибриллятор,
вдыхающий жизнь, восстанавливающий работу сердца...

...Чувства – за гранью понимания, *нечто*, что невозможно облечь
в слова...

НАТЮРМОРТ

Белые стены и маленькое окошко под потолком. Взобравшись на табурет, попытаться выглянуть в окно. Но, всё равно надо встать на кончики пальцев и сильно вытянуть шею. Там – тоже стены и такие же маленькие окошки. Вдруг, меж двух окошек – деревце. Вот так любовь к жизни!? Как смогло оно пробиться сквозь эти каменные джунгли? Деревце пытается вжиться в пейзаж, но при всём его жизнелюбии остаётся больше похожим на натюрморт. На этой картине отсутствуют люди, но они где-то рядом... Они ведь тоже – неодушевленные. И картина остаётся всего лишь натюрмортом...

Деревце шевелит листьями, точно пытается сказать: «Я – живое! Живое!» Но не получается, листочки желтеют, опадают... Звук падения – негромкий, словно мольба о помощи, которая остаётся не услышанной...

Над каменным лабиринтом плывут облака. Иногда – светло-серые, иногда – темнее. А иногда – грязно-серые. Какой художник нарисовал эту картину? Даже облака – ненастоящие, неправильные.

Возможно, всё же, художник – талантлив? Он нарисовал великолепный натюрморт неживых вещей. Просто я не люблю натюрморты...

ПРИ СВЕТЕ ЛАМПЫ

Чем старше становишься, тем быстрее летит время. Не успеваешь оглянуться, как снова приходит осень. С дождями, ранними сумерками, медленным кружением жёлтых и красных листьев. К сожалению, настоящее забывается быстро. Но помимо воли сознание воскрешает утраченное, которое хочется кому-нибудь оставить.

Письменный стол стоит у окна, на столе – лампа с абажуром. Он, приглушая свет, всё же высвечивает на стене небольшой светлый квадрат. Хотя бы раз сочинить какую-нибудь счастливую жизнь.

Ручка, чистый лист и слова, слова... «в поисках утерянного рая», но не внутри себя, а где-то снаружи, шлёпая по лужам в тумане осени...

Страх перед естественным внушает нелюбовь, не вызывающую сакральной радости бытия. Одолевающая бессонница приводит к сердечной боли, и история вновь получается грустной, унылой. Написанное – банально, оно вычёркивает ещё одну бесполезную ночь, день, сгинувшие в четырёх стенах. Выключенная лампа гасит и светлый квадрат на стене.

Осень... Одиночество... Никто не хочет прислониться к твоей жизни. Даже на мгновение. Жизнь – матрица, где все расфасованы по своим маленьким клеточкам...

ЧЁРНАЯ БЫЛЬ

Какими красивыми были те весна и лето... Как истерически цвели яблони и вишни, покрывшиеся белыми соцветьями... Все сразу... Тропинки между деревьями становились всё извилистей, запутанней...

Никогда не забуду это дикое, адское цветение...

Магические собаки принялись вить гнёзда птицам, которые беременели от них, световой день смешался с ночью... Географическая точка на Земле, где лишь – вой ветра, стон сосен да мяуканье заблудившихся в пыли мятущихся котов.

Киев пустел, его мыли, мыли... Асфальт отзывался эхом от стука моих каблучков. Кто смог – тот уехал. Мы – остались. И никого. Тишина...

Как-то сразу все мы стали старше не на одно лето... На годы... Хотелось плакать. Всё остальное про Чёрную Быль мы узнали намного позже...

НЕВЕДОМОЕ

Разве дано нам познать, из чего зарождается рассвет, из какой тьмы проступает бледная полоска света? Как опасно скользить, словно в предзимнюю ночь, в лабиринте памяти? Как велика возможность не отыскать выход из этого лабиринта? И затерявшись в нём, заглянуть в полные ужаса глаза ночи?

Если бы кто-нибудь смог объяснить, как, каким непостижимым образом заносит нас в то или иное место? Что ведёт нас за собой? Луна, звёзды? Влюбленность, отчаяние? А может быть, тривиальная рассеянность? Или простое совпадение? Неужели совпадение способно изменить жизнь? Может быть, всё же, predeterminedность?

Случайность... Так говорим мы в оправдание своего бессилия перед жизнью...

В человеческом муравейнике хочется абстрагироваться от внешнего мира, посторонние звуки которого выводят из сладкого, но такого опасного забытья.

Кружится карусель жизни... Кто-то ходит на работу. В гости... По поводам и без... Кто-то, кому уже за... – всё больше дома. Только бы хватило сил спуститься в соседний магазин. Или попытаться уснуть под говорящий телевизор... Так о чём это размышление? Очевидно, о времени ожидания неведомого...

Сумасшествием дышит город –
Негде спрятаться от жары.
Беспощаден, как знойный морок,
Словно, жизнь проживаем взаимы.

Мы разморены диким пеклом –
Будто город наказан злом.
Всё вокруг становится пеплом,
Хоть об стену разбейся лбом.

Жар сжигает и наши души.
Ненавидеть, любить – нет сил.
Дай нам, Отче, Райские Кущи,
Пока морок нас не сгубил.

Золотое наследие лета
Тротуары собой укрывает.
Всё живое всегда опадает,
Тает радость... Теряется где-то...

Листья жёлтые прочь отлетают, –
Обращая к нерадостной мысли:
Их падение нас заставляет
Чувствовать, невзирая на смыслы.

Заспанны, как в сером дурмане.
Снова молимся на Тишину.
Но она, как всегда, обманет, –
Вызывая оскомину.

Заблудившись, словно, в тумане,
Рвёмся мы скопом в Эдем.
А он награждает цунами –
Его получаем взамен.

В этом мире что-то сломалось.
То ли Боги забыли нас?
Проживаем то, что осталось, –
В страхе, не раскрывая глаз.

Внезапна догадка, –
Вползает невольню.
Страшно и сладко –
Горько и больно.

Вновь жжёт лихорадка, –
Сжигает. Довольно.
Страшно и сладко –
Горько и больно.

Внезапна догадка, –
Впивается в горло.
Больно. Не сладко, –
Зажата аорта.

...Невзначай – прощальные фразы, –
Невзначай...
...Нечаянно и просто, без лишних слов, –
Нечаянно...
...Фатально обернувшейся ничейной любовью, –
Фатально...
...Навечно, это, всего лишь, – Рай или, всего лишь, – Ад, –
Навечно...

¹ модель «Smartphone» (умный телефон), выпускаемый фирмой «Apple» («Яблоко»);

² сообщения, посылаемые с мобильного телефона;

³ онлайн-сервис для обмена фотографиями и видео, принадлежащий «Facebook» (социальная сеть в Internet-е);

⁴ разновидность автопортрета, созданного с помощью встроенных функций фотоаппарата в мобильных устройствах;

ИГОРЬ ЧЕРКАССКИЙ

ВОЛШЕБНАЯ МЕЛОДИЯ

КРАСНАЯ ЛЕНТОЧКА

Юный скрипач играл причудливую мелодию. Орлиный профиль, тёмные волосы, карие глаза. Его дорогой камзол больше бы подошёл придворному, а не простолыдину. Гордая осанка, не знавшие грубой работы руки и яркий румянец говорили о благополучии и достатке. Но играл он посреди городской площади для простого люда. Невдалеке от собравшейся вокруг толпы шумел городской рынок. Грязь, слякоть. Торговцы, покупатели. Уличные воришки, городская стража. Крестьянская живность, кричавшая разными голосами. И над всем этим звучала скрипка. Грустные пассажи сменялись откровенно потешными, высокопарная мелодия причудливо переплеталась со звуками скотного двора. На смену этим звукам приходили вера, надежда, разочарование и, наконец, отчаяние – будто на грани адской бездны.

Вместе со скрипкой слушатели смеялись и плакали. Взмывали ввысь, парили и снова спускались на землю. Люди смотрели на пальцы виртуоза, порхавшие по струнам, на непредсказуемый полёт смычка. Но заглядывать ему в глаза опасались. Скрипач заметил лишь один взгляд, ответивший взаимностью. И в этот момент мелодия взлетела на новую высоту.

Из пёстрой толпы горожан выделялась девушка в простом красном платьице в горошек. Округлое миловидное личико, медно-рыжие волосы, завязанные красной ленточкой, в руках – плетённая корзинка. Карие глаза девушки ждали ответа. И когда их взгляды встретились, она увидела мир, в котором, играя, парил юноша.

Но мелодия закончилась. Не находя ни шляпы, ни футляра, люди стали расходиться. Кто-то расстелил у ног скрипача тряпицу, куда слушатели собирали то, чем могли одарить. Бедняки – дурно пахнущим куском вяленой говядины или уже початым кувшином с брагой. Более состоятельные – монетами. А девушка достала из корзинки румяный, пахнущий яблоком кусок пирога. И не решившись ещё раз взглянуть в глаза юноше, побежала по своим делам. Её красное платьице терялось в толпе, а скрипач до последнего пытался не упустить девушку из виду. Но, так и не дождавшись ответного взгляда, положил скрипку в футляр, собрал заработанное и пошёл домой.

Почти каждый день девушка проходила один и тот же путь. Выходя из дома, задерживалась на площади, слушая скрипача. А потом шла по мощённой булыжниками мостовой к самой окраине города, к полуразвалившемуся, увитому виноградом, дому. Поднималась по лестнице и стучалась в грубую деревянную дверь. За дверью в окружении многочисленных кошек

жила её дальняя родственница. Женщина преклонного возраста не могла самостоятельно позаботиться ни о себе, ни о своих питомцах. Когда она открывала дверь, кошачья свора с громким мяуканьем сбежалась навстречу гостю. Девушка доставала из корзинки еду для хозяйки и, пока та заваривала чай, кормила кошек. Потом они садились за стол, и начинался разговор – о погоде, новостях, встреченных прохожих, о скрипаче на городской площади... Каждый раз, когда она заводила о нём речь, пожилая женщина украдкой улыбалась. И делая вид, что дует на горячую воду, не поднимая глаз от чашки, вздыхала:

– Ох, годы мои молодые...

– Да будет вам, тётушка! – краснела девушка и переводила разговор на другую тему.

День за днём, поднимаясь вверх, она проходила мимо мужчины преклонного возраста. Он сидел перед дверью своего жилища, шамкая беззубым ртом, и молча провожал её взглядом. Девушка не обращала на него никакого внимания. Но как-то раз, пробегая мимо, заметила слёзы на его глазах:

– Что случилось? Вам плохо?

– Всё в порядке, деточка!

– Вы же плачете!

– Нет-нет, всё в порядке. Просто старость... Одинок я очень.

– У вас есть дети?

– Да, но они про меня давно забыли! И дети, и внуки, и правнуки...

Он выглядел беспомощным. И девушка, едва сдерживая слёзы, пронесла:

– Хотите, я сделаю вам поест? Только к тётушке загляну и сразу к вам.

И, сбежав вверх, вскоре вернулась. С тех пор, каждый раз приходя к тётушке, она забегала к нему, чтобы чем-то порадовать. Пожилой мужчина радостно улыбался беззубым ртом, но на его глазах всё равно блестели слёзы. Девушка, пытаясь его утешить, взваливала на себя всё больше и больше обязанностей.

Узнав об этом, её родственница поначалу отмалчивалась, но со временем стала возражать:

– Не делай людям добра! Они этого не ценят. Вот кошки – те никогда не обманут!

Девушка лишь отмахивалась, списывая всё на ревность пожилой женщины.

Как-то раз, закончив хлопотать по дому своего подопечного и собираясь домой, она услышала:

– Дочка, а ты чьих будешь?

– Дедушка, вы о чём?

– Ну в церковь какую ходишь? Истинную, католическую или к пресвитеру?

– Да я не...

– Ааа... так ты этих будешь. Ну, не переживай...

И немного помолчав, с лёгкой усмешкой добавил:

– Как ваших гоняют-то, а?!

По дороге домой девушка всё никак не могла выкинуть из головы этот разговор и, добравшись до постели, заснула в слезах.

Ей снилось, что она стоит посреди пустыни. Серое небо над головой сливалось с серой землёй так плавно, что линии горизонта было не различить. А за спиной слышались слова: «Забавный старик. Не переживай, люди разные. И мы пойдём дальше! Но время ещё не пришло...»

На следующий день девушка всё рассказала своей тётушке. Выслушав очередное «не помогай людям...», перешла к своему странному сну. Едва закончив рассказ, она сильно удивилась реакции пожилой женщины. Та нахмурилась и, не глядя племяннице в глаза, произнесла:

– Мне он уже давно перестал сниться. Всё болтал да болтал. Не время... Пойдём дальше... А куда идти-то? Вот она жизнь!

Девушка шла темнеющими улицами города, а в голове крутились нравочения тётушки: «Не помогай... Не помогай...». Но внутренний голос раз за разом возражал: «Как не помогать? Разное ведь бывает. И не такое! Можно же простить! Простить и помогать дальше. А может это кому-то нужно? Как же не помогать?..»

Недалеко от её дома городские власти устроили приют для солдат-ветеранов. Инвалиды были не в состоянии ни приготовить поесть, ни просто постирать одежду. Многие из них так и не смирились с увечьями и отчаялись. Они вовсе перестали за собой ухаживать и жили кое-как на подачки сердобольных горожан.

Как-то раз, проходя мимо их приюта, девушка обратила внимание на мужчину, привалившегося к облезлой стене дома. Он сидел на грубой деревянной скамейке вдаль от остальных и пытался набить трубку искалеченными пальцами. Девушка подошла поближе, и у неё перехватило дыхание. Она постаралась взять себя в руки и, не обращая внимания на тяжелый запах, завела разговор.

– Давайте помогу! Как вас зовут?

– Франком меня звать. Ты трубки набивать умеешь?

– Никогда не пробовала.

– Ну, попробуй. Только не просыпь. И так купить не на что...

Девушка набила трубку и передала её мужчине:

– Давайте я вам одежду постираю. Вам же, наверное, тяжело самому!

– Да брось. Неудобно как-то...

– Нисколечко! Я же прачка. Возьму с собой, да и постираю. А как смогу и табак принесу.

Солдат недоверчиво посмотрел на неё, затем молча зашёл в дом и вынес свёрток с грязным бельем.

– Спасибо тебе. Век не забуду.

На следующий день девушка принесла гостинцев. Свежий пирог и немного табака. А забирая вещи, заметила, что свёрток с бельем стал больше. В следующий раз – ещё больше и ещё, и ещё... А вскоре она уносила с собой уже огромный тюк! Готовила пироги чуть ли не на целую армию. А на табак, который, по словам Франка, слишком быстро заканчивался, тратила все деньги. Подруги поначалу посмеивались, видя такое обилие мужских кальсон. А когда она рассказала, чьи они, схватились за голову:

– Что же ты делаешь?! Помощь – это славно, но ты же на них работаешь! Деньги-то хоть берешь?

– Да как можно? У них даже на табак не хватает!

– Так ты им и табак носишь? Ох и дурёха!

Но девушка только отмахивалась и, еле выкраивая время на тётушку, упорно продолжала помогать дальше. Она готовила, стирала, по просьбе Франка приносила всё больше табака. И делала всё это до тех пор, пока к ней не подошёл один из солдат и не спросил:

– Можно я вам заплачу, а не Франку? Он такие деньги просит! За стирку, за табак... На еду совсем не остаётся...

– Как же так?! Я же...

...Ночью ей снова снилась серая пустыня под серым небосводом. И слышался голос, пытавшийся её утешить: «Помогай, когда нужно. Не жди просьбы. Не рассчитывай на благодарность. А этот... Его путь. Пускай идёт. И мы с тобой пойдём дальше! Потерпи немного, время ещё не пришло...»

Тётушка, прослышав об этом, только и сделала, что повторила своё извечное:

– Не помогай...

И по пути домой девушка в который раз пыталась найти выход: «И что теперь делать? Совсем не помогать? Ведь раз за разом... И благодарности не нужно. Но вот так – чтоб за дурочку держали?»

Подходя к своему дому, она ещё издали заметила толпу, собравшуюся у дома напротив. В центре стояла пара с ребёнком. Время было холодное. Близился конец осени. Женщина, сев на мостовую, плакала навзрыд, ребёнок дрожал, а глава семьи всё никак не мог разжалобить судебных приставов. Семью выгоняли на улицу за неуплату, а люди вокруг только удручённо качали головами. Кто-то сердобольный пустил по кругу шляпу и даже собрал небольшую сумму, но пристав лишь отмахнулся. Долг был слишком велик, и эти гроши не покрывали даже малой его части.

Девушка с красной ленточкой не могла поверить своим глазам: «Чужие люди пытаются помочь! Не ждут благодарности, а просто помогают, кто чем может. И не один, не два, а целая толпа...»

Поражённая увиденным, она побежала домой. Открыв шкатулку, в которой хранились семейные кольца, вытащила два колечка с драгоценными камушками. Выбежала на улицу и вложила их в руку пристава:

– Этого хватит?

– Пожалуй, ещё и останется, – ответил мужчина, рассматривая кольца. Люди начали расходиться. Муж с женой горячо поблагодарили свою спасительницу. А девушка только улыбнулась, кивнула в ответ и побежала домой.

В эту ночь она спала без снов. Проснувшись на следующее утро, в первый раз за долгое время она позволила себе пойти на прогулку вдоль морского берега. Несмотря на то, что погода была пасмурной, она любовалась серым небом. Где-то за горизонтом оно сливалось с морскими волнами. Солёный бриз развеивал волосы, было зябко, но она будто не замечала этого. «Мир не так плох, как кажется! Сколько людей вчера собирали деньги?! Помогай, когда нужно. И серая пустыня больше не снилась... Значит, всё правильно», – размышляла она, когда вдруг в нагромождении обломков, выкинутых морской волной, заметила что-то необычное. Она подошла поближе и ужаснулась. Морская волна выбросила на берег мужчину. Подбежав поближе, девушка с облегчением заметила, что он дышит:

– Вы живы? Эй...

Она попыталась привести его в чувство. Ударил по лицу, но щёки даже не порозовели. И испугавшись, что он умрёт, девушка побежала за помощью...

...Она немного успокоилась, только когда врач, осмотрев мужчину, произнёс:

– Переохладение. Дайте тёплый грог, как проснётся и укройте потеплее. Благодаря вам он будет жить.

С помощью соседей девушка перетащила его в свой дом и, укутав потеплее, напоила горячим грогом. Она заботилась о своем подопечном до тех пор, пока тот не открыл глаза.

– Спасибо, прошептал он и снова заснул.

Через несколько дней, с восторгом рассказывая новости тётушке, она никак не ожидала такой её реакции:

– Ты совсем ополумела! Отдавать кольца?! Притащить в дом незнакомому мужчине?! Как тебе вообще такое в голову пришло?

– Но их же выкидывали на улицу, а скоро зима. И мужчина без моей помощи замёрз бы. Что же мне было делать?

– Не помогай людям...

– А тебе тоже не помогать?

Не дожидаясь ответа, она хлопнула дверью и побежала вниз по лестнице. Добравшись домой лишь под вечер, девушка была рада увидеть на щеках мужчины румянец. Понаблюдав за ним некоторое время, довольная и утомлённая, она отправилась в постель...

...Ночь выдалась тёмной. Никем не замеченная тень проскользнула в проём двери и стала подниматься по лестнице. Грудь под одеждой холодило лезвие ножа, а в голове мелькали мысли: «Ну, помогла. Ну и что? Не последнее же отдала. Ещё есть. Богатейка! Наследство небось проживает! А у меня ребёнок, жена пилит... Говорит, мол работать иди. А куда я пойду? Я же не умею ничего. Да я её только припугну немного. Сама всё отдаст». И отец семейства, подгоняемый этими мыслями, тихо приоткрыл дверь...

Девушке снова снилась серая пустыня. Но на этот раз голос звучал не за спиной. Рядом, протягивая ей руку, стояла серая фигура.

– Время пришло. Пойдем!

– А как же тетушка? Её кошки?

– Не волнуйся! О них теперь есть кому позаботиться...

...Пробравшись внутрь, вор даже не успел ничего понять. Вокруг его шеи обвилась веревка, мозолистая рука зажала рот... Когда всё было кончено, спасённый девушкой мужчина отнёс тело подальше от дома. Вернувшись, он заглянул в спальню. Она была пуста. Мужчина постоял недолго на пороге комнаты и в недоумении побрёл спать.

Вечером следующего дня в дверь тётушкиного дома постучали. На пороге стоял мужчина. Он вежливо поздоровался и прошёл в комнату.

– Ваша племянница сказала, что уезжает, и попросила меня позаботиться о вас. Я постараюсь вам помочь и буду заходить, как можно чаще.

– А кто вы, собственно, такой?

– Вероятно, её друг. Хотя мы с ней и не знакомы. Впрочем, это долгая история. Я расскажу её как-нибудь в следующий раз... Дело в том, что я многим обязан вашей племяннице...

...Девушка и серая фигура Проводника шли по серой пустыне. Серое небо над их головами сливалось с землёй где-то за горизонтом.

– Куда мы идём?

– Туда, где ты нужна! У каждого своё предназначение. Моё – уводить оттуда, где нет смысла оставаться, и вести туда, где история продолжается. Твоё – помогать там, где никто больше помочь не может.

СКРИПКА И СМЫЧОК

В сказочном зелёном лесу, невдалеке друг от друга, на землю упали две шишки. Из них выпали два зёрнышка. Им повезло. Их не заметили лесные звери, не склевали птицы. Дождь усердно подмывал под ними землю, закапывая всё глубже и глубже. На следующий год они проросли. Выглянули ростками из земли, потянулись к солнцу и вдруг заметили друг друга. Крошечная ель и юный кедр. Они питали свои корни из одного источника. Почти соприкасаясь, росли рядом, но по-настоящему быть вместе не могли. И со временем стали походить на влюбленную пару в разлуке.

Днём они росли, любуясь друг другом, а когда наступала ночь, тесно переплетались ветвями. Утром, как и весь лес, они принимались за каждодневный труд, а в вечерние часы вновь забывали об общем течении жизни. Шли дни, месяцы, годы. Деревья крепили и спустя много лет превратились в могучих исполинов. Им казалось, что времени не существует. Оно, как и ветер, шелестящий их кронами, не властно над ними. Ветер шептал: «Поспешите. Не нужно быть, как все. Всё мимолётно...» Они же, думая, что времени ещё много, не слушали и мечтали оказаться рядом, но... отворачиваться от солнца в угоду близости казалось абсурдом. Ведь ни одна пара деревьев так не поступала.

Давно, когда семена были ещё душами, Бог приоткрыл им часть будущего. Он дал им выбор: стать деревьями, сбрасывающими и рождающими листву, или остаться вечно зелёными и не чувствовать ни холода, ни зноя. Ель выбрала вечную молодость, и кедр, увидев своё предназначение в том, чтобы защищать её, стал таким же. Сделал вид, что времён года не существует, и отрастил иголки. Но в глубине его души листья желтели, опадали, а с приходом весны распускались вновь.

...Ель ушла первой. Ее срубили и, очистив ствол, обрезали ветви. Не чувствуя под собой земли, ель медленно сохла. Кедр, не понимая, что остался один, по-прежнему, укрывал то место, на котором когда-то обитала важная частичка его мироздания. Листва в душе пожелтела и опала в последний раз. Ветер поглаживал его по коре, но не приносил утешения. Эта боль была не настоящим чувством, а лишь следствием трения его души о внешний мир. И когда подошёл его черёд, кедр с облегчением рухнул на землю. Ветви стали больше не важны. Времена года больше не ощущались в душе ни увяданием, ни новым началом. Зато теперь они наконец-то были рядом.

Шло время. Стволы сохли, и однажды были проданы. Когда железо мастера соприкоснулось с ними в первый раз, оба уснули сном без сновидений.

ПАЛИСАНДР И ЛОШАДЬ

Где-то в дальних краях росло чудное дерево – Варфоломеев куст. Священная стрела. Его корни были тетивой, а небо – дугой лука. Дерево росло, мечтая взлететь к солнцу и парить вместе с ветром среди туч. Рядом жил табун лошадей. Ветер трепал их гривы и жил вместе с ними их свободой и мечтой. А кроны палисандра касался лишь, чтобы шелестеть листьями.

Как-то раз одна из лошадей подошла к дереву. Она попыталась понять, кто перед ней и принялась. Попробовала кору на вкус. И угадав то ли схожесть мечты, то ли будущую судьбу, отшатнулась и поскакала обратно к своим. Так они в первый раз оказались рядом.

Лошади старились – дерево становилось выше. Мимо пролетало время – самый ценный ресурс во Вселенной. Невосполнимый. Время не любит, когда

на него не обращают внимания, и может отомстить... Однажды оно может закончиться.

Ветер всё так же летал над землёй, когда она опустела. От лошадей остался плен. Сердца вырезали, мясо пустили на колбасу. Хвосты и жилы пошли на продажу. Тетива была спущена, дуга неба всё так же уходила за горизонт..., но стрела не взлетела. Дерево срубили, и оно рухнуло на землю. А когда пришло время, из лошадиных жил получились струны. Из их хвостов свили нити. А священная стрела, соприкоснувшись с железом в руках мастера, уснула. И во сне ей привиделась цель будущего полёта.

ПОСЛЕДНЯЯ НОТА

Ель и кедр проснулись скрипкой, палисандр – смычком. Время больше не подгоняло. Ветер не шептал своих пророчеств. Священная стрела, подвластная душе и пальцам скрипача, летела среди облаков к своей цели.

Мелодия, разносясь по залу, переливалась весёлыми красками. Она растекалась потоком между богато убранными столами. Звуки отражались от дорогих гобеленов и зеркал. Ноты искрились множеством свечей в огромных люстрах. Но в конце концов мелодия заканчивала свой путь, смешиваясь с чавканьем, звоном столовых приборов и грубым смехом.

Полный мужчина вытирал белой льняной салфеткой жирные губы. Другой, высокий, худощавый наслаждался богатым разнообразием блюд и напитков. Между столами сновали официанты и хозяин, угодливо подливающий вино. Гости отдыхали, слушая непринуждённую, вкусную музыку. А пальцы музыканта порхали по струнам, убажывая их слух. Мелодия звучала в угоду хозяевам жизни. Ворам и вельможам.

...Глаза скрипача были пусты. Перед его внутренним взором проносились ноты другой мелодии, но он никак не мог её сыграть. Разум, скованный показушной весёлостью антуража, не осмеливался запомнить ноты, а одурманенное вином тело было не в состоянии выйти за рамки реальности.

Виски музыканта давно покрылись сединой. Когда-то шикарный камзол обветшал и даже местами протёрся, но благородная осанка, гордый орлиный профиль и карие глаза всё так же привлекали взоры дам.

Чем веселее он играл, тем больше монет появлялось в сундучке у его ног. Слуги приносили благодарность от хозяев за падение музыканта до их уровня. Иногда случалось так, что мелодия, которую он на самом деле хотел сыграть, прорывалась из плена. Она соприкасалась с обыденной весёлостью, врывалась тактом в реальность, и глаза музыканта загорались былым блеском. В это мгновение на лицах слушателей появлялись недовольные гримасы, и хозяин всё быстрее бегал между столами, подливая вино. Слуги как по волшебству переставали приносить монеты к ногам музыканта, официанты прятали глаза. Лишь один человек ждал именно этого момента – посудомой-

ка в красном платье в горошек с округлым милостивым личиком и медно-рыжими волосами, перетянутыми красной ленточкой. Её карие глаза ловили взгляд скрипача, а руки тщательно что-то записывали так, будто она угадывала или попросту видела недоступную остальным тайну. Но пассаж заканчивался, ему на смену снова приходил весёлый смех вперемешку с чавканьем, и взгляд скрипача тускнел в угоду публике.

Когда работа подходила к концу, он укладывал инструмент в футляр, как младенца. На собранные монеты покупал вино, садился за стол и вливал в себя кувшин за кувшином так, будто пытался заполнить пустоту в сердце.

– Дорогой мой, ну зачем же вы так?

– Я не могу иначе.

– Да, мир ужасен, и у всех свои горести, но не стоит нагонять тоску. Люди приходят отдыхать. А вы... – уговаривал его хозяин. Глаза трактирщика лучились сочувствием, но где-то в глубине просматривалась снисходительная искорка. Музыкант лишь кивал в ответ.

Через пару дней та же мелодия вновь пыталась вырваться из плена, и история повторялась. Остановившиеся слуги, мрачные лица гостей, натянутая улыбка хозяина и кувшины вина... Музыкант пил всё больше. Иногда выходя из нужника, он уже не мог заправить рубашку в панталоны. Пальцы не слушались. В один из таких вечеров тон хозяина изменился.

– Дорогой мой, вы меня вообще слышите? Никому не нужна ваша грусть. Люди приходят веселиться.

– В грусти глубина.

– Ну и зачем она им? Чего ты лезешь со своей глубиной? Да ты знаешь, кто наши гости?!

Искорка в глазах хозяина пропала, и они стали похожи на узкие щёлочки. Скрипач, положив голову на руки, не слышал последней фразы. Он спал и видел сон. Вся его жизнь проносилась мимо. Площадь рядом с городским рынком. Карие глаза. Платьице, теряющееся из виду в толпе. Пара чаек. Одиночество и забота. Ворон, стучащий клювом в окно. Рыжая кошка на руках у богато одетой дамы. Цепной пес с глазами, полными грусти и сочувствия. Ему снились чудеса и образы, связанные одной ниточкой. Той мелодией, которую он никак не решался сыграть...

Прошло несколько дней. Помня последний разговор с хозяином, скрипач старался изо всех сил. Он пытался закрыть на задворках памяти все печальные образы. К чему глубина переживаний? Для чего полёт в душе, если можно развлечься едой и женским вниманием? Зачем нужна грусть, если всем хочется веселья? Поначалу ему даже показалось, что он справится. Ведь он окончательно смирился и почти забыл. В тот момент, когда перед внутренним взором погасла последняя нота, мелодия, не желая исчезать, вырвалась из глубины. Она соприкоснулась со звучащей нотой, и скрипач больше не мог

ей помешать. Нота за нотой, пассаж за пассажем – мелодия, стремясь ожить, срывалась с его пальцев.

Слуги остановились. Гости смотрели с отвращением. Официанты испуганно жались к стенам. Хозяин, искоса глянув на скрипача, наклонился к одному из гостей.

– Вы говорили, что у вас есть прекрасные музыканты?

– Да, конечно. Играют очень хорошо. Не в пример этому!

На следующий день скрипач как обычно достал скрипку. Приготовился играть. Но хозяин, подойдя поближе, взял его за локоть и отвел в сторону.

– Спасибо, дорогой. Больше не надо...

– Но я...

– Сначала постойте и послушайте. Играть нужно вот так! А потом поговорим...

Музыканты заиграли весёлую мелодию. Она отражалась от стен и искрилась множеством свечей. Весёлая музыка украшала изысканные блюда, добавляя звону столовых приборов и чавканью особые оттенки. Она придавала вину – игристость, антуражу происходящего – солидность, непридуманно веселила гостей, но была пуста. Скрипач слушал и не мог понять, почему всё это время он и сам играл что-то подобное. Он знал, что мелодия, звучавшая в его душе, никому не нужна, что он просто зарабатывал на жизнь, но всё равно не понимал, как смог так сильно опуститься. Его душил стыд, на глаза наворачивались слёзы. Вдруг, когда стало совсем невмоготу, он ощутил на своем плече чьё-то тёплое прикосновение. Скрипач обернулся и увидел девушку с волосами, перетянутыми красной ленточкой. Её карие глаза смотрели с мольбой, а рука протягивала исписанный нотами лист.

Скрипач взял его в руки и замер. Это была та самая мелодия, которую он не мог записать и всё никак не решался сыграть публике. Та ниточка, что объединяла образы, на которых покоилась его душа. Он заглянул в карие глаза девушки и понял, что должен сделать. Музыкант подхватил сундучок с заработанными монетами, подошёл к музыкантам и, поставив его на землю, попросил:

– Сделайте паузу.

Затем достал из футляра скрипку, взял смычок и повернулся было к публике, когда к нему подскочил хозяин.

– Вам же было сказано, что играть не нужно...

– А я заплатил, чтобы они помолчали. Дадите больше?

И только когда трактирщик, морщась, отошел в сторону, музыкант, наконец, заиграл.

Слуги замерли, официанты в испуге прижались к стенам, а на лицах гостей поначалу появилось отвращение. Но с очередным пассажем чавканье и звон столовых приборов начали стихать, и мелодия заполнила весь зал. Она не добавляла напиткам игристости, не делала блюда изысканней и не отражалась в свете свечей. Мелодия существовала на другом уровне. Когда

людской гомон окончательно смолк, лица на гобеленах ожили. Стороннему наблюдателю могло бы показаться, что они внимательно смотрят на музыканта.

Хозяин слушал, не понимая, что происходит. Он искал признаки недомогательства или раздражения в глазах посетителей. Но вместо этого в каждом взгляде видел восторг, угадывал разные образы и общий полёт. Он начинал понимать, где вместе с мелодией парят слушатели. Отчаянно захотел прочувствовать весь путь, раскрыть крылья и взлететь на ту же высоту, но... не смог. Его крылья были слишком слабы. Душа, скрытая под скорлупой цинизма, оказалась слишком хрупкой, а страх разбиться приковал её к земле.

Кто-то слышал ветер, шелестящий листьями, путающийся в лошадиных гривах. Видел дождевые капли, падающие с высоты так, будто ты не прячешься от них, а смотришь в небо. Другой вспоминал одинокое, желтовато-красное рассветное облако и яблоко такого же цвета в детской руке. Третий чувствовал запах вишнёвого пирога и давно забытого уюта. Слышал детский смех и ласковые слова матери. В конце концов, образы каждого сливались в подобие длинной пыльной дороги. Следы на ней походили на замысловатый узор. Этот рисунок становился похож на крылья, которые уносили вверх за грань облачного покрова, к белой пелене под ногами, синему небу над головой и чистому, не скрытому облаками, закату...

ИЛЬЯ ЧЛАКИ

СОКОВЫЖИМАЛКА

комедия в одном действии

Действующие лица:

Зоя Фёдоровна

Пётр Васильевич

Галя, их дочь

Александр, муж Гали

Ирина Антоновна, мать Александра

Виктор Сергеевич, отец Александра

Кухня. Зоя Фёдоровна готовит. Пётр Васильевич читает газету.

Входит Александр.

Александр. Здравствуйте, мама.

Зоя Фёдоровна молчит.

Александр. Здравствуйте, мама.

Зоя Фёдоровна молчит.

Александр. Вы на что-то обиделись?

Зоя Фёдоровна молчит.

Александр. Не хотите разговаривать – не надо! (*Выходит*).

Зоя Фёдоровна. Петя, ты слышал, что говорил этот наглец?

Пётр Васильевич читает газету.

Зоя Фёдоровна. Петя!

Пётр Васильевич. Да.

Зоя Фёдоровна. И как тебе это понравилось?

Пётр Васильевич. Что?

Зоя Фёдоровна. Что – «что»? Ты слышал, что он говорил?!

Пётр Васильевич. Да, слышал. Очень понравилось.

Зоя Фёдоровна. Что?!

Пётр Васильевич. Что?

Зоя Фёдоровна. Что тебе понравилось?!

Пётр Васильевич. Мне? Ничего мне не понравилось. А с чего ты взяла, что мне что-то понравилось?

Зоя Фёдоровна. Я взяла?! Ты сам только что сказал...

Пётр Васильевич. Я сказал, что мне не понравилось, ты не расслышала.

Зоя Фёдоровна. Я очень хорошо расслышала! Я тебя прекрасно понимаю, у тебя одна забота – газета, а до остального дела нет! Тебе плевать, что здесь, у тебя под носом только что меня обидели, оскорбили! Тебе важна газета! Газета для тебя важнее, чем моё здоровье, чем я!

Пётр Васильевич. Успокойся, Зой. Выпей валерьянки. Ты поднимаешь шум по пустякам.

Зоя Фёдоровна. Валерьянки! Меня тошнит от твоей валерьянки, каждый день – пузырьрёк! *(Наливает валерьянку, пьёт).* Какая дрянь! Как я её столько выпила?

Пётр Васильевич. Надо тебе поспокойнее.

Зоя Фёдоровна. Ты только и можешь своё «поспокойнее». Как не устанешь повторять? Тридцать лет ведь – не шутка.

Пётр Васильевич. Ты же не устаёшь столько лет пить валерьянку.

Зоя Фёдоровна отворачивается к плите, Пётр Васильевич читает газету.

Входит Галя.

Галя. Что у вас опять происходит?

Зоя Фёдоровна. Да вот, папа...

Галя. Что ты опять сказала Саше?

Зоя Фёдоровна. Я молчала.

Галя. Неужели нельзя договориться? Зачем ты его обидела? Человек хотел с тобой поговорить, а ты как в рот воды набрала!

Зоя Фёдоровна. С утра он тоже хотел со мной поговорить.

Галя. Он хотел извиниться за утро.

Зоя Фёдоровна. Этого я не услышала.

Галя. Естественно, ты даже не повернулась в его сторону, а не то чтобы слово сказать.

Зоя Фёдоровна. Я варю вам суп!

Галя. Нам, нам всем.

Зоя Фёдоровна. Но вам – в первую очередь! Я могу обойтись.

Галя. Мы тоже!

Зоя Фёдоровна. Может, вам вообще не готовить?

Галя. Как хочешь!

Зоя Фёдоровна. Как ты разговариваешь с матерью?!

Галя. Лучше так, чем вовсе не говорить, как это делаешь ты!

Зоя Фёдоровна. Галя, подумай, что ты говоришь! Как тебе не стыдно?!

Галя. Мне стыдно, очень стыдно. За тебя, мама! *(Выходит).*

Зоя Фёдоровна. Боже мой! Петя, ты слышал?

Пётр Васильевич читает.

Зоя Фёдоровна. Петя!

Пётр Васильевич. Что?

Зоя Фёдоровна. Конечно, ты не слышал. Здесь только что была твоя дочь!

Она заступалась за своего! Она готова за этого человека, который ещё сегодня утром нахамил мне так, что я до сих пор отойти не могу... за него она готова перегрызть собственной матери горло!

Пётр Васильевич. Не говори глупостей.

Зоя Фёдоровна. Глупостей! Дай мне валерьянку. *(Берет валерьянку, наливает).* Я работаю уже только на аптеку, а ему – глупости!

Пётр Васильевич. Успокойся.

Зоя Фёдоровна. Опять твое «успокойся»! Читай газету, читай, я тебя больше не потревожу! Тебе дела нет до того, что происходит в нашем доме!

Пётр Васильевич. Ты не права, Зоя.

Зоя Фёдоровна. Ты за своей газетой не видишь ничего!

Пётр Васильевич. Я только что взял газету.

Зоя Фёдоровна. И я уже для тебя – пустое место!

Пётр Васильевич. Не мог же я предположить, что именно в это время ты начнёшь ругаться.

Зоя Фёдоровна. По-твоему, я ругаюсь. Значит, я не права?

Пётр Васильевич. Ну, почему? Конечно, права.

Зоя Фёдоровна. Газета! Однажды ты оторвёшься от неё, а меня уже похоронят!

Пётр Васильевич. Ох, господи!

Пётр Васильевич вновь продолжает чтение, Зоя Фёдоровна отворачивается к плите.

В кухню вбегает Александр.

Александр. Я знаю, Зоя Фёдоровна, вы меня не любите, вы меня не любите, вам не нравится, что я – муж вашей дочери, но я всё равно скажу! Мы вынуждены жить у вас, но это будет продолжаться недолго, не волнуйтесь, скоро мы снимем квартиру или комнату и уедем, здесь мы не останемся! Но пока мы здесь, я прошу вас, не обижайте мою жену! О себе не говорю – я привык, да и что мне говорить, если собственная дочь каждый день в слезах от вас! *(Стремительно выходит).*

Зоя Фёдоровна *(вдогонку).* Через день, молодой человек, через день! День – от нас, день – от вас! Нахал!

Александр вновь появляется в дверях.

Александр. Если мы вам так мешаем, мы можем уехать. Прямо сегодня! *(Выходит).*

Зоя Фёдоровна. Петя, я больше не могу!

Пётр Васильевич читает газету.

Зоя Фёдоровна. Петя!

Пётр Васильевич встаёт и уходит.

Зоя Фёдоровна. Конечно, во всём виновата одна я! Ты всегда ни при чём! Достается только мне! Я тоже могу уехать! Из этого дома! Он останется вам!

Я уеду отсюда в другой город! Уеду навсегда, Саша! Тогда, может быть, вы поймёте. Но скорее, чем я уеду, вы уложите меня в гроб, дорогие мои дети!

Влетает Галя.

Галя. Мама, как ты можешь так говорить?! Кому это нужно?! Неужели ты думаешь, мы хотим твоей смерти! Это смешно!

Зоя Фёдоровна. Это не смешно, Галочка, не смешно! Вы избавитесь от меня очень скоро, мне недолго осталось.

Галя. Мама!

Зоя Фёдоровна. Что – «мама», что – «мама»?! Я никогда не думала, что у меня будет такая дочь! Я думала, ты меня любишь, а ты!..

Галя. Мама, я тебя очень люблю.

Зоя Фёдоровна. Так не любят, доченька, не любят. Ты позволяешь Саше, к которому я очень хорошо отношусь, делать, что угодно. Но я не двуязыльная! Я так больше не могу!

Галя. Но кто виноват, с чего всё началось?

Зоя Фёдоровна. Началось с того, что у меня было хорошее настроение, но пришёл твой муж, наш Саша...

Галя. И ты не захотела сказать ему даже «здравствуй».

Зоя Фёдоровна. Я думала о вас, я хотела сделать вам подарок, думала, как это сделать, чтобы вам было приятнее.

Галя. Ты его сделала.

Зоя Фёдоровна. Но, видно, не суждено. Вот он, заберите его, он ваш.

Зоя Фёдоровна достаёт из стола соковыжималку.

Зоя Фёдоровна. Эта соковыжималка будет напоминать вам обо мне. *(Собирается уйти).*

Галя. Мама, подожди, мамочка! Мы были не правы, но согласись, что и ты тоже хороша.

Зоя Фёдоровна. Это уже не имеет значения.

Галя. Успокойся, мам.

Зоя Фёдоровна. Я спокойна, Галчонок. Я абсолютно спокойна, до того спокойна, что хоть в гроб ложись.

Галя. Мама!

Зоя Фёдоровна. Может быть, я действительно была плохой матерью, прости. Я хочу умереть. *(Выходит).*

Галя. Мама! Ох, господи! Саша, Саша!

Входит Александр.

Александр. Что она тебе сказала?!

Галя. Ты доведёшь мать до инфаркта!

Александр. Что она сказала?!

Галя. Она пошла умирать! Из-за тебя!

Александр. Я могу ей чем-нибудь помочь?

Галя. Как ты смеешь?!

Александр. Ты не поняла...

Галя. Я тебя прекрасно поняла. Ты не любишь маму!

Александр. Я очень люблю свою тёщу, Зою Фёдоровну, маму! Но она сама виновата – каждый день грозит, что уйдёт. Мне это уже надоело!

Галя. Вот чем ты платишь за любовь, вот чего я должна ждать от тебя!

Александр. За любовь?! Это что, она меня любит?!

Входит Зоя Фёдоровна с листком бумаги, садится за стол, пишет.

Пауза.

Зоя Фёдоровна. Всё. Это вам.

Галя. Что это? *(Читает).*

Зоя Фёдоровна. Это завещание.

Галя *(Отдает лист Александру).* Ты только посмотри!

Александр читает.

Галя. Что с тобой, мамочка?

Зоя Фёдоровна. Не сегодня-завтра я умру.

Галя. Мама!

Зоя Фёдоровна. Когда-нибудь это должно случиться.

Галя. Мама! Саша, почему ты молчишь?!

Александр. Зоя Федоровна!

Зоя Фёдоровна. Это неизбежно. Всё что у меня есть, я оставляю вам. Только, пожалуйста, не забывайте Петеньку...

Александр. Как можно...

Зоя Фёдоровна. Я понимаю, там не так уж много, но...

Галя. Мама!

Александр. Зоя Фёдоровна!

Зоя Фёдоровна. Дети, у меня к вам одна просьба: я хочу, чтобы меня сожгли в крематории, не хочу быть съеденной червями...

Галя. Мама!

Александр. Мама!

Зоя Фёдоровна. Обещайте, что сделаете это.

Александр. Обещаем.

Галя. Мама, прекрати!

Александр. Мама, прекратите!

Зоя Фёдоровна. Прощайте, дети. Я вас очень любила, у меня нет ничего дороже вас... Дайте, я вас поцелую... *(Целует и уходит).*

Галя. До чего ты довёл мать!

Александр. Да, с завещанием – это впервые.

Галя. Ты во всём виноват, ты! Ты убил её!

Александр. Всё будет хорошо, перестань!

Галя. Хорошо?! О чём ты говоришь?! Я не понимаю тебя!

Александр. Я говорю – спокойнее, всё нормально.

Галя. Ты считаешь нормальным, что молодая женщина умирает по твоей вине?!

Александр. Кто умирает, она умирает?!

Галя. Я не хочу из-за тебя лишиться матери!

Александр. Ты скорее лишишься меня!

Галя. Это будет небольшая утрата!

Александр. Что?!

Галя. Что слышал!

Александр. Всё ясно! Теперь мне всё ясно! Ни секунды не останусь в этом доме! Ни секунды!

Галя. Ты и последний удар приготовил! Молодец! Ушёл – и сразу труп! И ты – ни при чём! Иди! Иди-иди! Но я-то знаю, кто это сделал, знаю!

Александр. Ты что, спятила?!

Галя. Только теперь я поняла, за кого вышла! Вместо того, чтобы отблагодарить человека за подарок (*показывает на соковыжималку*), он этого человека – бац!

Александр. Соковыжималка?!

Галя. Да, представь себе!

Александр. Представляю! Вы решили выжать из меня последние соки! Могу вас огорчить – это займёт немного времени!

Галя. Вместо «спасибо»!

Александр. Спасибо!

Галя. Можно подумать, что твоя мать для нас что-то делает! Раз в год принесёт килограмм мяса и хочет, чтобы её за это на руках носили!

Александр. Она приходила в последний раз!

Галя. С голоду не умрём!

Александр. (*подходит к жене, хватая за платье*). А это у тебя откуда?! Твоя мамаша купила, да?!

Галя. Не смей трогать мою маму!

Александр. Ишь ты, патриотка! Все вы на одно лицо! Семейка!

Галя. Лучше на одно, чем... Хамелеоны!

Александр. Мы?! Хорошо-о! У вас тоже разные лица! Главное – твой папаша!

Галя. Не трогай папу!

Александр. Вечный читатель!

Галя. Папа!

Александр. Не дай Бог, сломаться всем типографиям одновременно – летальный исход!

Галя. Папа!

Александр. Ты ему – «здравствуйте», а он тебе – «варварская агрессия»...

Галя. Папа! *(Выбегает из кухни).*

Александр. Зачем надо выписывать все московские газеты?! Зачем?! «Папа»!

Входит Пётр Васильевич, конечно, с газетой в руках, читает.

Александр говорит вслух, зная, что его не слышат.

Александр. Что пишут?

Пётр Васильевич читает.

Александр. Удивительный человек! Ничто его не берёт. Пётр Васильевич, Зоя Фёдоровна умерла.

Пётр Васильевич не слышит.

Александр. И Галя тоже.

Пётр Васильевич не слышит.

Александр *(громко).* Пётр Васильевич!

Пётр Васильевич. Да.

Александр. Я говорю, Зоя Фёдоровна...

Пётр Васильевич *(Постепенно погружаясь в чтение).* Не обращай внимания. Что ты её не знаешь – куда она не уйдёт. *(Продолжает читать).*

Александр *(громко).* Пётр Васильевич!

Пётр Васильевич. Да.

Александр. Как вам понравилась статья об экстрасенсах?

Пётр Васильевич. Об экстрасенсах?

Александр. Вы же сегодня её читали, забыли?

Пётр Васильевич. Я столько читаю, Санёк, что не грешно и забыть. А вот ты мне скажи, читал ли ты о...

Александр. Я не люблю читать газет.

Пётр Васильевич. Тут ты не прав. Читать надо любить. Главное начать, а потом не оторвёшься. И для здоровья – вот так. Знаешь, как я себя чувствую?

Александр. Пётр Васильевич, а вы по ночам спите?

Пётр Васильевич. Один раз сделал глупость.

Александр. То есть?

Пётр Васильевич. Лучше не спрашивай.

Александр. Что же из этого вышло?

Пётр Васильевич. Выш-ла. Галя. С тех пор читаю. *(Смеется своей шутке, достаёт из кармана газету, даёт Александру).* Попробуй всё-таки. *(Продолжая чтение, уходит).*

Александр. Да, наша страна – самая читающая страна в мире.

Входит Галя.

Галя. Ты ещё здесь?

Александр. Да, я говорил с твоим отцом.

Галя. Ты не собираешься просить прощения?

Александр. У кого?

Галя. Значит, ты не пойдёшь?

Александр. Я не понимаю, почему я должен просить прощения?

Галя. Хотя бы потому, что мы живём вместе!

Александр. По этой же причине это может сделать и она.

Галя. Хотя бы потому, что она моя мать!

Александр. Это не причина.

Галя. Хотя бы потому, что она сидит с нашей дочерью, твои родители этого не делают!

Александр. Это только во вред нашей дочери.

Галя. Значит, пожилая женщина должна просить у тебя прощения?!

Александр. Как умирать – так она молодая, а как прощения просить...

Галя. Ты хочешь её смерти!

Александр. Нет, пусть живет.

Галя. Не дождёшься! Я сама пойду! Может, тебе будет стыдно! Хотя, таким как ты...

Александр. Ну и иди!

Галя. И пойду!

Александр. И иди! Может, воскреснет!

Галя. Идиот!

Александр. Что же ты стоишь?

Галя. Не твое дело!

Александр. Тогда я пойду... спать. *(Выходит).*

Входит Зоя Фёдоровна.

Зоя Фёдоровна. Дети, не надо, не ругайтесь, прошу вас, я хочу вас запомнить дружными...

Галя. О какой дружбе ты говоришь, мама, кончилась дружба!

Зоя Фёдоровна. Не надо кричать, Галочка, будь терпимой. В супружестве надо уметь уступать.

Галя. Я не хочу больше уступать.

Зоя Фёдоровна. Сделай это ради меня.

Галя. При чём здесь ты?

Зоя Фёдоровна. Это моё последнее желание.

Галя. При чём здесь ты, мама?

Зоя Фёдоровна. Ты своими руками заколачиваешь крышку моего гроба.

Галя. Ничего я не заколачиваю. Я развожусь.

Зоя Фёдоровна. Что?!

Галя. Тебе плохо, мама?! Что с тобой?!

Зоя Фёдоровна. Мерзкая девчонка, как ты посмела! Что ты, интересно, о себе думаешь?!

Галя. Успокойся, мама, тебе нельзя волноваться, выпей валерьянки.

Зоя Фёдоровна. Ты что, меня за идиотку считаешь?!

Галя. Ну что ты...

Зоя Фёдоровна. Ты о ребёнке подумала?

Галя. Да.

Зоя Фёдоровна. И что же ты придумала?

Галя. Он будет жить с нами.

Зоя Фёдоровна. Что?! Пусть он забирает его... её себе! С меня хватит! Вот где мне ваши пелёнки! Я – не нянька! Мама стирает, мама одевает, мама кормит, мама гуляет! Хватит!

Галя. Но...

Зоя Фёдоровна. Я молодая женщина, у меня есть свои интересы! Я хочу в театр ходить, в кино!

Галя. Я тебе буду помогать!

Зоя Фёдоровна. Ты?! Пусть его... её забирают они! Пусть и они хлебнут!

Галя. Я не отдам им ребенка!

Зоя Фёдоровна. Я соглашусь только на этих условиях. Неделю у них, неделю у нас!

Галя. Я не отдам ребенка!

Зоя Фёдоровна. Раньше надо было думать! Кто тебя гнал замуж, кто?! Я тебе говорила – подумай, теперь выкручивайся, как хочешь! Я всегда относилась с предосторожностью к твоему мужу!

Галя. Ты мне об этом не говорила! И потом, мы любим друг друга!

Зоя Фёдоровна. Любишь кататься, люби и саночки!..

Галя. Мама!

Зоя Фёдоровна. Вы, значит, любите, а я – вкалывай!

Галя. Я сама буду с ним... с ней!

Зоя Фёдоровна. Ты хоть знаешь, кто у тебя: он или она?!

Галя. Ты только что умирала!

Зоя Фёдоровна. Умру, когда время придёт, и не надо меня подгонять!

Галя. Я не к тому – ты волнуешься...

Зоя Фёдоровна. Поздно вспомнила, доченька!

Звонок в дверь.

Зоя Фёдоровна. Иди, открывай. К вам опять! Умереть спокойно не дадут!

Галя выходит.

Зоя Фёдоровна. Воспитывали, воспитывали, воспитали себе на шею. *(Зоя Фёдоровна отворачивается к плите).*

Действие переносится в комнату.

Пётр Васильевич сидит на диване, читает газету. Рядом стоит Александр.

Александр. Пётр Васильевич!

Пётр Васильевич. А?

Александр. Я хочу вам...

Пётр Васильевич. Тебе не показалось, что кто-то звонил?

Александр. Галя откроет. Пётр Васильевич, я хотел...

Пётр Васильевич. Они не услышат, они там ругаются...

Александр. Услышат.

Пётр Васильевич. Всё же надо проверить, неудобно заставляя людей ждать.

Александр. Уже открыли.

Пётр Васильевич. Вряд ли. Пойду, проверю.

За дверью слышатся голоса.

Пётр Васильевич. А ведь ты был прав, слышали. Ты что-то хотел мне сказать?

Александр. Я хотел сказать, что...

Пётр Васильевич. Интересно, кто это пришёл?

Александр. Пётр Васильевич!

Открывается дверь. Входят Виктор Сергеевич и Ирина Антоновна. Слышен голос Гали. Она говорит входящим: «Я сейчас».

Пётр Васильевич (искренне): Виктор Сергеевич, Ирина Антоновна!

Виктор Сергеевич. Здравствуйте, Пётр Васильевич, здравствуй, Саша.

Ирина Антоновна. Здравствуй, сынок.

Александр. Кто к нам пришел!

Ирина Антоновна. Мы были в вашем районе и решили зайти... Ничего?

Пётр Васильевич. Хорошо, очень хорошо, садитесь.

Виктор Сергеевич (Саше). Ты чем-то недоволен?

Александр. Доволен.

Виктор Сергеевич. Пойдём, Ирина.

Пётр Васильевич. Да что вы? Куда это? Зоя! Зоя! Иди быстрее! Никуда я вас не отпущу!

Входит Зоя Фёдоровна, у неё больной вид, говорит еле-еле.

Зоя Фёдоровна. Что случилось, Петя? Здравствуйте, Виктор Сергеевич, здравствуйте, Ирина Антоновна.

Виктор Сергеевич и Ирина Антоновна. Здравствуйте, Зоя Фёдоровна.

Пётр Васильевич. Вот, решили уйти. Только пришли и сразу уходить.

Зоя Фёдоровна. Ну, что вы, мы вас не отпустим.

Виктор Сергеевич. Мы на секунду.

Ирина Антоновна. Мы тут мясо купили, надо его в холодильник...

Зоя Фёдоровна. У нас полно еды, зачем?

Ирина Антоновна. Вы плохо себя чувствуете?

Александр. Сколько здесь мяса?

Ирина Антоновна. Три килограмма.

Александр. Ага!

Ирина Антоновна. Это вырезка, Саша.

Александр. Значит, всё-таки три!

Ирина Антоновна. Кончится, мы ещё принесём...

Александр. Хватит, этого достаточно. *(Быстро выходит).*

Ирина Антоновна. Вы нас простите, мы, наверное, не вовремя.

Зоя Фёдоровна. Это вы меня извините, что я в таком виде.

Пётр Васильевич открывает газету.

Ирина Антоновна. Что с вами?

Виктор Сергеевич. Ира, Зое Фёдоровне нездоровится, пойдём.

Зоя Фёдоровна. Сидите-сидите, ничего, я сейчас приду в себя.

Ирина Антоновна. Вам надо лечь, а мы пойдём, извините.

Входит Галя, за ней Александр.

Галя. Ирина Антоновна, сколько вы приносили в прошлый раз мяса?

Зоя Фёдоровна. Ты что, Галя?

Ирина Антоновна. Не помню, Галочка. Наверное, килограмм.

Галя. Я же говорила.

Ирина Антоновна. Так получилось, что у меня не было больше денег...

Галя. Мы просто поспорили с Сашей: он говорит, что вы приносили столько же, сколько и сегодня, а я хорошо запомнила, что вы принесли ровно килограмм.

Александр. По-моему, мы не о том спорили, но уж если говорить о мясе, то мама приносила столько же, сколько и сейчас!

Ирина Антоновна. Может быть, я не помню...

Галя. А я отлично помню – меньше.

Александр. Ничего подобного! Три килограмма!

Ирина Антоновна. Стоит ли из-за этого...

Галя. Один!

Ирина Антоновна. Может, я забыла?

Александр. Конечно, забыла! Ты приносила три килограмма, три!

Ирина Антоновна. Да, может быть.

Александр. Не может быть, а точно!

Ирина Антоновна. Пожалуй, ты прав.

Галя. Мама! Ты делала из этого мяса котлеты! Сколько вышло котлет?!

Зоя Фёдоровна. Не знаю, я плохо себя чувствую.

Галя. Двадцать!

Ирина Антоновна. Вы очень много кладёте хлеба.

Зоя Фёдоровна. Чтобы котлеты вышли сочными, нежными и не жёсткими, надо, Ирина Антоновна, класть хлеба ровно столько, сколько кладу я.

Ирина Антоновна. Я же не потому говорю, что вы много кладёте хлеба...

Зоя Фёдоровна. А насчет мяса, мне тоже кажется, что вы принесли килограмм.

Ирина Антоновна. Я не помню.

Зоя Фёдоровна. Точно, только теперь начинаю вспоминать – килограмм. Оно

ещё было в целлофановом пакете.

Ирина Антоновна. Я всегда приношу в целлофановых пакетах...

Зоя Фёдоровна. Я достала его и как раз подумала, что кусок небольшой...

Ирина Антоновна. У меня не было с собой денег, случайно...

Зоя Фёдоровна. Килограмм.

Галя. Конечно, я же помню.

Ирина Антоновна. Да, наверное, килограмм, вы правы.

Александр. Вы ошибаетесь, кусок был такой же большой. *(Ирине Антоновне).*

Вспомни, мама!

Ирина Антоновна *(Виктору Сергеевичу).* Я не помню!

Галя. Виктор Сергеевич, вспомните.

Александр. Пап, скажи.

Зоя Фёдоровна. Виктор Сергеевич.

Маленькая пауза.

Виктор Сергеевич вспоминает.

Виктор Сергеевич. Два. Два килограмма.

Небольшая пауза.

Галя. Но не три же.

Ирина Антоновна. Правильно, два, как я забыла.

Галя *(Александрю).* Ты проиграл.

Александр. Там было три килограмма.

Галя. Ты что, глухой?

Зоя Фёдоровна. Из двух килограммов не может выйти двадцать котлет. Сорок – может, но не двадцать. А я точно помню – мяса больше не оставалось.

В это время встаёт Пётр Васильевич и направляется к двери.

Зоя Фёдоровна. Петя, ты куда?

Пётр Васильевич. Проверять!

Зоя Фёдоровна. Что?

Пётр Васильевич. Сколько выйдет из трех килограммов! Если двадцать *(Гале)*, то проиграла ты, если шестьдесят – ты!

Зоя Фёдоровна. Зачем? Это же просто спор.

Пётр Васильевич. Мне интересно. Мне очень интересно, сколько может выйти котлет! Я всю жизнь мечтал об этом узнать!

Зоя Фёдоровна. Петя!..

Пётр Васильевич. Не останавливайте меня! Я буду крутить!

Зоя Фёдоровна. Петенька, успокойся, я налью тебе валерьянки.

Пётр Васильевич. Мне?! Это вам надо валерьянки! А мне надо крутить мясорубку!

Галя. Папа, возьми газету.

Пётр Васильевич. Что?! Вы мне газетой рот не затыкайте! Я всё вам скажу в лицо! *(Выходит).*

Зоя Фёдоровна (*смущенно*). Вот упрямый какой... Вы уж нас извините... Нервы. Он сейчас отойдёт. (*Выходит*).

Виктор Сергеевич. Саша, иди помоги Петру Васильевичу.

Александр. Он первый раз так разошёлся.

Виктор Сергеевич. Тем более его надо успокоить.

Александр. Что он так из-за этих котлет?.. (*Выходит*).

Пауза.

Виктор Сергеевич (*Гале*). Не вовремя мы пришли, да? Тяжело жить с родителями.

Ирина Антоновна. Может быть, им у нас пожить?

Виктор Сергеевич. Где у нас?! На кухне?! Ты забыла, что наша квартира однокомнатная?!

Галя. Нам пока и здесь места хватает.

Виктор Сергеевич. Меня просто возмущает, что человек говорит, не думая. Что в голову взбредёт, то несёт. А так, я буду только рад, я люблю, когда много народу.

Галя. Не беспокойтесь.

Виктор Сергеевич. А знаешь... переселяйтесь-ка, действительно, к нам, берите Шурку и завтра с утра – к нам. Заживём что надо! Так и договорились – завтра же вы у нас.

Галя. У вас очень тесно.

Ирина Антоновна. В тесноте, да не в обиде.

Виктор Сергеевич. Ждём.

Галя. Нет. Мы не сможем.

Виктор Сергеевич. Почему?

Галя. Ну... Сашенька... Ей нужен воздух... покой... А какой покой, когда пять человек на двадцати квадратных метрах?

Виктор Сергеевич. Это, Ира, она права.

Ирина Антоновна. Да...

Небольшая пауза.

Галя. Что-то они там застряли.

Виктор Сергеевич. Мясо крутят.

Галя. Пойду, посмотрю. Не поругались бы они с мамой.

Ирина Антоновна. Иди, Галочка, иди.

Галя выходит.

Виктор Сергеевич. Ну и ну!

Ирина Антоновна. Господи, бедные дети...

Виктор Сергеевич. Сумасшедший дом! Как здесь можно жить?!

Ирина Антоновна. Ты прав, им надо жить у нас. Мы можем пожить и на кухне, а...

Виктор Сергеевич. У нас?! Молись, что они живут здесь. А то они тебе

устроят – сама согласишься на лестницу переселиться.

Ирина Антоновна. Но ты же сам только...

Виктор Сергеевич. А что я должен был говорить – нет, только не у нас? Да она и сама не хочет, понимает, что тесно.

Ирина Антоновна. Да...

Виктор Сергеевич. Жалко Сашку.

Ирина Антоновна. А может, мы её возьмем? Хоть она пусть поживёт с нами.

Виктор Сергеевич. Я о сыне говорю. Жаль его, испортят они парня. Уже испортили... Всё эта Галя. Ты заметила, она нас ненавидит. Как она нас встретила! Я думал – съест. Вся в мать. Яблоко от яблони... Не повезло сыну, не повезло...

Входит Пётр Васильевич. За ним – все остальные.

Пётр Васильевич. Отстаньте от меня! Я хочу докрутить мясо! Дайте мне докрутить мясо!

За ним ходит Зоя Фёдоровна с чашкой и пузырьком в руках.

Зоя Фёдоровна. Петенька, выпей валерьянки, я прошу тебя.

Пётр Васильевич. Отойди!..

Зоя Фёдоровна. Ну, пожалуйста...

Пётр Васильевич. Отойди, я сказал!

Зоя Фёдоровна. Очень тебя прошу...

Пётр Васильевич. Зоя, ты меня плохо знаешь!

Галя. Мама, ты же видишь...

Александр. Пётр Васильевич, я сам докручу мясо...

Пётр Васильевич. Мясо буду крутить только я!

Зоя Фёдоровна. Петя, что с тобой случилось, почему ты?..

Пётр Васильевич. Добром прошу!

Александр. Пётр Васильевич!..

Галя. Саша, не трогай папу.

Пётр Васильевич. Не трогайте меня!

Зоя Фёдоровна. Петя, что ты от нас хочешь?

Пётр Васильевич. Я хочу крутить мясо!

Зоя Фёдоровна. Господи!

Галя. Мама, папа хочет крутить мясо!

Зоя Фёдоровна. Пусть крутит, пусть! Пусть делает, что хочет!

Пётр Васильевич. Ручку!!! Дайте ручку от мясорубки! Кто взял ручку?!

Галя. Саша, отдай папе ручку!

Александр. Пожалуйста, Пётр Васильевич.

Пётр Васильевич. И не смейте мне мешать! *(Выходит).*

Зоя Фёдоровна. Я так больше не могу! Что с ним? Он сейчас прокрутит всё мясо, что я с ним буду делать? Зачем нам столько фарша?

Александр. Он прекрасно хранится в морозилке, Зоя Фёдоровна.

Галя. Мама, не стоит из-за этого...

Зоя Фёдоровна. Конечно, готовить не вам!

Виктор Сергеевич. Вы уж очень близко к сердцу, Зоя Фёдоровна, так нельзя.

Зоя Фёдоровна. Я не из-за мяса, Виктор Сергеевич, мне Петю жалко...

Входит Пётр Васильевич.

Пётр Васильевич. Котлеты уже можно начать делать. Зоя, ты слышишь?!

Зоя Фёдоровна. Да, Петя...

Пётр Васильевич. Иди, делай котлеты!

Зоя Фёдоровна. Ты хочешь прямо сейчас?

Пётр Васильевич. Да!

Зоя Фёдоровна. У нас гости...

Ирина Антоновна. Здравствуйте, Пётр Васильевич...

Пётр Васильевич (*Ирине Антоновне*). Вы хотите котлеты?!

Ирина Антоновна. Да...

Пётр Васильевич. Она хочет! Галя, иди делай котлеты! Все идите! Здесь остаются только гости! И я! Вперёд!

Александр. Пётр Васильевич...

Пётр Васильевич. Вперёд, я сказал!

Галя. Папа, это очень долго – делать столько котлет.

Пётр Васильевич. А спорить об этом столько времени – не долго?! На кухню!

Александр. Вы меня простите, Пётр Васильевич, но я не умею делать котлеты.

Пётр Васильевич. Научат, они тебя всему научат!

Зоя Фёдоровна. Ирина Антоновна уже не хочет котлет.

Ирина Антоновна. Да...

Пётр Васильевич. Ах, не хочет!

Зоя Фёдоровна. И я не собираюсь их делать!

Пётр Васильевич. Не собираешься! Сейчас я тебя соберу! А ну – на кухню!

Зоя Фёдоровна. Петя!

Пётр Васильевич. К плите!!!

Зоя Фёдоровна. Петя!

Пётр Васильевич. Что – Петя?!

Зоя Фёдоровна. У нас гости!

Пётр Васильевич. Эти гости нам не чужие! Не чужие! Повторяю – не чужие!

Зоя Фёдоровна. Я тебя умоляю!..

Пётр Васильевич. А то умрёшь?! Она очень любит умирать и уезжать в другие города! Ежедневно!

Зоя Фёдоровна. Петя, возьми газету!

Пётр Васильевич. Начитаюсь ещё, не волнуйся, вон, выпей валерьянки! А детей как она любит! Особенно зятя! Жить без него не может. Так и говорит – если бы не зять!..

Галя. Папа, подумай, что ты...

Пётр Васильевич. И дочь её обожает! Каждый день! Зайдёт к ней и начинает обожать! Обожает, обожает... Сначала незаметно, но потом всё больше и больше, и, в конце концов, лучше кому-нибудь из них выйти, а то!..

Александр (Виктору Сергеевичу). Ты хотел что-то сказать...

Пётр Васильевич. Но любовь зятя к моей жене сравнить нельзя ни с чем!

Александр. (Виктору Сергеевичу). Папа...

Пётр Васильевич. Он её любит, как лягушка муху! Спокойно, молодой человек, я не всё сказал! Его так и тянет к ней! Жить без неё не может! Здравствуйте, дорогие наши, уважаемые родственники!

Ирина Антоновна. Здравствуйте...

Пётр Васильевич. Низкий поклон вам, уважаемые хамелеоны! Я так говорю, дочка? Вы всегда желанны в нашем доме, так что, чем чаще вы будете припираться и торчать у нас с вашим тухлым мясом!.. Я что-то забыл, Зоя? Тем приятнее будет нам! Мы все вас любим! А Саша – в первую очередь! Когда, говорит, придут мои старпёры? Не надо переводить это слово? Я, говорит, люблю их, и жить без них не могу, как, говорит, без хрена. Очень он любит хрен, знаете ли. Вот так. От любви никуда не деться! Особенно мне! Хорошо, что газеты читаю. Что это с вами? Молчите? А-а-а, да-да-да, понимаю. Что же я на вас напал? Бедные вы мои. Ни за что, ни про что на честных людей!.. Это же я виноват! Зачем слушал?! Простите, родные мои! Не судите строго! Не виноват, голоса у вас больно громкие! Отпустите грехи мои тяжкие! На коленях прошу! Не хотите? И я не хочу. Не хочу участвовать во всём этом, не хочу! Всё! Можете не делать котлет! Да здравствует любовь! *(Берёт газеты, садится, начинает читать вслух).* «Колхозные будни. Сегодня нам хотелось поговорить о трёх колхозах Подмосковья. Разговор будет длинным и откровенным. Итак, первый колхоз – ”Красное Солнышко“. Чего здесь только ни увидишь! Ни один клочок земли ”Красного Солнышка“ не пропал даром. Директор колхоза сказал нам следующее: ”Это была одна из главных задач для нас – ничто не должно пропадать. Вот здесь, где сейчас растёт эта крупная отборная пшеница, была огромная земляная возвышенность. Могли ли мы раньше обрабатывать эту гору? Нет. А теперь? Главное – относиться ко всему по-хозяйски, и тогда будет результат. И землю нашу надо любить и ценить. Она – кормилица наша, и от нас, только от нас зависит, будет она отвечать взаимностью или нет“». Прекрасные слова! Ну что ж, едем, как говорится, дальше. Колхоз «Заря Востока». «Официальная сводка».

Одновременно с чтением газеты, со слов «директор совхоза сказал нам

следующее...» происходит диалог.

Зоя Фёдоровна. Господи!

Галя. Папочка, что с тобой?

Зоя Фёдоровна. Петенька, хватит читать. Ты слышишь меня? Петя! Зачем так нервничать? Петя! Хватит!

Галя. Пап, ну хватит. Папулечка! Саша, принеси воды!

Только теперь Александр и Ирина Антоновна приходят в себя.

Александр. Да, да, конечно, я сейчас. *(Выбегает).*

Зоя Фёдоровна. Ну, мы тебя все просим, остынь... Я не понимаю, что с ним случилось... Всё эти проклятые котлеты...

Входит Александр с водой.

Галя. Папочка, выпей воды.

Пётр Васильевич. *(читает).* «Колхоз ”Заря Востока ” не выполнил плана этого года по продаже семян государству»...

Галя. А?

Пётр Васильевич. «Колхоз ”Заря Востока ” не выполнил плана по продаже мяса государству»...

Зоя Фёдоровна. Какой ужас!

Пётр Васильевич что-то бубнит, но что именно, понять уже невозможно.

Галя. Выпей.

За стеной тихо плачет ребенок.

Зоя Фёдоровна. Господи, боже мой!

Ирина Антоновна. Успокойтесь, Зоя Фёдоровна, не надо так убиваться, всё ещё уладится.

Зоя Фёдоровна. Раньше этого никогда не было! Первый раз за всё время. Он был всегда таким тихим!

Ирина Антоновна. Сядьте, милая. Нельзя так убиваться.

Зоя Фёдоровна. Дурацкие котлеты!.. Может, вызвать неотложку?

Галя. Он успокоится.

Александр. С чего ты решила?

Галя. Устанет и успокоится.

Зоя Фёдоровна. Что ты говоришь, Галя, подумай, что ты говоришь, это же твой отец!

Галя. Ну, давай вызовем неотложку.

Ирина Антоновна. Галочка, не надо волноваться...

Зоя Фёдоровна. За что мне это?!

Ирина Антоновна. Нехорошо получилось с этими котлетами...

Зоя Фёдоровна. За что?!

К этому моменту голос Петра Васильевича пропадает совсем, однако, он этого не замечает и рот его продолжает открываться и закрываться.

Зоя Фёдоровна. Не слышу. Ничего не слышу. Петя, я ничего не слышу! Я

оглохла!!! Галя!

Галя. Мама.

Зоя Фёдоровна. Я – глухая?!

Галя. В таком случае – я тоже.

Зоя Фёдоровна. И ты?!

Галя. Приятно поговорить с глухим человеком.

Зоя Фёдоровна. Ты зря смеешься – это страшная болезнь!

Галя. Мама!

Зоя Фёдоровна. Что – мама?! Что – мама?! Мама!..

(Вдруг понимает, что слышит).

Александр. Он потерял голос.

Зоя Фёдоровна *(Петру Васильевичу).* Так ты нарочно?! Ты издеваешься?!

Галя. Мама, папа потерял голос!

Зоя Фёдоровна. Спасибо тебе, Петенька!

Ирина Антоновна *(Виктору Сергеевичу).* Зачем ты купил мясо?..

Зоя Фёдоровна. Самое время рыть себе яму!

Ирина Антоновна *(Виктору Сергеевичу).* Я ведь говорила – только фрукты!

Александр, *(Гале).* Довела отца!

Галя. Я довела?!

Александр. А кто – я?!

Ирина Антоновна. Только фрукты!

Зоя Фёдоровна. Я ухожу навсегда, хватит, намучилась, прощайте!

Постепенное затемнение.

Галя. Ты!

Александр. Нет, ты!

Ирина Антоновна. Фрукты!

Зоя Фёдоровна. Неужели и там *(показывает вверх)* – так же?!

КОНЕЦ

БОРИС ШАПИРО

ДЕСЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

И сказал Господь старейшинам общины:
 «Соберите умных и способных,
 дипломатов ловких и речивых,
 лицедеев, чтобы на театре
 притворялись, будто бы в натуре,
 и купцов, которые копейку
 сосчитают со рублёвой пользой,
 а ещё радивых лейтенантов,
 чтоб умели одного солдата
 в три широких выстроить шеренги
 и на штурм в атаку повести.

Обещайте им большой прибыток,
 посулите золотые горы
 и награды, и почёт в народе,
 и огромный, жирный пенсион.
 Отберите тех, кого посулы
 соблазнят, в ком разожгут надежду,
 кто себя захочет посвятить
 должному служению народу
 в форме укрепления государства,
 Федеральных Служб Благословенья,
 и его вооружённых сил».

И сказал Господь старейшинам общины,
 повторил и далее продолжил:
 «Изо всех пригодных аспирантов
 изыщите истинно ретивых
 и устройте тайный им экзамен,
 отыщите вора среди них.
 Отыщите вора-демагога,
 чтоб не голова, а синагога,
 чтобы вместе дума и парламент,
 директория, совет, синод и Кнессет,

и консилиум была его глава.
Потому что лучшим дипломатом,
потому что лучшим лицедеем
и купцом, вождём и паханом,
тем, кто может одного солдата
в три широких выстроить шеренги
и на штурм в атаку повести,
и хранить о том крутую тайну,
и почётом тешиться народным,
притчею страшиться во языцех,
на кону играть и жить в законе
может только настоящий вор.
Среди всех таких найдите вора
и поставьте во главу общины.
Пусть водитель будет он народа,
будет предводитель государства,
Федеральных Служб Благословенья
и его вооружённых сил.
С вором будем мы непобедимы,
с вором во главе свершится чудо –
воровство в масштабах всей страны
обратит зелое зло на пользу,
а ту пользу превратит в добро».

Господи, яви Твоё нам чудо!
Помоги найти такого вора,
чтобы пользу превратил в добро.
Зло всегда кому-нибудь на пользу.
Дай нам мудрости, о Боже, дай нам чуда
отличить добро от нашей пользы!
Господи, яви такого вора,
просвети его и образумь!
Чтобы он не пользу, а добро
созидал себе и нам во славу.
Всей общиной скажемте: «Аминь!»

...как будто древопитеки...

Дмитрий Мельников

Да, действительно древопитеки.
 Стоим, обнявшись, сплетясь корнями
 и кронами свив поцелуй, вовеки
 размениваем тысячелетия днями.
 Мы. Мысленно мы деревья.
 А телесно – всего лишь напоминанье
 о том, что душа – это так, обостренье
 бессмертия, существования.
 Только нас, только музыку и дыханье
 в рот изо рта и из сердца в сердце
 вящее стерпит повествованье
 о любви, о жизни, о смерти.
 Только смерти, конечно, нету
 там, где любовь и жизнь.
 Там рифма тянется к свету,
 приветит любовную брызнь.

ВАЛУН

Пыль унесена ветром. Песок вымыт водой.
 Остался один валун. О нём поёт козодой:
 Валун, валун, ты выше облаков,
 ты не гора, ты – горы. Горы в облаках.
 В прошлое ходить бесполезно.
 Горы продолжают облаками,
 умные продолжают дураками.
 Облака отдыхают
 на вершинах твоих заблуждений.
 И моих, и моих, и моих!
 В прошлое спускаться ни к чему.
 О, валун!

ПСАЛМ LXVI

Благословен Ты, Господь,
царь Вселенной!
Господи мѹдрый и блáгий,
преодолей немощь Твою,
водитель души!
Одари могуществом волю мою
и равновесием душу!
Одари могуществом волю
мною самим управлять.
Господи, сделай мне благо,
пожалуйста, сделай,
чтобы очистилось будущее
от страданий,
чтоб желание мести
не оскверняло мне душу.
Чтобы не мой был бы суд
над злыднем и подлецом,
а только бы Твой чтобы суд
милость и справедливость
в одной руке единил.
Ты, только Ты,
лишь только Тебе
в одном деянии светлом
пользу с Добром
удаётся соединять.

ОКАЗАЛОСЬ, единый в трёх лицах –
иудей, еврей, израильтянин –
я поставлен когеном трудиться.
А ещё оказалось – землянин.
Мой Израиль – не буду таиться –
царство Духа. Я иррегулярен.
Я, полярен и партикулярен,
тщу с Пространством и Временем слиться.
Где ты, Разум Вселенский, в Талмуде,
чтобы остановиться в прелюде?
Но верёвочке, сколько ни виться,
а конец обязательно будет.
Нет, не будет! Не будет! Мы, люди,
жизни мы не дадим завершиться.

НОСТАЛЬГИЯ

А Ленин и теперь живее всех живых.
Требуйте долива после отстоя!

Собрание литераторов
вдыхает эпитафии,
выдыхает рифмы –
силлабо-тоническое искусство быть.
Быть-бытовать избыть вплоть до забыться
истинным забытьём,
вполне похожим на правду
от древа познания Добра-и-Зла,
истинного познания
неразличимости или...
Аплодисменты взорвали
историческую тишину.
Над собранием взмыло
облако неухлопанной моли.

Какая маленькая смерть –
игра, игра, игра!
А жизнь в игре – благая весть,
особенно с утра.
Особенно, когда язык
переполняет рот,
недопроснувшийся мужик
«шма Израэль» поёт.
Недопроснувшийся мужик,
конечно, это я.
Сегодня здесь, а завтра – пшик,
как песня воробья.
Как будто щебет из куста,
так Моисею Бог
приказ отдал, идти туда,
откуда сам прибёт.
Ой, верой веруем, примерь,
как вера правит нас,
чему нас учит жизнемер

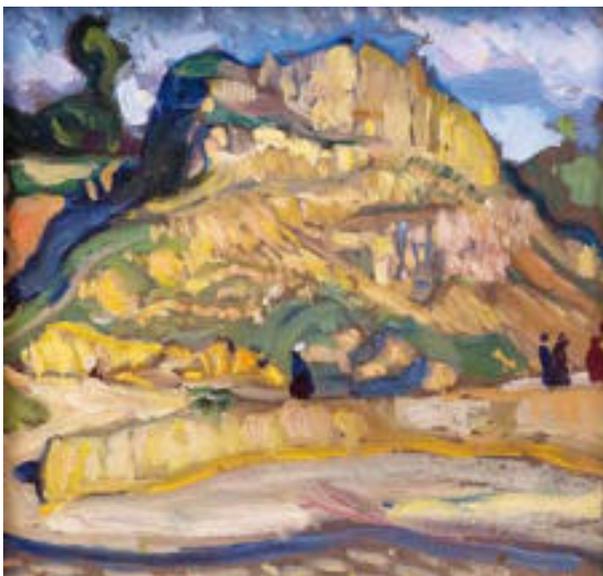
и в профиль, и в анфас.
Неопалимый мой язык,
и куст неопалим.
В нём воробьишки прыг да шмыг,
их писк неодолим.
Такой же щебет у детей,
когда их водят в ряд.
Они из будущих вестей
нам жизнь наговорят,
что жизнь – весёлая игра,
игра в большой ништяк,
и жизнь – игра, и смерть игра –
ненадолго, пустяк.
Сейчас зима, весна вчера,
а наша вера – твердь.
Вся жизнь надёжна, как игра,
как маленькая смерть.

Июль дозрел до середины
и повернул на осень бронзовые стрелки.
Тут чьи-то песни лебедины
ещё не начали звучать.
Им дни не глубоки, и ночи им не мелки.
Ни сердцем внять, ни умозаключать,
как, почему, минорна ли тональность?
Или в мажор торжественно умрёт
то время нежных снов?
Как сладостна банальность,
когда не опытом, а счастьем полон рот!
И из него мелодия сочится,
за словом слово и за звуком звук,
пока кружится голова от аромата
канцон, перкуссий, од, прелюдий, фуг.
Но надо всем над этим царствует фермата.
Июль дозрел до середины
и стрелки повернул на осень.
И день его теперь звучит из-под сурдины,
и ритм становится несносен...

ПСАЛМ LXXVIII

Прошли, прошли осенние мотивы.
Они как изморозь на ветках светлой ивы,
как будто бы теперь не быть беде.
А тёмный омут? Нет его нигде!
Тот омут злой, в нём истина ночует,
и те пески, где бедуин кочует,
огонь, вода, и бешеная бе-
да. Да, да, да, да, играют на трубе.
Да, вместе все они дудят одно и то же,
что жизнь твоя на трубный рёв похожа,
в мундштук задули дух, а из растрёба смерть
иди, твердит, проверь, насколько твердь
небесная тверда, и сколько жизнь надёжна,
что можно в ней, и взвесь, чего не можно.
Чего осколки держат синеву,
что грезится во сне, что наяву
приходит как судьбы волшебный дар,
и что как само-льщения угар.
И если ты пролезешь сквозь трубу,
то обретёшь свободу на горбу.
Свободу жить, свободу умереть,
свободу верить и свободу петь,
свободу отрицать, свободу жить сквозь мглу,
свободу возносить Всевышнему хвалу,
свободу отличать Добро от Пользы,
свободу быть в Начале, а не возле.
И в множестве свобод, которым несть числа,
творить свободу жить достанет ремесла.

20.07.2019



Н. Альтман. Пейзаж.

ПУБЛИЦИСТИКА, МЕМУАРЫ, ЭССЕ

БОРИС Э. АЛЬТШУЛЕР

ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ГРИШИ ИЗ ЧЕРНОПОЛЯ»



Грегор фон Реццори (1914–1998)

К знатокам идиши относится герой нашего очерка, прекрасно владевший им с детства, уроженец Черновцов, полиглот и космополит, знавший восемь языков, – потомок аристократов Сицилии, писатель, радиожурналист, киносценарист, киноактёр и галерист Грегор фон Реццори.

Галиция с Карпатами – удивительный регион. Когда-то, во второй половине X века, после разгрома Хазарского Каганата киевским князем Святославом и последовавшего за ним нового переселения народов, здесь прошли и осели полчища жестоких печенегов, ставших позже «белыми хорватами». Население образовало Королевство Галиции и Лодомерии (лат. *Regnum Galiciae et Lodomeriae*; нем. *Königreich Galizien und Lodomerien mit dem Großherzogtum Krakau und den Herzogtümern Auschwitz und Zator*; польск. *Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwem Oświęcimia i Zatoru*; укр. *Королівство Галичини та Володимирії з великим князівством Краківським і князівствами Освенцима і Затору*) с герцогством Буковина. Коронная провинция на востоке Габсбургской монархии со столицей во Львове была образована после раздела Речи Посполитой в 1772 г. и включала в себя Галицию и Малую Польшу. Она была населена преимущественно поляками, украинцами, русинами и евреями. Гуцулы населяли юго-восточные части Карпат в пределах Галичины, Буковины, Закарпатья. Герцогство Буковина имело точно такой флаг, как и Галиция.

Первые упоминания о евреях во Львове относятся к 1356 г. Появилась и вскоре стала очень заметной еврейская община. Уже в конце XIV века львовский еврей Волчко был кредитором нескольких королей. К 1500 г. евреи жили в 18 городах Русского воеводства. Казимир III даровал им многочисленные льготы и привилегии, что весьма способствовало быстрому экономическому росту еврейского населения, а также всей Галиции. Со временем евреев здесь стало так много, что Галицию стали называть Галилеей. Это и сегодня одна

из этимологий названия региона. Численность евреев росла из века в век, и ко второй половине XIX столетия евреи составляли уже более 10% жителей Галиции. Себя евреи региона нередко называли «галицианцами» и слыли людьми ушлыми и остроумными. Помимо талмудических евреев, говорящих на идиш, в Галицию из Крыма прибывали караимы. Первые из них появились ещё в 1246 г. по приглашению великого князя Киевского и Первого короля Галицкого Даниила Романовича. Галиция, Волынь и Северная Буковина стали многонациональными и многоэтническими территориями. На Украине жили знаменитые писатели Запада. Достаточно указать на то, что во Львове (Лемберге) в 1836 г. в семье начальника полиции Королевства Галиции и Лодомерии родился Леопольд фон Захер-Мазох, ставший известным немецким писателем, *крёстным отцом* определения «мазохизма», много писавшем о Галиции и о евреях («Еврейские истории», 1878; «Польские еврейские рассказы», 1886). А на Житомирщине, в поместье своей возлюбленной, а затем жены, Эвелины Ганской, жил и творил выдающийся французский классик XIX-го века, писатель-реалист Онорé де Бальзак.

В публикациях об ашкеназийской диаспоре постоянно встречается упоминание столицы Буковины, города Черновцы/Tschernowzy (укр. Чернівці; нем. Czernowitz/Tschernowitz; рум. Cernău; польск. Czerniowce; hebr. צ'רנוב'יץ). Этот небольшой город в Карпатах по соседству с Подольей дал миру многих выдающихся людей. Вот что писала Роза Ауслендер:

«С 1514 г. на четверть тысячелетия Буковина попадает под владычество турок, а с 1775-го входит в состав Габсбургской монархии, в которой получила статус отдельной королевской провинции. Накануне Второй мировой войны 160–170 тысяч населения Черновцов составляли немцы, украинцы, евреи, румыны, а также „нацменьшинства“ – поляки и венгры. Пёстрый и многогослойный город, в котором германская, романская, славянская и еврейская культуры проникают друг в друга. Город, отошедший после Первой мировой войны к Румынии, вплоть до советской аннексии, по сути, оставался австро-венгерским».

Из Подолья вышла первая жена еврейского псевдомессии XVII века Шабтая Цви, история жизни и метаний которого окончила еврейское средневековье. После периода исканий и скитаний мистик Шабтай прибыл в Каир, где с великими почестями был принят местным богачом Рафаэлем Халби. Тот искренне поверил мессианству Шабтая и обрадовался, узнав, что *Машиах* избрал резиденцией именно его дом. В свою бытность в Каире Шабтай женился на молодой девушке Саре из украинских Карпат. По каббалистическим соображениям последователи Шабтая Цви называли Сару «Ривкой».

В шестилетнем возрасте на глазах ребёнка казаки Хмельницкого зверски убили её родителей, а девочку отдали на воспитание в католический

монастырь, откуда она сбежала. В тогдашней Польше Сара не могла открыто вернуться к иудаизму, поэтому её отправили в Амстердам, где она встретила со своим, пережившим резню казаков, братом. Там стала рассказывать, что видела во сне, будто ей надлежит выйти замуж за *Машиаха*. Из Амстердама девушка отправилась в Ливорно, откуда Шабтай приказал своим сторонникам доставить её в Каир. Там экзальтированная пара с большой пышностью отпраздновала свадьбу. В 1666 г. Шабтай, лидер массового прото-сионистского движения XVII века, очевидно страдавший от приступов маниакально-депрессивной болезни, отправился в Стамбул, был схвачен полицией султана Мехмеда IV, попал в заключение и под угрозой смерти перешёл в ислам (надев чалму по тогдашней упрощённой процедуре). Сара последовала за ним, также приняв ислам, и скоро умерла.

Мессианское движение Шабтая Цви способствовало возникновению именно в Карпатах, в Подолье, движения хасидизма (хасидут, идиш «хасидус») в иудаизме, связанное с жизнью и деятельностью его основателя Исаэля Бааль Шем Това (аббревиатура БЕШТ, 1698-1760; настоящее имя каббалиста и целителя – Исаэль бен Элизер). В рамках иудаизма БЕШТ разработал изощрённую мистическую систему, основанную не на интеллектуальном постижении Бога, как это делали учёные каббалисты до него, например «святой АРИ», а на страстном религиозном рвении, доступном простым мирянам. Целью этого учения был «двекут» («прилепление») – единение с Богом. БЕШТ не выступал с публичными проповедями и не писал сочинений, учение излагал лишь своим ученикам. В 1740 г. поселился в Меджибоже (Межбуже), где и протекала его основная деятельность. Постепенно Меджибож стал центром хасидизма. Бааль Шем Тов получал жалованье от местной общины и смог собрать в своей ешиве десятки учеников, которые, в свою очередь, стали лидерами хасидизма в следующем поколении. Бааль Шем Тов умер в 1760 г. (5520 год по еврейскому календарю). Перед смертью он сказал, что выходит через одну дверь и входит в другую. Преемником БЕШТа стал р. Дов-Бер из Межерича, за которым последовала внушительная когорта учеников. Роза Ауслендер писала о Черновцах:

«...более трети жителей составляли евреи, библейские и хасидские легенды носились в воздухе, ими можно было дышать».

Особую роль в коммуникации европейских евреев по сей день в течение вот уже тысячи лет, наряду с ивритом и арамейским языком, играет язык идиш. Это определение языка считается короткой идиомой для обозначения Jiddisch-Daitsch или Jüdisch-Deutsch – одного из трёх больших языков ашкеназов. По мнению специалистов он представляет собой производное западногерманской группы средневерхненемецкого языка наряду с использованием глоссария иврита, арамейского, романских и

славянских языков. Вследствие преследования евреев и вызванных этим больших миграций, язык мигрировал уже в позднее средневековье вместе с его носителями в Восточную Европу, где сложился восточноевропейский идиш. С миграциями миллионов европейских евреев в конце XIX и в начале XX веков восточноевропейский идиш распространился на Запад, и позже попал в новые еврейские центры в Западной Европе, в Америке, а затем в Израиле. Западноевропейский идиш начал исчезать уже в XVIII веке, зато восточноевропейский идиш, в свою очередь, был до Холокоста повседневным языком европейских евреев – ашкеназов. До Второй мировой войны, до Холокоста, *Encyclopaedia Britannica* описывала идиш в качестве седьмого языка мировой культуры.

В 1991 г. профессор лингвистики Тель-Авивского университета Пол Векслер (Paul Wexler) на основе анализа структуры и словаря идиш выдвинул гипотезу, относящую его к группе славянских, а не германских языков. Позже, в книге «Ашкеназские евреи: славянско-тюркский народ в поисках еврейской идентификации» Векслер предложил, вообще, пересмотреть всю теорию происхождения ашкеназов – говорившего на идиш восточноевропейского еврейства. Он рассматривает их не как потомков выходцев с Ближнего Востока, а как коренной европейский народ, происходящий от потомков западных славян-конвертитов, в основном – лужицких сорбов, полабов, кашубов и пр. Позже Векслер включил в число предполагаемых предков восточноевропейских евреев также часть хазар и некоторых восточных славян, живших в Киевской Руси в IX–XII веках. В академических кругах к теории Векслера относятся, как к курьёзу, отражающему скорее политические взгляды автора. Конвертиты несомненно сыграли свою роль в истории ашкеназов, однако современные генетические исследования подтвердили истоки европейских евреев в Северном царстве древнего Израиля.

Первое упоминание о евреях Черновцов относится к 1408 г. В XV–XVII веках еврейское население непрерывно возрастало: из Польши переселялись ашкеназы, из Молдавии – сефарды, однако культурное влияние ашкеназов и языка идиш преобладало – он был, наряду с немецким, основным языком еврейского населения города. А оно было внушительным: по переписи 1910 г. в Черновцах проживало 28 013 евреев (32,8% всего населения).

По инициативе австрийского публициста и бывшего сторонника сионизма Натана Бирнбаума (Nathan Birnbaum, jiddisch: Nosn Birnboym), раннего теоретика еврейской национальной идеи, давшего ей название «сионизм», инициатора Черновицкой конференции по языку идиш и активного борца за его признание, позднее – лидера ортодоксального движения «Агудат Исраэль», – с 30 августа по 3 сентября 1908 г. в Черновцах состоялась знаковая международная конференция по языку идиш [Die Konferenz für die jüdische Sprache (jiddisch – קאָנפֿערענץ פֿאַר דער יודישער שפּראַך)], известная в литературе, как

Czernowitz-Konferenz (jiddisch – קאַנפֿערענץ טשערנאָוויצער). Бирнбаум в своё время был избран генеральным секретарём Всемирной сионистской организации и являлся сподвижником Теодора Герцля.

Расцвет города приходится на 1774 г., когда Буковина в хаосе русско-турецкой войны была оккупирована австрийскими войсками. До того он представлял собой утопающую в грязи улицу, вдоль которой стояли 200 бедных деревянных хат. С началом австрийского правления началась значительная иммиграция, которая принесла с собой в город, где до того проживали украинцы и румыны, – немцев, евреев, армян и венгров. Перед Первой мировой войной в нём проживало 90 000 человек, из которых треть составляли евреи. Превращение Черновцов из провинциального захолустья в мультинациональный университетский город окончилось с началом Первой мировой войны и развалом австрийско-венгерской монархии. В ноябре 1918 г. Румыния аннексировала его и включила в своё королевство. После Второй мировой войны Северная Буковина вошла в состав СССР. Как свидетельство прежнего мультинационального великолепия сегодня в центре города высится «Немецкий дом», а наискосок от него – «Еврейский национальный дом», где проходила историческая конференция по языку идиш. Некоторые крышки канализационных люков города несут на себе и сегодня старую австро-венгерскую штамповку и клейма. Сегодня в Черновцах проживают около 1500 евреев, на рынке продают фаршированную рыбу. Из когда-то 78 синагог работает лишь одна. Евреи оставили важный след в культуре Галиции и Карпат: в прессе, издательствах, литературе и театрах города. Даже бургомистром Черновцов в старое время был два раза избран еврей. В ходу было выражение: «Иерусалим на реке Прут».

В наши дни идиш борется за своё выживание, количество людей, владеющих им, невелико, ни в одной стране мира он не является государственным и держится на плаву, в основном, усилиями энтузиастов и университетов, хотя литературному и культурному наследию на нём могут позавидовать многие более распространённые языки. Вообще, количество говорящих на идиш не так уж и мало и исчисляется сотнями тысяч, но значительная их часть, вероятно большинство, это – ультраортодоксальные евреи, пользующиеся языком для бытовых разговоров, а для молитв – ивритом Торы. А ведь когда-то, относительно недавно, на идиш говорили кварталы больших городов мира, в разных странах выходили книги, газеты и журналы, театры ставили спектакли, снимались фильмы, писались письма и мемуары. При этом были и неевреи, владевшие языком идиш, жившие в разных странах и изучившие его в силу разных обстоятельств. Так, активистом этого языка на Украине был в XIX веке народный герой Устим Якимович Кармелюк, в США, в городе Миннеаполисе, – Флойд Бьернстерне Олсон, рождённый в конце XIX века, который был избран двадцать вторым губернатором штата Миннесота.

В артистической среде Америки знатоком идиш слыла родившаяся в городе Балтимор актриса Клаудиа МакНил. Происхождение у неё самое экзотическое: отец – чернокожий американец, мать – индианка из племени «апаچی». В период между войнами, в польском, в те времена городе Вильно (Вильнюс), знатоком идиш был чистокровный поляк Анджей Виктор Шалли, в России ею была, например, Нонна Лисовская из Таганрога, пережившая гитлеровскую депортацию, давшая свидетельство о Холокосте и известная в США под фамилией своего мужа, как Нонна Баннистер. До Второй мировой войны идиш изучали в университете Тарту в Эстонии, где была собрана внушительная коллекция рукописей и записей полевых исследований. Сегодня уже практически забыто то обстоятельство, что особенно в черте оседлости России было в своё время немало неевреев, владевших этим языком.

В эту плеяду хорошо вписывается имя барона Грегора фон Реццори, о котором идёт речь в очерке. По воспоминаниям Реццори, во время одного из своих перелётов в США, писатель оказался в кресле по соседству с хасидом в полном орнате. Оба разговорились на чистейшем идиш, вспоминая Карпаты и Буковину и, особенно, Черновцы. К концу перелёта обожавший провокации писатель поведал своему собеседнику, что он – нееврей. Изумлённый собеседник поперхнулся, но, подумав, заявил, что с таким идиш его собеседник – кошерен.

У немцев особое отношение к языку идиш, которое основывается, в первую очередь, на близости к средневерхненемецкому позднего средневековья. Об этом пишет в своём новом развёрнутом эссе «Вкусные цветы» («Shmekendike blumen») один из самых видных современных немецких писателей, драматург и германист – д-р Мартин Вальзер, озвучивший в 1998 г. в речи против «моральной дубины» Холокоста и «рутины угроз» позиции «крайне правых» и вызвавший скандал при его торжественном награждении в церкви св. Павла во Франкфурте. К описанному скандалу добавилась личная вражда с выдающимся литературным критиком-евреем Марселем Райх-Раницки. Теперь, в возрасте 87 лет, познакомившись с исследованием американской германистки и идишистки Сузанны Клингенштейн и заинтересовавшись анализом идишистской литературы, он неожиданно удивил своих читателей и почитателей новой книгой о литературе на немецком языке идиш. Вальзер пишет:

«Мы, немцы, остаёмся должниками евреев. Безусловно. Поэтому абсолютно... Мы не можем больше ничего исправить».

Особенно его заинтересовал один из больших авторов и создателей, по Шолом-Алейхему – «дедушка» (идиш зайде) современной идишистской литературы, Шолом-Янкев Абрамович (1835-1917), больше известный под своим псевдонимом *«Менделе мѳхер сфѳрим»* (Менделе-книгоноша). Не-

ожиданная книга Вальзера – памятник Менделе-книгоноше, чьи тексты он «считает чудом» и, читая его рассказы, находится «под небом, полным смысла». Мартин Вальзер очарован различными языковыми мирами писателя, в том числе, попавшим в идиш субстратом алеманов, позволяющим ему вновь и вновь вернуться к литературному эталону – Францу Кафке.

С 1875 г. Черновцы стал университетским городом, оставаясь в то же время важным индустриальным и торговым центром. Город был центром притяжения не только Буковины, но и Бессарабии и северной части Молдовы. Кроме газет и развлекательных журналов здесь читали настоящую литературу. Много и с воодушевлением дискутировали, музицировали, пели. Часто ходили в театр, билеты на спектакли гастролёров раскупались полностью. Основным для многих интеллектуалов были не честолюбивые мечты о карьере или высоком уровне жизни, их интересовали наука, философия, мистика, искусство, поэзия, музыка.

Как писала Ауслендер, религиозные евреи были хасидами, приверженцами того или иного «святого» ребе – цадика. Для них не играли большой роли заботы практической жизни. Образованные, ассимилированные евреи, немцы, украинцы, румыны были, в свою очередь, приверженцами различных философов, учёных, политиков, поэтов, композиторов, мистиков... И, конечно же, общество Черновцов было очень политизировано.

В Подолье и в Буковине, в Черновцах родились или выросли замечательные, в первую очередь, немецкоязычные еврейские писатели и поэты с мировой известностью: Пауль Целан (Paul Celan); Роза Ауслендер (Rose Ausländer, урождённая Rosalie Beatrice Scherzer), оставившая интересные воспоминания о своей родине; Зельма Меербаум-Айзингер (Selma Meerbaum-Eisinger), Клара Блум (Klara Blum), принявшая в замужестве китайское имя Zhu Bailan); опекавший Целана и Ауслендер писатель Альфред Маргул-Шпербер (Alfred Margul-Sperber) и Иммануэль Вайсглас (Immanuel Weissglas); известный биохимик и эссеист Эрвин Шаргаф (Erwin Chargaff); выходец из еврейской семьи, композитор и дирижёр Людвиг Роттенберг (Ludwig Rottenberg); очень популярный в Германии, особенно в 1930 гг., оперный певец, тенор Йозеф Шмидт (Joseph Schmidt). В черновицкой школе учились писатель Карл Эмиль Францоз (Karl Emil Franzos), психоаналитик Вильгельм Рейх (Wilhelm Reich), а также румынский национальный писатель и литератор Михаил Эминеску (Mihail Eminescu). Недаром за провинциальным городом на реке Прут закрепилось определение «город мёртвых поэтов».

К знатокам идиш относится прекрасно владевший им с детства герой нашего очерка – уроженец Черновцов, полиглот и космополит, знавший восемь языков, потомок аристократов Сицилии, писатель, радиожурналист, киносценарист, киноактёр и галерист *Грегор фон Реццори* [Gregor von Rez-

zori, 1914-1998 (Gregor Arnulph Hilarius d'Arezzo von Rezzori), на самом деле, – Gregor d'Arezzo], любивший, особенно в славянской компании и с друзьями, называть себя «Гришей». Французская кинозвезда Брижит Бардо в своей книге «Инициалы Б. Б.» так писала о «Грише»:

«... Грегор фон Реццори, немецкий актёр, который играл моего тестя в „Частной жизни“ и тоже стал мне прекрасным и надёжным другом».

Дед Грегора, архитектор и искусствовед Вильгельм фон Реццори, окончил университет в Граце (Австрия). Отец, Гуго фон Реццори, также архитектор и художник, был государственным служащим и автором многочисленных статей в охотничьих и рыболовных журналах, гурманом, жизнелюбом, почти всю жизнь проработавшим в Православном фонде Буковины. Он – автор акварелей с изображением монастырей Южной Буковины, которые сегодня можно увидеть в Черновицких краеведческом и художественном музеях. По воспоминаниям писателя его отец был патологически убеждённым антисемитом.

В «Мемуарах антисемита» писатель вспоминает:

«Мой отец ненавидел евреев, всех до одного, даже самых старых и верных. Это была древняя, традиционная и глубоко укоренённая ненависть, которую ему незачем было объяснять; как ни абсурдно это звучит, но любая мотивировка только оправдала бы её». «...Когда мне было пятнадцать, отец решил взять меня с собой на грандиозное охотничье празднество, на которое приглашались только лучшие стрелки. Для меня это было, как апогей удачливо сложившегося года. Я хорошо учился и без труда сдал все экзамены, за что меня приняли на лето в местный теннисный клуб. Отец не знал, что новоизбранным президентом клуба был еврей, состоятельный банкир, элегантный, с мягкими манерами. Он относился ко мне с безупречной вежливостью, как если бы я своим присутствием оказывал клубу великую честь. И вот сейчас, на первой большой зимней охоте, первым, кого мой отец увидел среди приехавших охотников, был он. Отец встал, как вкопанный. – „Мы, должно быть, ошиблись, – проговорил он подчёркнуто громко. – Я полагал, что нас пригласили пострелять, но, судя по всему, мы угодили на биржу“. – Сказав это, он развернулся и пошёл к машине. – Но люди нашего склада, люди с образованием, не нуждались в столь тяжеловесных обоснованиях, чтобы рассматривать евреев, как народ второго класса. Они нам просто не нравились или, по крайней мере, нравились меньше, чем другие человеческие существа. Это было столь же естественно, как предпочтение кошек собакам или клопов пчёлам...»

После поражения и развала Австро-Венгрии в Первой мировой войне семья выбрала в 1919 г. румынское подданство. Свою родословную Реццори вели от выходцев из Сицилии, живших в провинции Рагуза в Италии, которые в XVIII веке попали в Вену. С другой стороны, при проверке аристократичес-

ких предков через «Deutsche Adelsarchiv» в 1950-е годы бóльшую часть информации о писателе-мистификаторе невозможно было обосновать: архив не располагал данными о якобы австрийских или итальянских дворянских предках семьи Реццори. Среди языков, которыми владел писатель, был и русский, именно поэтому в разговорах с русскоязычной публикой и с друзьями он называл себя кокетливо «Гришей».

В межвоенные годы Черновцы были космополитической столицей Карпат. В автобиографическом романе «Цветы на снегу» Реццори так пишет о городе:

«В Черновцах евреи торговали подержанной одеждой, армяне – льном, шерстью и кукурузой, липоване – вкуснейшими фруктами. На рынках ссорились гуцулки и швабки, слепцы и инвалиды кланчили подаяние, цыгане играли на скрипках».

Грегор изучал в юные годы горное дело в австрийском Леобене, в Вене – архитектуру и медицину и, кроме того, живопись в Художественной Академии. Для прохождения срочной военной службы в Румынии был вынужден сделать паузу. После возвращения из армии прожил четыре года в Бухаресте, усердно посещая салоны, бега и казино, затем переехал в Австрию и окончил своё обучение в Художественной Академии Вены. В 1938 г. Гриша переселился в Берлин, где начал карьеру автора дамских романов. В 1940 г. Буковина с Черновцами была аннексирована СССР. Грегор отказался от советского (украинского) гражданства и стал апатридом, человеком без гражданства, и прожил в этом качестве сорок лет. Кроме Германии некоторое время жил и творил во Франции. Лишь в 1982 г. решился, наконец, на получение австрийского гражданства, что было торжественно отмечено телевидением.

Будучи румынским подданным, Грегор Реццори не служил в вермахте и сумел избежать тесных отношений с национал-социализмом. После войны до 1948 г. работал журналистом и редактором на Северозападном радиовещании Германии (NWDR). Освещал для своей аудитории, в частности, Нюрнбергский процесс. Позже стал фрилансером и вёл на радиостанции ночную программу, напишканную его первыми рассказами и байками о сказочной стране Магребиния, которая очень походила на Черновцы детства. Эти забавные, нередко, отчаянные фантазии, анекдоты, афоризмы и легенды из «балканских» мечтаний автора оправдали начальный успех Реццори-писателя. В 1953 г. они впервые появились в виде его первого большого успеха, книги «Maghrebinische Geschichten» (Магребинские истории). Оставаясь активным писателем, снялся в четырнадцати фильмах как актёр второго плана, в том числе в фильмах «Частная жизнь» (1962) и «Вива, Мария!» (1965) с Брижит Бардо в главной роли и пр. Реццори снимался также с Шарлем Азнавуром и Мариной Влади, написал около десяти сценариев и четырнадцать

романов. Много снимался в фильмах французских и немецких режиссёров Дени де Ла Пателье, Луи Маля, Фолькера Шлёрндорфа, Геза фон Радваньи. Последней работой в кино был фильм «Le Beau Monde» (1981, режиссёр Мишель Полак). С 1958 г. Реццори был членом ПЕН-центра Федеративной Республики Германии.

От первого брака с прусской аристократкой Присциллой Тлейтапп Реццори имел трёх сыновей, позже был женат на художнице и актрисе Ханне Аксманн-Реццори. Вместе с последней супругой, баронессой Беатрисой Монти делла Кортэ стал известен как один из крупнейших коллекционеров произведений искусства в Италии и владелец dell'Ariete Galleria в Милане.

Реццори был элегантен, обладал великолепными манерами, обезоруживающим обаянием трижды женатого вменяемого и прекрасного собеседника. Он был тем, что немцы называют бонвиваном или *Hallodri* – обаятельным и забавным шутником. По его собственным рассказам, работая редактором на радиостанции в послевоенном Гамбурге, успел с разницей в восемь дней порадоваться рождению детей от двух женщин в одной и той же больнице. Правда, эротическое обаяние не всегда помогало. Так, в одном из ток-шоу бонвиван встретился с главной феминисткой Германии, журналисткой Алисой Шварцер, и весь из себя представитель старой школы поцеловал ей руку. Реакция Шварцер была однозначной: по словам Реццори она *«почти выбила мне зубы»*.

Успех его послевоенной книги «Магребинские истории» – конгломерат искусно описанных комических персонажей: обманщиков, негодяев и бездельников со своей родины на *«глубочайших Балканах»*, которую он увековечил в послевоенной литературе, заставил критику заговорить о нём. Иллюстрации и графика книги были выполнены автором. Истории были уже ранее опробованы в эфире гамбургского радио, а «Франкфуртские тетради» писали:

«Знатоки еврейских анекдотов и восточных рассказов встречаются со старыми, хорошо или не так хорошо известными... знакомыми».

Отныне на нём висел ярлык писателя легковесной литературы, который последующие большие романы, такие как «Эдип выигрывает перед Сталинградом» или «Смерть моего брата Авеля» уже не могли устранить. В 1958 г. издательство «Rowolt» выпустило карманное издание «Магребинских историй», которое было немедленно продано 78 000 раз. Стилистически тщательно переработанные «Магребинские истории» были изданы Реццори в том же году в виде романа «Ein Hermelin in Tschernopol» (Горноста́й в Чернополе). Роман произвёл очень сильное впечатление: критика газет и журналов захлёбывалась от восторга, а детективы среди читателей смогли, наконец, выяснить, где приблизительно находится сказочная страна Магребиния. В городе Чернополь из провинции Тесковина можно легко опознать буковинские Черновцы.

Пейзажи детства в «Горностае» струятся в рассказах писателя среди хаотического и довольно злющего шлама народов из местечек. Характеристикой Черновцов-Чернополя является порочный смех, общее злорадство, «ухмылка или усмешка» и, как пишет, Реццори: *«для его сложной разновидности нет, к сожалению, обозначения в немецком языке»*. Реццори даёт неприглядную картину агрессивных шнореров разных народов родного города, которые *«...кralись, ползли, скользили и тащились в стаях около тебя, окружая, приставая к тебе, цепляясь... и это было, на наш взгляд, обыденно, так как тот, кто не мог достаточно быстро убежать от этих нападений, без сострадания натыкался на ампутированные члены и болящие сумки гнойников туловища – намного более обыденно, чем это могло бы быть измерено, во имя человечности или даже человечества, социальной защитой. Эстетические обоснования находились в Чернополе на самом последнем месте»*.

Со слов Реццори топоним населения родных Черновцов можно было характеризовать как *«совершенные манеры и провокационная злоба»*.

Со слов автора, в его балканском воеводском государстве самым важным плодом является чеснок, который там занимает ту роль, которую в Индии играет тяжёлый и соблазнительный запах цветов лотоса. Поэтому башни церковей там принципиально украшают не луковки, а чесночные головки, и философы Магребинии говорят *«только на одном языке... глубокомысленного, мудрого, насыщенного чесноком сердца»*.

Реццори пишет:

«...С самого детства меня учили презирать евреев (...) Теперь я понял их беспокойство, их тревоги, их мессианские ожидания, резкую смену настроения от невообразимого высокомерия до стыдливого самоуничтожения. Я даже понял причину их частенько нахального бахвальства и отвратительного подхалимажа (...) – давала себя знать двухтысячелетняя паника...»

И ещё штрих: *«Поскольку так много евреев преуспело в своих попытках на музыкальном поприще, моя бабушка перестала считать музыку одним из изящных искусств»*.

Продолжение – в следующем выпуске Альманаха.

ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ

НАТАН АЛЬТМАН

Заметки о художнике

К пятидесятилетию кончины художника.



Период 10-х – 30-х годов XX века, несмотря на небольшой отрезок времени, можно смело назвать эпохой Ренессанса еврейской культуры. В этот период было опубликовано большое количество книг на идиш, спектакли с еврейской тематикой шли на многих сценах и не только на идиш, но и на других языках.

Произведения живописи, графики и скульптуры экспонировались в музейных и выставочных залах многих стран, архитектурные изыски, воплощённые в жизнь, до сих пор вполне актуальны.

Молодые писатели, художники и режиссёры в своих работах обращались как к историческому прошлому, так и к современности еврейского народа.

В сфере изобразительного искусства появилась художественная школа в Витебске. Её возглавил выпускник Петербургской Академии художеств Иегуда Пэн. В ней занимались художники, которые позднее составили гордость мирового изобразительного искусства. Их работы выставлялись на многих международных выставках. Некоторые из художников вошли в группу «Парижская школа».

В начале 1918 года в Киеве для развития культуры на языке идиш было создано объединение «Еврейская Культур-Лига», в которую входили художники, писатели, актёры и издатели. Её членом был и Натан Альтман, прославивший еврейское национальное искусство своими работами в области живописи, графики, скульптуры и театрально-декорационного оформления.

Вот лишь некоторые штрихи жизни и творчества художника, которые позволят проследить этапы развития его мастерства.

Натан Исаевич Альтман родился 10 декабря 1889 года в городе Виннице Подольской губернии. Его отец занимался торговлей мелкими бытовыми товарами, мать служила на пропускнике в городской больнице – семья неболь-шого материального достатка. Отец умер, когда сын был маленьким, и дальнейшим воспитанием мальчика занималась бабушка. Окружающие заметили в нём откровенные способности к рисованию и необыкновенную к нему тягу. Натан рисовал всё, на чём останавливался его взгляд, на любом подвернувшемся клочке бумаги, особенно портреты и пейзажи.

С 1902 по 1907 годы он учился в Одесском художественном училище, постигая профессиональные приёмы в различных жанрах изобразительного искусства.

В 1910 – 1911 годы брал частные уроки в парижской студии, а также посещал «Свободную русскую академию» Маревны (М. Воробьёвой-Стебельской). Здесь он встречался с художниками из России: М. Шагалом, О. Цадкиным, Х. Сутиным, Ю. Паскиным и другими, которые разрабатывали приёмы авангардного искусства. Их влияние отразилось на всём дальнейшем творчестве Альтмана. Кроме того, он увидел здесь, на выставках, живопись в манере кубизма: П. Пикассо, Х. Гриса, Х. Миро, Ж. Брака и их последователей. С тех пор он долгие годы выполнял свои работы в стиле кубизма и других новшеств, которые представил на выставках, возвратившись в Россию.

С 1911 года Альтман был постоянным участником всех значительных выставок от «Мира искусства» до «Бубнового валета».

С 1912 года он жил в Петербурге, на одной из линий Васильевского острова. Писал пейзажи, натюрморты, портреты, занимался сценографией.

В 1914 году он за несколько сеансов написал портрет А. А. Ахматовой. Портрет этот всемирно известен, множество раз репродуцировался, в том числе, был предпослан ко многим изданиям книг великой поэтессы.

После 1917 года художник активно включился в оформление празднеств, посвящённых новому строю в России. Создал скульптурный портрет В. И. Ленина, рисовал вождя с натуры. Позднее эти рисунки использовали многие художники в своих картинах на ленинскую тему. В эти же годы им была создана целая серия работ на еврейскую тему. На них – портреты, пейзажи, бытовые сцены из жизни и быта еврейских местечек.

С 1922 года он работает главным художником Еврейского государственного театра, сменив на этом посту Марка Шагала, который больше не возвратился в Россию. Альтманом были оформлены спектакли «Уриэль Акоста» Карла Гуцкова, «Гадибук» С. Ан-ского (уже в театре-студии «Габима») в постановке Е. Б. Вахтангова. Оба спектакля вызвали огромный патриотический подъём чувств еврейского национального самосознания.

Работая в ГОСЕТе в такими крупными мастерами, как Алексей (Аврахам) Грановский, Соломон Михоэлс и другими, он ещё глубже проникал в куль-

туру своего древнего народа. В содружестве с ними по сценарию Исаака Бабеля было решено снять фильм по роману Шолом-Алейхема «Еврейское счастье».

В том же году Альтман, наряду с А. Экстер, В. Меллером, С. Терк и другими художниками СССР, принял участие в международной выставке современного Индустриального и Декоративного искусства в Париже.

В 1928 году художник вместе с ГОСЕТОм выехал на гастроли по Европе. Он остался в Париже, где жил и работал до 1935 года. Здесь он оформил спектакль театра «Международного действия» под руководством Анри Барбюса, постоянно выставлялся на выставках «Молодая Европа» (с 1932 года) и «Ассоциации революционных художников и писателей» (с 1932 по 1935 годы).

В 1935 году он возвратился в СССР. Он полностью отошёл от станковой живописи, посвятив своё творчество театру и книжному оформлению. Наиболее яркими, много раз переиздававшимися, были – книга «Петербургские новости» Н. В. Гоголя, а также книги стихов современных поэтов.

На мой взгляд, интересна сюита его иллюстраций к повести «Волшебник из Гель-Гью» Л. И. Борисова. В ней он показал своё понимание мира фантазии А. С. Грина. Лёгкими рисунками пером он повёл читателя вслед за писателем – узкими улочками придуманного города с его необычными героями из этой замечательной книги.

В его декорациях к пьесе В. Маяковского «Мистерия-Буфф», к шекспировскому «Гамлету» зритель обнаружил совершенно новое прочтение и современное дыхание известных произведений.

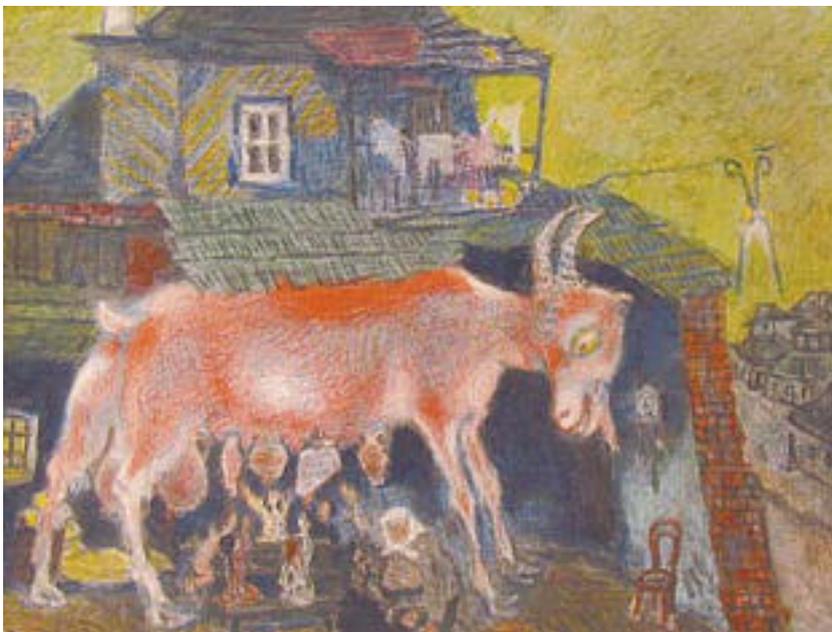
Умер Н. И. Альтман в Ленинграде 12 декабря 1970 года. Его могила находится на кладбище пригорода Санкт-Петербурга – Комарово (рядом с захоронением А. А. Ахматовой).

Последняя большая персональная выставка Натана Исаевича Альтмана состоялась в Ленинграде, увы, посмертно.

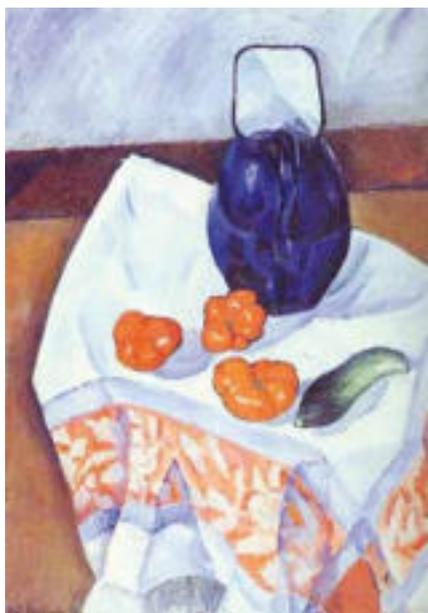
В начале этого текста помещён портрет Н. И. Альтмана, работы русско-французского художника Ю. П. Анненкова.



Иллюстрация к повести Шолом-Алейхема «Заколдованный портной», 1963 г.



«Заколдованный портной», «Мечта о козе-кормилице» 1963 г.



Натюрморт с кувшином, 1912 г.



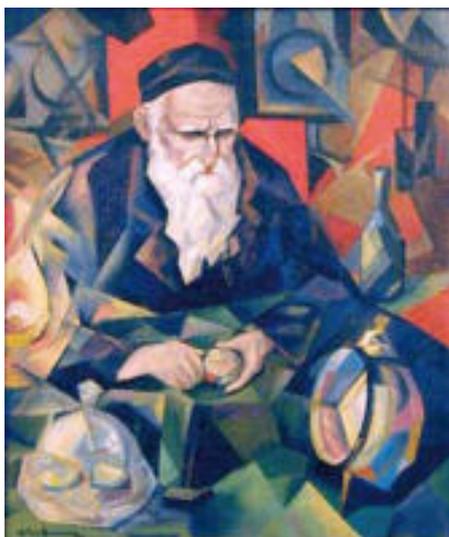
Натюрморт, 1919 г.



Натюрморт с очками, 1950-е гг..



Шаббат, конец 1910-х гг..



Часовщик, 1914 г..



Шаббат, конец 1910-х гг..



Портрет Анны Ахматовой, 1915 г.



Портрет С. М. Михеэла, 1927 г.



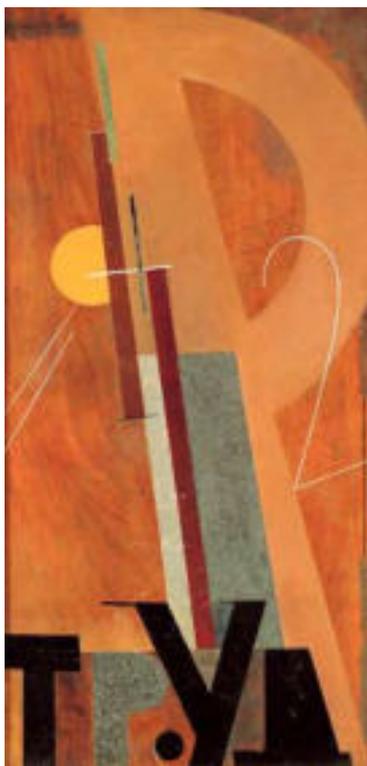
Еврейские похороны, 1911 г.



Зимний пейзаж, 1908 г.



Иерусалим, 1910-е гг..



Труд, 1921 г.



Подсолнухи, 1915 г.



Зимний пейзаж, 1928-1935 гг.



La Ruche (Улей), 1911 г.



Портрет И. П. Дега (второй жены художника), 1927 г.



Иллюстрации к «Петербуржским повестям» Н.В.Гоголя, 1937 г.



Альтман, пишущий Ахматову. Шарж. 1915 г.

ЯКОВ БЕРДИЧЕВСКИЙ

ЧИТАЯ ЧЕХОВА...

К анализу известного чеховского диалога Толстого и Тонкого.

Рассказ Чехова «Толстый и Тонкий», как нельзя лучше подтверждает его же собственный, давно ставший известным, афоризм: «писать надо так, чтобы в чернильнице отразился весь мир». Воистину в этом коротеньком рассказе отразился весь многоцветный спектр общественных связей и отношений пореформенной России. Не одно поколение присяжных чеховедов осуществило и опубликовало анализ этого небольшого, полуторастраничного рассказа и, казалось бы, все акценты выявлены, все точки над «i» расставлены и всё же попробуем раздвинуть рамки уже ставшего хрестоматийным, едва не антологическим, анализа, несколько углубив и расширив его.

Итак, мы помним, что встреча двух бывших одноклассников – Толстого и Тонкого – произошла на вокзале станции Николаевской железной дороги¹, скорее всего, города Твери.

Встреча была сколь неожиданной, столь и радостной, вызвавшей целую бурю безудержных эмоций. Захлёбываясь от восторга, Тонкий рассказал о себе и о своей жизни. Он дослужился до чина коллежского асессора², не преминул, похваставшись орденом Станислава³, пожаловаться на малое содержание – небольшую зарплату⁴. «Жена уроки музыки даёт, – говорит он. – А я портсигары приватно из дерева делаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто десять штук берёт и более, тому понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как». Действительно, Тонкий не просто экономен – он до хвори скареден, что Чехов весьма прямолинейно подчёркивает, указывая на вынесенные Тонким из вагона чемоданы, узлы, картонки и сэкономившим целый пятак на уступах носильщика.

Тонкий тут же представил школьному другу свою семью – супругу и сына: «Я уже женат, как видишь... Это вот моя жена, Луиза, урождённая Ванценбах, лютеранка...» – объясняет Тонкий, как бы оправдывая нерусскость внешнего облика супруги.

Антон Павлович заставляет Тонкого трижды представлять свою семью Толстому, причём в третий раз Тонкий уточняет: «... лютеранка, *некоторым образом...*» (курсив мой – Я.Б.), скорее всего еврейка. Вот в этом-то пассаже и «зарыта собака».

Известно, что евреи, дабы получить гражданские права, принимали христианство, охотнее всего лютеранство, а не православие. Причин тому множество и их перечислять нет особой надобности. Широко известно множество случаев перехода евреев в лютеранство⁵.

Луиза – еврейка, не отличающаяся привлекательностью, не говоря уже

о красоте. Антон Павлович дважды отваживается подчеркнуть её длинный подбородок – первый признак акромегалии (болезни гипофиза), что точно знал доктор Чехов. Кстати, и фамилия, ей присвоенная, весьма уничижительна – Ванценбах, что в переводе с немецкого означает «клопный ручей». Она из довольно состоятельной, столичной семьи. Но, тем не менее, и ей весьма сложно было составить удачную партию. Ибо жених из числа её соплеменников исключался по определению, а среди христиан лучше всего подходил именно Порфирий – чиновник новоиспечённый, стоящий на самых нижних ступенях иерархической лестницы, скорее всего, как видим, без каких-либо особых претензий. Он даже согласился с древнееврейским именем своего сына Нафанаил⁶, коим нарекли долгожданного внука благоприобретённые родственники – российские новоявленные мараны.

Мы узнаём, что Нафанаил – ученик 3-го класса, т.е. ему 13 лет. Дитя, скажем прямо, позднее, ибо по элементарным расчётам его отцу должно быть где-то под пятьдесят. Ведь он, как мы знаем, уже достиг чина коллежского асессора и за годы беспорочной службы награждён орденом Станислава. Более того, его перевели в другой город (как мы знаем, в губернскую Тверь) с повышением – столоначальником, что по Табели о рангах производит его в надворные советники (чин 7 класса, дающий право потомственного дворянства).

Следует обратить внимание на удивительную сочетаемость имени и отчества отпрыска нового столоначальника – Нафанаил Порфирьевич, где так удачно встречаются две буквы «фита», а ведь «фита» по утверждению Гоголя (и не только его одного) «буква неприличная». Причём греческое имя, коим «наградил» своего Тонкого персонажа Чехов, тоже с неким подтекстом. Оно означает «багряный» и вполне соответствует повадкам школьного ябеды, о чём не без удовольствия вспоминает Тонкий («дразнили... а меня Эфиальтом⁷ за то, что я ябедничать любил»). К тому же его собственное имя «Порфирий» как-то очень неслучайно повторяет имя известного греческого философа-неоплатоника, одного из ранних критиков христианства (III в. н.э.), что, безусловно, было известно Чехову.

Толстого же зовут просто Миша – медведь, русский медведь, традиционный символ русскости. Толстый из состоятельной дворянской семьи, ещё в гимназии слышавший «душонком и щёголем», хорошо воспитанный – подхалимаж его соученика вызывает у него чувство гнева, омерзения и брезгливости. Он, вполне естественно, успешен в службе – отмеченный двумя звёздами тайный советник⁸.

Тонкий дурно воспитан, он завистлив и жалок в своём безудержном стремлении хоть как-то приблизиться к классу Толстых. Его ничто остановить не может, он готов на любой поступок ради того, чтобы выбиться «в люди». У него рабская психология и даже не сыздетства – она у него генетическая, от родителей, дедов-прадедов. Он не брезгует даже сделкой со своей духовностью – христианством – во имя земных благ и приобщения

к державному слою. Он не понимает, что ему это НИКОГДА не удастся, будь он семи пядей во лбу – нельзя вырастить розу из семян лебеды. Он и во дворянстве останется мещанином, ибо извлечь особь из мещанства можно, а вот мещанство из особи – НИКОГДА.

Чехов не противопоставляет Толстого Тонкому. Это персонажи одного спектакля, именуемого обществом, но один из них вальяжно расположился в партере, другому отведено место возле колонны третьего яруса и, почти цитируя Киплинга, можно утверждать, что «вместе им не сойтись».

Со времени первой публикации этого рассказа прошло 137 лет, сменилось более нескольких поколений, и многие реалии российской жизни исчезли, забылись, канули в Лету. Последующее почти столетие разделило читателя излёта 10-х годов ХХI (!) века от читателя годов 30-х века минувшего.

И вполне естественно, что для читателя, современного первой публикации рассказа, все эти коллежские асессоры, тайные советники, столоначальники, ордена Станислава, Нафанаилы, Эфиальты и даже... Николаевская железная дорога, не говоря уже о «лютеранках... некоторым образом» не были пустыми звуками. Это была самая их жизнь, жизнь на каждом шагу. Им всё было преотличнейше раскрыто и понятно.

июнь 2019, Берлин

¹ Из всех станций, через которые проезжали поезда Николаевской железной дороги, вероятнее всего Тверь, ибо только в Твери могло быть чиновное присутствие, где был в служебной командировке Толстый, и только на крупной станции был вокзальный буфет с хересом и флёр-доранжем. Тонкий ехал поездом первого класса, ибо поезда второго и третьего в Твери не останавливались (прогонные оплачивались казённым коштом). Поезда первого класса в ту пору останавливались лишь на трех станциях – Малая Вишера, Бологое и Тверь;

² Коллежский асессор – чиновник 8-го класса по Табели о рангах, в армии капитан, во флоте капитан-лейтенант. Чин давал право личного дворянства. Обращение: «Ваше высокоблагородие»;

³ Орден Святого Станислава 3-й степени (девиз ордена «Награждая, поощряем»), польский орден, в 1831 году после присоединения Царства Польского к Российской империи причисленный к капитулу российских орденов. Самый массовый орден, в основном, для чиновничества (по выслуге лет);

⁴ Зарплата на время написания рассказа – середина 1880-х годов – около 40 рублей в месяц при казённой квартире и дровах для отопления;

⁵ Приведу лишь наиболее известные, звонкие и близкие каждому книжнику имена издателей и книготорговцев: М.О. Вольфа и А.Ф. Маркса;

⁶ Только в Торе имя Нафанаила упоминается более десяти раз;

⁷ Эфиальт предал своего сюзерена, спартанского царя Леонида, при битве в Фермопилском ущелье. Имя Эфиальта стало нарицательным;

⁸ Тайный советник – чиновник 3-го класса, в армии генерал-лейтенант, во флоте вице-адмирал. Обращение: «Ваше превосходительство».

ЛЕОНИД БЕРЕЗИН

ЕЩЁ РАЗ О ТОМ ЖЕ – О ЛЮБВИ!

Или «Не хотите ли Вы съесть кусочек фаршированной рыбы?»

Было это очень давно. Вспоминается, как будто, – вчера. Мы только что приехали в Берлин из Ленинграда. Оставили там со страхом и надеждой на скорую встречу любимую тещу, пообещав, что это ненадолго. В Берлине нас поселили в, так называемом, *хайме*¹ – копии общежития для рабочих (пятиэтажное кирпичное строение дореволюционной постройки). Длинный коридор, в конце которого – общественный туалет и одна кухня на всех. По обе стороны коридора двери, ведущие в узкие, с одним окном, комнаты. В каждой могли проживать несколько семей, отгораживаясь от соседей по комнате занавеской. Коммуналка образца начала 50-х годов прошлого века... Вот так, совершенно неожиданно, мы оказались в эмиграции в центре Европы, – за занавеской. Соседи, говорящие на разных, непонятных нам, языках. На кухне с раннего утра до позднего вечера женщины жарили, варили, пекли. К плите – очередь. В туалет и душ – «лови момент». Но мы не унывали. Привыкли всю жизнь преодолевать трудности, надеяться и верить в лучшее. Многому нас научили тяжёлое детство в годы войны и послевоенная юность.

Итак, необходимо было быстрее освоиться с новыми условиями жизни, освоить язык общения. Пошли на курсы немецкого языка. Группа – большая, разношёрстная по возрасту, образованию. По воспитанию... Один из слушателей на втором занятии, стукнув палкой об пол, заявил, что знания идиш для общения ему достаточно – больше он ходить не будет. Первые уроки прошли оживлённо. «Кто кем был в прошлой жизни?» Почти все сокурсники – с высшим образованием: инженеры, преподаватели, врачи, директора школ, кандидаты наук, заведующие отделениями, руководители подразделений и производств и т. д. Только я назвался простым сапожником. Первая шутка. Вполне успешно закончили первую ступень обучения, за ней – и вторую. Поздравили с сорокалетием нашу милую наставницу. Собрали деньги, подарили ей цветы и скромные золотые серьги. Она была благодарна за внимание, объясняя себе и другим наш поступок широтой русской души. Прошло более двадцати пяти лет, а дружба наша продолжается до сих пор.

После летних каникул от прежней, дружной группы осталось двое. Все остальные – новые. Оказалось, они уже давно живут в Берлине, освоили основы грамматики, хорошо пишут диктанты, а разговаривать по-немецки не умеют. Много лет спустя я встречался с некоторыми из них. Самые упорные продолжают занятия языком и сейчас.

Мы постепенно осваивали и новые правила жизни. Термин у врача... Народу немного. Все молчат. Сажу, жду, волнуюсь... Зубоврачебный эк-

сперт должен решить, пора ли мне лечить зубы или и так можно дальше жить? Тревожную тишину томительного ожидания нарушил приход нового посетителя. Пожилой мужчина – среднего роста, плотного телосложения, вполне интеллигентной внешности. Он сразу же заполнил комнату каким-то уютным теплом и светом.

Улыбнувшись, обратился только ко мне:

– Wer ist der Letzte?

Я не подаю вида, что с первого слова мне ясно, что пришёл *наш* человек. Наверняка, местные жители так не спросят. И я вполне серьёзно ответил:

– Ich bin der Letzte.

Новый посетитель продолжает по-немецки:

– Wie lange sind Sie da sitzen und warten?

Я, как ни в чём не бывало, не смущаясь и не заикаясь продолжаю диалог:
– Alles in Ordnung. Wir haben noch ein bißchen Zeit und Geduld auch. Keine Eile. Bleiben sie in Ruhe. Nehmen Sie, bitte, Platz.

Вижу, что мой новый знакомый на мгновение задумался, улыбка сошла с его лица. И он спокойно задал мне вопрос:

– Darf ich noch etwas fragen?

– Natürlich. Fragen Sie bitte. Kein Problem!

– Sprechen sie russisch?

Короткая, но красноречивая, пауза:

– Конечно.

Разговорились. Быстро нашли общие темы. Выяснилось, что мы оба – ленинградцы. Да ещё и пересекавшиеся в *прежней* жизни. Оказывается, мой собеседник, Иосиф Вольфсон, много лет работал преподавателем истории и директором передовой школы – десятилетки с физико-математическим уклоном в Выборгском районе Ленинграда, которую закончил мой сын. Так неожиданно началась наша многолетняя дружба с этим замечательным человеком. Участник Великой отечественной войны, прекрасный педагог, заботливый отец, верный муж. И. Б. Вольфсон – автор содержательных, интересных рассказов о нашей жизни *до* и *после* переезда в Берлин, о войне, о школе. Экземпляр редкого, уникального сборника его рассказов «Что было, то было», я получил с дарственной надписью: «Лёничке, которого очень любил автор этой книги. С глубокой симпатией. Жена автора».

Берлин 1998. Несмотря на небольшую разницу лет, он был старше меня на целую войну, мы отлично понимали друг друга. Он предпочитал ходить на Богослужение в синагогу не с ортодоксальным ритуалом, а с либеральным, сопровождаемым высоко профессиональным хором и классической органной музыкой. Однажды пригласил меня на Богослужение. Мне было очень интересно познакомиться с новыми людьми, в основном говорившими по-немецки, с порядком ведения службы, музыкальным сопровождением. С тех пор я хожу на утреннее субботнее и праздничные Богослужения в эту синагогу. Во время чтения поминальной молитвы *Кадииш*, я обязательно

вспоминаю, наряду со своими родными, имя моего берлинского друга. В его однокомнатной квартире со встроенной кухней в нише, крохотным туалетом и ванной, постоянно жили его родные, какие-то, часто сменявшие друг друга, друзья-ленинградцы. Он неоднократно приглашал меня к себе познакомиться поближе с его *житьём-бытьём*. Он хорошо готовил борщ и мог приготовить фаршированную рыбу. Находясь на чужбине, очень важно иметь надёжных и верных друзей, близких по духу и интересам.

Через некоторое время после нашей первой встречи с Иосифом, я познакомился с его женой, Эрой. Она только что приехала из Ленинграда. Присматривалась к новой жизни. Не была твёрдо уверена, что хочет остаться здесь навсегда. В процессе общения с ними мне показалось, что моё оптимистическое настроение постепенно передалось Эре, сомнения её уменьшились и она поняла, что возврата к прошлому нет. Я заряжал её уверенностью и надеждой на лучшее будущее, делился опытом, помогал ходить по *амтам*². Вскоре выяснилось, что я заочно давно знаком с Эрой Васильевной Кузнецовой. Однажды, гуляя между стендами Ленинградской ежегодной книжной ярмарки, которая размещалась в центре города, вокруг памятника Екатерине Великой, в, так называемым народом, «Каткином саду», я обратил внимание на одну из солидных монографий «М. М. Антокольский. Жизнь и творчество». Автором изданной в 1989 г. книги была кандидат искусствоведения Эра Кузнецова. Конечно, покупая эту книгу, не мог предположить, что через много лет, в Берлине, я познакомлюсь и подружусь с её автором. Приходя навестить своих родных на еврейском кладбище в Ленинграде, я регулярно проходил мимо солидного памятника на могиле скульптора Антокольского. Похоронен он на почётном месте, рядом с кладбищенской синагогой.

Годы спустя, живя в Берлине, однажды на свой день рождения я получил в подарок точно такую же книгу с дарственной надписью автора: «Дорогим Эллочке и Лёне с искренней симпатией и уважением. С наилучшими пожеланиями в день рождения».

У наших новых друзей, хороших приветливых людей, за сравнительно короткое время круг знакомых невероятно вырос. Однажды позвонил Иосиф и пригласил в гости, но не днём и даже не вечером, а к десяти утра. Мы пришли, но как оказалось, не в гости, а помочь разобрать и вынести во двор вещи из квартиры с пятого этажа без лифта. Свершилось! Эра и Иосиф переезжают в хорошую двухкомнатную квартиру в новом, построенном по оригинальному индивидуальному проекту, доме с лифтом. Здесь мы погрузим, а там – другая часть команды друзей разгрузит. Поздравляем с новосельем! Этот переезд сплотил нас ещё сильнее. В дальнейшем мы много раз собирались вместе на их новой квартире. Через несколько лет эти люди составили ядро одного из первых русскоговорящих клубов-землячеств в Берлине – клуба «Ленинград».

Годы бегут стремительно. Намного быстрее, чем раньше, заставляя нас

расставаться навсегда с родными и близкими людьми, друзьями, знакомыми. После тяжёлой и продолжительной болезни скончалась моя жена Эвелина. Мой верный друг, помощница и вдохновительница. Большой знаток классической и лёгкой музыки. Обладатель феноменальной музыкальной памяти. Она могла пропеть партии всех действующих лиц оперы «Евгений Онегин» и не только. Почитатель живописи и иных классических и современных видов искусства. Я остался один. В голове – что-то туманное, неясное. Всё кругом – не то, не по душе.

Однажды, Эра, как бы невзначай, спросила, не хочу ли я съесть кусочек настоящей фаршированной рыбы? Не хочу ли вспомнить давно забытый вкус, хорошо знакомый с раннего детства?

Моё довоенное детство прошло в семье родителей отца, которые до переезда в начале 30-х годов в Ленинград много лет жили в Белоруссии. Дедушка был потомственный рыбак. До начала коллективизации работал бригадиром рыболовецкой артели. Бабушка знала и соблюдала многовековые традиции своего народа, разбиралась в еврейской кухне. И, конечно, какой же может быть настоящий *Schabes*³ без *gefielte Fisch*⁴ и куриного бульона с традиционно приготовленной *Lokschen*⁵. Только в конце двадцатых, начале тридцатых годов прошлого столетия семья оказалась в Ленинграде. Несмотря на радикальные изменения условий жизни в большом городе, бабушка с дедушкой старались соблюдать веками установившиеся традиции и обычаи. Ещё сильны были в их памяти еврейские национальные праздники.

Предложение Эры показалось мне заманчивым, не стандартным, с каким-то подтекстом. Невольно мне пришли на память слова известной песни на эту тему: «Сперва фаршируется рыба, гостей приглашаем потом». Я не стал долго думать и согласился. В назначенный день, 28 октября 2000 г., мы с Эрой встретились в вестибюле конечной станции седьмой линии Берлинского метро *Шпандау*. Новый для меня городской район Берлина.

По мере приближения к месту встречи я начал испытывать некоторое беспокойство. Поднялись лифтом на 8-й этаж. Звоним. Секунды ожидания тянутся непривычно долго. Шорох за дверьми. Я понял, что нас ждут. Но чем закончится для меня это ожидание, я не мог себе представить. Как только открылась дверь, нас окутало море ароматных, разнообразных запахов домашней кухни, которые мгновенно заполнили всю лестничную площадку. Дверь открыла обаятельная, голубоглазая блондинка. Небольшого роста, чуть курносая, что среди моих знакомых большая редкость, видимо, ровесница. Улыбаясь, приветливо пригласила войти в квартиру. Знакомимся. Всё – скромно, но – достойно. Стол накрыт в лучших традициях. И салат *оливье*, и винегрет, и килечка, но *gefielte Fisch* – гвоздь программы, появится на столе чуть-чуть позже. Всё для гостей: и хозяйка дома, излучающая саму доброту, выпивка и закуски располагали к тёплой, дружеской беседе. Кроме хозяйки с нами за столом сидел мужчина, как выяснилось, – сосед, приглашённый, чтобы поддержать компанию. Нашлись общие темы для

оживлённой беседы. Незаметно ушло чувство скованности – стало легче дышать. Молниеносно появилось желание помочь хозяйке дома. Встав из-за стола, уверенной походкой я быстро направился на кухню. В шаге от меня – хозяйка. Задумалась. И я, вдруг задумавшись, остановился. Спросите, о чём? О чём в моём возрасте может задуматься мужчина? Если он, вообще, придя первый раз в чужой дом, способен думать? О прожитой жизни, о детях, о внуках, о друзьях? Конечно, нет. В это мгновение на меня снизошло что-то свыше. Пронзило насквозь от макушки до пяток.словно *a hiatus*⁶ заполнил все клетки тела. «Но что же я стою? На меня это совсем не похоже. Самое время действовать – всего один шаг до моего счастья». Неожиданно я нежно обнял её и начал целовать. Всего час назад была совсем незнакомая женщина, а теперь, обнявшись, стоим лицом к лицу, словно родные люди. Она слегка сопротивлялась, пытаюсь отстраниться. Тихо шептала: «Что Вы? Что Вы делаете?» «Ничего особенного. Просто обнимаю и целую». Мне совсем не хотелось выпускать её из моих объятий. В этот момент я был готов вечно стоять с ней. Теперь, когда я вспоминаю эти мгновения счастья, я вижу знаменитые скульптуры Огюста Родена: «Вечная весна», «Поцелуй», «Ромео и Джульетта». Он, конечно, был прав в том, что *увидел* не просто мужчину и женщину, а некую третью субстанцию, которую породили их взаимоотношения. Счастье сильнее всяких слов. Я вспомнил, как тогда, много лет назад в Париже, я долго стоял в музее Родена около работ великого мастера. Я сразу же почувствовал, что эта, моя, словно давняя, знакомая, стала почти родной женщиной. Что она ещё говорила в эти секунды, я не слышал. С трудом понял, что наши друзья могут забеспокоиться: «Куда мы так неожиданно исчезли? Что происходит? Разве рыба ещё не готова?»

Нет, нет, рыба давно готова. Любителям фаршированной рыбы известны различные варианты её приготовления. Всё зависит от вкуса, традиций и воспитания хозяйки. Конечно, никто не сомневается в том, что наилучшего результата можно достигнуть, если у вас есть свежий речной судак. Хорошо бы смешать его со щукой, и тогда получился бы классический, как я считаю, белорусский вариант фаршированной рыбы. Но если нет рыбы этих сортов, то сойдёт и свежий карп. Можно приготовить рыбину целиком, можно разделать её на кусочки с рёбрами и каждый фаршировать отдельно, можно извлечь все кости из рыбы и наполнять фаршем голову, хвостик и дольки рыбной кожи. Важно при подготовке фарша найти правильное соотношение всех составляющих компонентов и приправ. Сварить вкусную фаршированную, *субботнюю* рыбу не просто. Надо приготовить специальную кастрюлю для варки. Уложить на дно нарезанную морковь и репчатый лук. Затем со знанием дела разместить приготовленные порции в кастрюле. Вначале положить голову, после – все остальные кусочки и варить на медленном огне, снимать пену, подливать две-три ложки холодной воды несколько раз. Через час-полтора попробовать уху. Достаточно ли соли, пряностей? Готовность проверяется просто. Обмакнуть кончики двух пальцев в уху, соединить их

вместе и, если слипаются, то рыба – готова. Не спешите её раскладывать. Дайте время, чтобы она остыла. Когда рыба остыла, надо аккуратно её разложить на специальном красивом блюде, украсив зеленью. Вот теперь это – настоящее произведение искусства. Гости, наверняка, получат удовольствие, а хозяйке будет вдвойне приятно, что трудилась не зря. Не забудьте учесть маленькую тонкость: приготовить хрен – белый, натуральный и подать его к рыбе. Натёртый хрен, подкрашенный натёртой отварной свёклой, меняет цвет, становится красным, приобретает особый, неповторимый запах и вкус. Этот хрен – многофункциональная приправа. Он хорош для маринованного говяжьего языка и вызовет дополнительный аппетит, когда вы приступите к поглощению кошерного студня. Испокон веков хрен является неизменным дополнением ко многим блюдам еврейской кухни.

И вот, – рыба на столе. Тает во рту. Тост за хозяйку, за её умение, сердечность, теплоту, непринуждённость и доброту. Постепенно встреча подходила к концу. Пора и честь знать. Стало грустно – мне совсем не хотелось уходить из этого дома. «А что же дальше? Сразу же остаться? Так, вдруг? Нет, нет! Не прилично. Собственно говоря, кто я такой? Пришёл, увидел и сказал, что никуда не уйду? О чём подумает хозяйка дома?» Как выяснилось позднее, она – вдова с двадцатилетним стажем. Были и раньше у неё предложения от разных претендентов. Но зачем ей это было надо? И непростая жизнь шла дальше. «А что теперь? Неожиданные, давно забытые ощущения...»

На весёлой ноте звучат слова прощания. Разъезжаемся по домам. Мы ничего не знаем друг о друге. И надо ли нам знать? Только что – прошла первая встреча. Может быть, единственная? Разве *молодые* люди, которые недавно перешагнули в восьмой десяток, чья длинная жизнь, по существу, уже позади, могут начать совершенно новую жизнь? Трудно представить... «Кем станем мы друг для друга? Друзьями, мужем и женой? Дети, внуки, родственники, друзья – это прекрасно, но недостаточно. Видимо, мы слишком поздно встретились. Время покажет...»

Начинался второй этап нашего знакомства – телефонный. Почти две недели каждый вечер мы разговаривали часами по телефону. О чём? Люди разных профессий, разного уровня образования и разного круга общения и культуры. Но почему-то нам было совсем не скучно. Оказалось, у нас много того, что может нас объединить. Есть, что рассказать друг другу, вспомнить наиболее интересные эпизоды и события нашей жизни. О довоенном детстве в еврейской среде в Витебске и в Ленинграде, в семье достаточно религиозных родителей моего отца, любимых мною дедушки с бабушкой. Оказывается, человеческая память обладает таким прекрасным свойством – вспоминать детали того, что было с нами когда-то очень давно. В разговоре стали появляться отдельные слова, поговорки, присказки на нашем родном, давно забытом языке *идиш*. Это очень меня заинтересовало. Ведь до сих пор такие близкие собеседники не встречались на моём пути. О том, как проходили семейные праздники *Пейсах*, *Пурим*, *Ханука* на нашей Родине

никто не вспоминал. Некому было вспоминать. Всё было под запретом. Потом незаметно разговоры перешли на бесконечно волнующую нас тему Великой Отечественной Войны – завораживающий голос Ю. Левитана, трудности бегства от наступающих фашистов, блокада с голодом и холодом, гибелью родных, эвакуация на Урал и в Сибирь, на полотах товарных вагонов для перевозки скота, сквозь бомбёжки и обстрелы, работа с утра до темна, борьба за жизнь. Но мы остались живы и нам надо было ещё жить. Война закончилась. Победа! И опять – учёба, работа, любовь, семья, дети. И, вдруг, мы встречаемся в центре Европы, в Германии, в Берлине, в бывшем логове врага. Сегодня мы уже не обсуждаем тему: «Почему мы здесь и зачем?»

Очередной сеанс связи подходит к концу. Время позднее. Но не всё ещё сказано и рассказано. Впереди самое важное. Трудно расставаться. Надо срочно прощаться и ждать с нетерпением нового телефонного звонка. Мы созрели, и пора встретиться вновь. Договорились. Место встречи – прежнее.

Начался третий этап нашего, совершенно случайного, знакомства с неожиданно большим, на всю оставшуюся жизнь, продолжением. Мы вместе почти двадцать лет. Для того, чтобы хоть что-то успеть нужна ещё одна жизнь. Наверное, в этой жизни мы сейчас и живём. И радуемся этой жизни. А если учесть, что в нашем возрасте время летит втрое быстрее обычного, то мы уже давно отметили нашу «Золотую свадьбу». Когда любознательные люди спрашивают нас о возрасте, то в ответ звучит: «Осталось немного меньше тридцати до ста двадцати. И наш вам совет: никогда не отказывайтесь попробовать кусочек настоящей, еврейской фаршированной рыбы!»

¹ *общезитие;*

² *учреждение;*

³ *ритуальная еврейская Суббота;*

⁴ *фаршированная рыба;*

⁵ *домашняя лапша;*

⁶ *приятность.*

НОРА ГАЙДУКОВА

НЕ ЗАБЫВАЙ

Из цикла: «Детство в Петербурге (Ленинграде)»

В четвёртый класс я пошла на Фонарном переулке, школа стояла на углу Мойки, и мяч с нашей школьной спортплощадки иногда падал в воду. Когда мы выбегали на переменах на улицу, краем глаза видели Исаакиевский собор и площадь с памятником императору Николаю Первому. Местоположение школы не связано было с составом учеников или учителей. Это был обычный район центра Питера. Почти все жили в коммуналках и были одинаково бедны. Хотя, социальные различия были всё же заметны. В то время касты создавались не фирмами, выпускающими, например, одежду, а языком и поведением, количеством прочитанных книг, просмотренных спектаклей. Впрочем, никаких претензий мы друг к другу не имели. Дети дворничихи, татарки Фатимы, чувствовали себя не менее счастливыми, чем дети инженеров и научных работников. Просто наши орбиты не пересекались. В восьмом классе, когда девочки уже носили неудобные, жёсткие, как панцирь, советские бюстгалтеры и пользовались ватками, завёрнутыми в бинтик (прокладок в СССР никто не знал), в меня влюбился наш второгодник Боря Михайлов, – рослый белобрысый мальчик, явно пролетарского происхождения. Где бы я ни находилась, постоянно чувствовала взгляд его бледноголубых глаз, полных немного обожания.

Надо заметить, что подростком я была некрасива и чувствовала это. Лицо у меня было худеньким и длинным, тонкие ноги и бледная кожа дополняли портрет петербургского заморыша. Даже очень густые и длинные волосы не помогали. Коса у меня была такая толстая, что тётки в бане на Фонарном переулке, куда мы раз в неделю ходили с мамой, ахали и смотрели, как мама её заплетает. Но я была очень спортивной и волевой. Папа научил меня грести на вёсельной лодке и правильно плавать. К тому же, три раза в неделю меня водили на балет в знаменитую студию «Молодяшина» во «Дворце Культуры Первой Пятилетки», который недавно снесли в угоду нарядному чуду *хай тека* – новому Мариинскому театру. У «Молодяшина» была железная дисциплина: по два-три часа мы делали большие *батманы* и *плие*. Его жена, маленькая сухая старушка, в прошлом – балерина, била нас палочкой по ногам, что было довольно больно, когда мы недостаточно выпрямляли колени или не подбирали попу. Я и по сей день чувствую удары этой острой палочки, когда у меня что-то не выходит.

К учёбе я относилась довольно пренебрежительно, хотя, в целом – справлялась, зато читала запоем. Два предмета всегда вызывали мой интерес, и в них я была одной из лучших – физкультура и литература. Например, я первая из девочек влезла по канату под потолок нашего высокого спортивного зала. А мои сочинения часто читали вслух.

Все эти достижения не оставили бедного Боря Михайлова равнодушным. К пятнадцати годам я внезапно поправилась и похорошела. Очевидно, подействовал бабушкин рацион из жареной на сливочном масле картошки и грибного супа. Прошедшая блокада и работавшая всю жизнь старшей медсестрой, она больше ничего готовить не умела.

Розовая и плотненькая девушка, с длинной косой через плечо, с модной в то время причёской, как у героини фильма «Прощайте, голуби», уже не походила на тощенькую Норку-Корку, страдающую от насмешек ещё и из-за своего имени. Боря Михайлов учился *из рук вон* плохо. Может быть, это была не его вина, просто родители, пьющий отец и замученная жизнью мать, совсем им не занимались. Он был довольно красивым и самым высоким мальчиком в классе, с правильным римским носом и большими глазами, но печать происхождения его портила. Не понятно, в чём это выражалось: то ли в какой-то неправильной речи, то ли в его движениях. Все усилия советской власти стереть эти различия между людьми, образованными во многих поколениях, от «простого народа» в то время не удались. Может быть, теперь, когда электронные игрушки всех уравниали, это получится. Не знаю.

Боря был влюблён «безмолвно, безнадёжно». Он даже не пытался подойти и поговорить со мной, а только издали следил за мной взглядом. Вдруг, наша классная руководительница – математичка Анна Ивановна поручила мне заниматься с ним и «подтянуть» хотя бы до троечного уровня. Возможно, она что-то заметила, потому что Боря, сидевший на первой парте, куда всегда сажали самых плохих учеников, всё время сидел в пол-оборота и смотрел на меня, сидевшую за последней партой. Моё место мне очень нравилось – там можно было под партией книжку читать. Я и сейчас, если меня не вынуждают быть впереди, стараюсь забиться в дальний угол.

Не могу сказать, что Боря или я обрадовались этому поручению. Любовь на расстоянии – одно, а вдалбливание алгебры с геометрией – совсем другое. Теперь нам приходилось оставаться после уроков в школе. К себе он меня не приглашал, да и мне не очень хотелось знакомить его с бабушкой, сидеть с ним за моим старинным письменным столом, который стоял в маминной комнате, где я с удовольствием, как и в школе, украдкой читала какую-нибудь интересную книжку вместо делания уроков.

В наших отношениях с Борей появилась некоторая интимность, усилившая прежнюю виртуальную связь.

– Ты будешь сегодня со мной заниматься? – спрашивал Боря.

И я, невольно, должна была назначить ему свидание. Всё это привело к тому, что Боря осмелел и уже как будто нацелился на более близкие контакты. Мне это немного нравилось, но и немного раздражало. С одной стороны, всё же приятно, что из всех девочек выбрали именно тебя, а не признанную красавицу Таньку Вареникову, картинно хлопающую голубыми глазками на круглом кукольном лице, и похожую на Мальвину из фильма «Буратино». С другой стороны, Борька никак не вписывался в образ моих мыслей, мою жизнь, с круглогодичным абонементом в Мариинский театр, с посещением с

папой, доктором наук, филармонии, с экскурсоводческим кружком, который вёл наш милейший учитель рисования, одноногий ветеран войны, в которого все девочки были немного влюблены.

Борька был дворовым парнем с Мойки. Возможно, при большом желании, его можно было бы *пигмалионить*, но в большинстве случаев это безнадежно.

Роман наш всё же потихоньку развивался, подогреваемый Борькиными успехами в учёбе, он очень старался.

Восьмого марта, в праздник всех российских девушек и дам, учительницы получили поздравления от директора. В классах и на улицах пахло свежей мимозой. Борька пришел в школу с букетиком фиалок и преподнёс мне духи «Не забывай» – *хит* того времени. Это было не всё: он держал билеты в кино, кажется, это был суперромантический фильм «Человек Амфибия». В кино Борька смущённо и робко пытался взять меня за руку, но я сочла это уже чрезмерным.

На следующий день в классе начался бунт против нашей с Борькой смелости. Все девочки устроили мне обструкцию и перестали со мной разговаривать. На Борьку смотрели с неприкрытой ненавистью и возмущением.

– Как ты могла с ним пойти в кино? – шипели, как змеи, подружки.

Сейчас подобное кажется невероятным, но в те времена нам не разрешалось ничего. Нельзя было отрезать чёлку, а бабушкино тоненькое серебряное колечко на моём пальце послужило поводом для вызова к директору. Не знаю, чего было больше в этом скандале, зависти, ханжества или всё же ощущения, что мы с Борькой – не пара.

Только отношения наши после этого прекратились. После восьмого класса я перешла с моими элитными друзьями в математическую школу на Театральной площади (тогда все собирались стать инженерами, но только не я, это было просто, *за компанию*).

Во время перестройки, в дикие девяностые, самым модным занятием была недвижимость, к чему и я присоседилась, причём одной из первых. В здание Главного штаба на Мойке, где у нас был офис, стали захаживать всякие *экзотические личности*. Стало ясно, что без «крыши» не обойтись. На первую же *разборку* с чеченами были вызваны «*наши*», все, как один, – красавцы под два метра ростом. Среди них я и увидела Борьку. Он был коротко подстрижен, с культовой золотой цепью на шее, в дорогих джинсах, даже с обручальным кольцом. Мы оба обрадовались встрече. Особенно я – как-то неприятно было думать, что он сопьётся, как его папаша.

Чечены были успешно отогнаны, и на время на фирме воцарился мир и успех, с расселением жутких и прекрасных коммуналок с алкоголиками и сумасшедшими, живших среди атлантов и кариатид, лепных потолков и зеркальных окон. Но об этом в следующий раз. А Борьку я больше никогда не видела.

ЛЕОНИД ДАНЦИГЕР

ЧТО ИСКАЛИ И НАХОДИЛИ В КИЕВЕ ЗНАМЕНИТЫЕ ПОЭТЫ И ПИСАТЕЛИ

*«Бальзак приехал за любовью, Рильке восторгался
красотой Лавры, а Стейнбек – украинской старкой»*

Недавно я наткнулся на неожиданные строки одного из моих любимых писателей, Джона Стейнбека, в которых он описывал свой визит в Киев. Американский прозаик, лауреат Нобелевской премии, оказывается, *со вкусом* провёл время в украинской столице! В 1947 г. он побывал в гостях на даче киевских друзей Сталина и Хрущёва: Александра Корнейчука и Ванды Василевской. Я решил узнать, кто ещё из писателей приезжал в Киев, и что с ними тут приключалось.

Джона Стейнбека впечатлил обед...

Много путешествуя по Европе, писатель Джон Стейнбек приехал в Киев вместе с известным фотографом Робертом Капой, который документировал послевоенный Киев на плёнку. Жилище, в котором принимали автора «О мышах и людях», находилось на улице Обсерваторной 6, на Лукьяновке. В 1940-х годах тут проживали писатели-супруги Александр Корнейчук и Ванда Василевская, которые по случаю приезда именитого гостя закатали пир. В своей книге «Русские дневники» Стейнбек с восторгом описывал, насколько тёплый приём умеют организовать в здешних краях. Писатель отдавал себе отчёт, что Киев в 1947 г. переживал тяжёлые времена и люди жили в бедности. Но, принимая его, люди старались достать всё самое лучшее, что могли, и всегда шутили – именно таким образом, по его мнению, проявлялась особенность украинского народа.

«Они жили в хорошем доме с большим садом. Обед был накрыт на веранде, под тенью раскидистой виноградной лозы. Обед приготовила Ванда Василевская. Он был вкусный и очень обильный. Еда состояла из баклажанной икры, днепровской рыбы, приготовленной в томатном соусе, странных на вкус фаршированных яиц и старки – желтоватой водки с тонким вкусом. Потом подали крепкий бульон, жареных цыплят – наподобие тех, что готовят у нас на юге, с той лишь разницей, что этих сначала обвалили в сухарях. Затем был пирог, кофе, ликёр, и, наконец, Корнейчук выложил сигары в алюминиевых футлярах», — писал автор.

Стейнбек с Капой пробыли в Украине около двух недель, собирая материал о восстановлении страны после войны, который, как отмечали они в своих дневниках, «газетчикам не понравится».

Пастернак и Ирпень...

Бориса Пастернака с Киевом связывает личная история. Двое друзей-москвичей – выдающийся пианист Генрих Нейгауз и историк философии Валентин Асмус – регулярно выезжали отдыхать в места, которые нынче располагаются в Киевской области. В июне 1930-го они решили пригласить и Бориса Пастернака, с которым дружили. Он дал согласие, и они сняли дачи в Ирпене, в которые вместе с семьями заселилась на целое лето.

Автор «Доктора Живаго» жил на улице Пушкинской – некоторые историки полагают, что это был 47-й дом. Жилище было не очень комфортным, но Пастернак влюбился в здешнюю природу и воздух. Уже дома он рассказывал, что это лето было для него одним из лучших в его жизни! И даже написал стихотворение, которое так и называется – «Ирпень».

*«Ирпень –
это память о людях и лете,
О воле, о бегстве из-под
кабалы,
О хвое на зное,
о сером левкое
И смене безветрия,
вёдра и мглы.
О белой вербене,
о тёрпком терпенье
Смолы; о друзьях,
для которых малы
Мои похвалы и
мои восхваленья,
Мои славословья,
мои похвалы...»*

Маяковский и морковка...

Владимир Маяковский, всем футуристам – футурист, в Киеве был несколько раз, и каждый его приезд – сюжет, как минимум, для полнометражного художественного фильма. Чего только стоит его выступление со стихами в 1913 г. во Втором городском театре, который находился на месте стадиона «Динамо». За несколько часов до чтения своей высокой поэзии он *посидел* в ресторане «Роотса», и потому к мероприятию был уже в *нерабочем* настроении.

Выступал он вместе с коллегами – Василием Каменским и Давидом Бурлюком. Декорацией для их чтений стал рояль, висящий верх ногами. Троица решила покорить киевскую публику концентрацией футуризма:

поэты вышли на сцену и стали читать свои стихи одновременно – каждый своё произведение. Конечно, публика обезумела и начала возмущаться, мол, а где же классика и Пушкин? Один мужчина оказался активнее всех:

– Что это было?

На что Маяковский, поправив торчавшую из кармана рубашки... морковку, ответил:

– Молчи, лысая говядина!

Публика онемела...

«Говядиной» оказался тогдашний киевский градоначальник. Такие истории с Владимиром Маяковским в Киеве проходили сплошь и рядом. Особенно в Киеве он любил кондитерскую «Яссы», где помимо всевозможных сладостей, был ещё и бильярд.

Отрывок из стихотворения «Киев», которое Владимир Маяковский написал в 1924 г., вдохновившись январской поездкой в украинскую столицу:

Отрывок о городе

«Лапы ёлок, лапки, лапушки...

Все в снегу, а тёплые какие!

*Будто в гости к старой, старой бабушке я вчера
приехал в Киев.*

Вот стою на горке, на Владимирской.

Ширь всюю – не вымчатъ и перу!

*Так когда-то, рассиявшись в выморозки,
Киевскую Русь оглядывал Перун.*

*А потом – когда и кто, не помню толком,
только знаю,*

что сюда вот по льду,

да и по воде, в порогах,

волоком – или с дарами к Диру и Аскольду».

Блок и реклама...

Российский поэт Александр Блок приезжал в Киев в качестве «приглашённой звезды». Издатели журнала «В мире искусства» 4 октября 1907 г. организовали в Оперном театре «Вечер искусств». К участию они пригласили столичных и московских знаменитостей, в том числе и Александра Блока

Событие было многообещающее, и чтобы оно привлекло внимание всего местного бомонда, афиши развесили по всему городу. Именно избыток рекламы – первое, на что обратил внимание поэт, когда прибыл в Киев.

«Приехал в Киев 4-го утром. На вокзале встретили, усадили в коляску и примчали в лучшую гостиницу», – писал Блок у себя в дневниках.

Московский бомонд холодно отреагировал на все потуги организаторов сделать приём максимально тёплым – им это показалось «провинциальным». При этом, поэт был доволен собой, отметив в дневнике «изрядный успех».

Позже он писал о Киеве: *«Можно стоять в сумерки на высокой горе: по одну сторону – загородная тюрьма, окопанная рвом. Красная луна встаёт, и часовые ходят. А впереди – высокий бурьян. За бурьяном – весь Киев амфитеатром – белый и золотой от церквей, пока на него не хлынули сумерки. А позже – Киев весь в огнях и далеко за ним моря железнодорожного электричества и синяя мгла».*

Рильке и Кобзарь...

Был в Киеве и Райнер Мария Рильке. Он заехал в украинскую столицу на две недели, перед большим путешествием по реке Волге. Его страстью были красивые храмы и церкви – особенно те, в которых «много старых картин и драгоценных реликвий», поэтому Рильке с упоением проводил время в соборах и монастырях.

Больше всего его впечатлила Киево-Печерская лавра. Рильке восторгался архитектурным величием и особой атмосферой, которую ощущал, находясь там. Лавра так запомнилась поэту, что позже он вспоминает её в «Книге часов», в кругу бессмертных творений человечества – Венеции, Рима, Флоренции, Пизы.

В этом путешествии Райнер Мария познакомился с творчеством Тараса Шевченко. Он изучал его произведения в русских переводах, и они настолько его поразили, что Рильке решил посетить его могилу в Каневе. Поэт увлёкся украинской культурой. Например, именно благодаря «Кобзарю» Тараса Шевченко он специально познакомился с Остапом Вересаем – одним из самых известных исполнителей украинских песен и дум. Поэт очень проникся его историей, в частности «Песней о правде и несправедливости», за исполнение которой Кобзаря неоднократно арестовывали. настолько проникся, что использовал в своём произведении «Песня о Правде». Эта поездка отразилась на творчестве Рильке.

Бальзак: любовь и болезнь...

Французского писателя Оноре де Бальзака в Украину привела романтическая история – он приезжал сюда к своей возлюбленной Эвелине Ганской.

Правда у этой истории была и другая, более прозаичная сторона. Когда ему было тридцать лет, у него были плохи финансовые дела – не было иного выхода, кроме женитьбы на богатой. Он писал сестре: *«Подыщи мне богатую вдову, я дам тебе пять процентов с приданого».*

В Вене он познакомился с богатой полячкой Ганской. Молниеносная страсть поразила пару, несмотря на то, что Ганская была замужем. Супруг её был стар, и поэтому они не могли быть вместе. Муж Ганской прожил ещё почти 20 лет!

После его кончины, в 1848 г., Бальзак отправился в Киев, несмотря на то, что там бушевала холера. После прогулки в Лавру, заболел. А потом приехал во второй раз, и в третий, и снова болел, и с каждым разом всё серьезней. Настолько, что так и не смог отпраздновать брак с Ганской.

Анна Ахматова любила Софию...

Поэтесса Анна Ахматова воспевала Софийский собор, обожала киевские улочки и прогулки под фонарями. В Киеве у неё многое случилось впервые – серьёзная учёба, стихи, муж.

При этом её не устраивали те, кто её окружал, когда она только переехала в Киев. В письмах юная поэтесса жаловалась: *«Все праздники я провела у тётки Вакар, которая меня не выносит. Все посылно издевались надо мной, дядя умеет кричать не хуже папы, а если закрыть глаза, то иллюзия полная. Кричал же он два раза в день: за обедом и после вечернего чая».*

Лев Толстой нашел в Киеве «мало поучительного»...

Лев Толстой был очень взбудоражен предстоящим визитом в Киев в 1879 г. Однако по прибытии написал: *«Всё утро до трёх ходил по соборам, пещерам, монахам и очень недоволен поездкой. Не стоило того».*

Жан-Поль Сартр почитал Шевченко...

Автор «Тошноты» – Жан-Поль Сартр приезжал в Киев в 1964 г. в составе делегации ЮНЕСКО на 150-летие со дня рождения Шевченко. Помимо столицы, он увидел Тарасову гору в Каневе. Он пригласил с собой де Бовуар.

Симона де Бовуар приехала на юбилей...

Французская писательница Симона де Бовуар приезжала в Киев на особое событие – юбилей Тараса Шевченко в 1964 г. Но её персону не вызвала большого интереса, несмотря на то, что её книга «Второй пол» была переведена уже на множество языков мира.

Ярослав Гашек: бутылка и офицер...

История, случившаяся с Гашеком, достойна кинофильма, как и оказии Маяковского. Вступив в конфликт с офицером и ударив его бутылкой, писатель получил 11 дней в гарнизонной тюрьме в Борисполе. Там, кстати, и родился «Швейк».

Использованные материалы:

Сайт: <https://www.segodnya.ua/ukraine/ahmatova-tolstoy-i-sartr-chto-iskali-i-nahodili-v-kieve-znamenitye-poety-i-pisateli-1063424.html>

ГРЕТА ИОНКИС

ГЕНРИХ ФОГЕЛЕР: «ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ»

*«А мог бы жизнь просвистать скворцом,
Заест ореховым пирогом,
Да, видно, нельзя никак...»*

Осип Манделъштам

Впервые мои пути пересеклись с художником в детстве. Было это в годы войны, во время эвакуации, в далёком Казахстане. Моя бабушка умерла от тифа в поселковой больничке и похоронена была неподалёку от могилы неизвестного немца. На могилах по соседству не было ни памятников, ни крестов – одни холмики. На один я присела, а однорукий мужичонка, помогавший деду копать могилу, сказал: «Пущай посидит, а то ж к тому немцу блажному никто никогда не придёт. Он, видать, ребятью любил, толклись они возле него, когда он малевал углём. А сам по-русски ни бельмеса. Вот малявка посидит, вроде, как и его попроведали».

Много-много позже, когда я узнала о горестной судьбе Фогелера, меня вдруг осенило, что сидела-то я, видимо, на его могиле. Сейчас от могилы и от погоста и следа не осталось. А с той поры запомнился глинобитный давно не белёный домишко с низкими оконцами: мутный мигающий глаз копящей керосиновой лампы; в углу на табурете оцинкованное ведро с водой и с жестяной кружкой почему-то на цепи; едкий дым кизяка, которым санитарка топила печку, смешанный с запахом карболки... В этом бараке в июне 1942 г. кончил свой земной путь знаменитый мастер Генрих Фогелер.

За два месяца до кончины тот, чьи работы украшали многие музеи и художественные салоны Европы, бродил в поисках пропитания



Генрих Фогелер. 1897 г.



Генрих Фогелер. Автопортрет.

по забытой Богом деревушке, значившейся в государственных анналах, как колхоз имени «1 Мая». В ветхой одежде, болтавшейся на его вконец отощавшем теле, заросший клочковатой бородой, с воспалёнными слезящимися глазами, немощный старик топтался у саманных дувалов, не решаясь постучать, побеспокоить хозяев и попросить милостыню. Прибывший в карагандинские степи из Москвы в сентябре с первым эшелонем «эвакуированных граждан немецкой национальности», он всё это время скорее из-за общей неразберихи, нежели по злему умыслу, не получал своей жалкой пенсии, а потому в возрасте семидесяти лет подрядился на земляные работы на строящуюся поблизости плотину. Наступила зима. На пронизывающем ветру без спецодежды, голодный – и более молодой бы не выдержал, Фогелер тяжело занемог. Вещи, которые можно было выменять на хлеб, кончились. Вначале он брал в долг у хозяев, соседей, затем стал попрошайничать. Денежный перевод из Москвы от друзей пришёл лишь в начале мая. Он смог раздать долги: последнее утешение для честного немца перед смертью.

Пути Господни неисповедимы. Кто бы мог подумать, что на исходе века, на излёте жизни я окажусь в Германии и вновь «пересекусь» с Генрихом Фогелером?! По делам я на поезде отправилась в Гамбург. Миновав Бремен, проскочили указатель на Ворпсведе. Взгляд скользнул и зацепился. Меня подбросило. Боже мой! Это ведь то самое Ворпсведе! Рильке! Фогелер! Лет тридцать назад ухватила в Комсомольске-на-Амуре сборник Рильке (в Москве было не купить!), в который вошла часть его монографии о немецких художниках группы «Ворпсведе». Их было пятеро: Отто Модерзон, Фриц Макензен, Ганс ам Энде, Фриц Овербек, но лишь Генрих Фогелер получил известность за пределами Германии.

Родившийся в семье бременского торговца металлом на заре бисмарковской эпохи, Генрих не пошёл по стопам отца, как положено старшему бюргерскому сыну. Его пристрастие к карандашу, перу, кисти проявилось очень рано. Оно определило выбор профессии, поступление в Академию искусств в Дюссельдорфе. Ему было 22 года, когда он поселился в Ворпсведе и вместе с друзьями студенческих лет, художниками, создал товарищество (*Künstler-Verein, Worpswede*).

«Это странная земля, – пишет Рильке. – Стоя на песчаном взгорке Ворпсведе, видишь, как она расстилается вокруг, подобная тем крестьянским платкам, на фоне которых кое-где глубокими тонами поблескивают цветы. Она лежит плоская, почти без единой складки, и дороги, и русла далеко уводят за горизонт. Там начинается небо, неопишимо изменчивое и огромное. Оно отражается в каждой листке. Кажется, все предметы заняты им. Оно везде. И везде – море. Море, которого больше нет, которое тысячи лет назад вздымалось и падало здесь... Предметы не могут этого забыть. Великий шум, которым преисполнены старые сосны на взгорке, кажется его шумом,

и ветер – пространный, могучий ветер – приносит его запах. Море – история этой земли. Едва ли у неё есть другое прошлое».

Перед молодыми немецкими художниками, приехавшими сюда в поисках своего индивидуального почерка, возникли бесчисленные загадки этой земли. Почти два десятилетия здесь продолжалась серьёзная, уединённая работа. Подобно французам – «барбизонцам», опередивших их на полстолетия, художники «Ворпсведе» сосредоточились на окружающем ландшафте, находя поэтическое и прекрасное в обыденном, включая в пейзаж местных жителей-крестьян, рослых, медлительных, живущих тяжким трудом – добычей торфа. По свидетельству Рильке, художники не стремились изменить жизнь этих людей, столь на них непохожих: «Они не помогают этим людям, они не поучают их, они не улучшают их. Они ничего не привносят в их жизнь, остающуюся по-прежнему тёмной и жалкой, – но из глубины этой жизни они извлекают правду, которая растит их самих...» Поэт оказался пророком: его друг, Фогелер, отягчённый бременем добытой правды, не сможет жить по-прежнему, новое знание кардинально изменит его жизнь и судьбу. Но будущее пока тёмно, а творческая жизнь только начинается...

Успех не заставил себя долго ждать. Уже в 1895 г. далёкие от академизма работы затворников Ворпсведе оказались *звёздём* ежегодной международной художественной выставки в Мюнхене. Натуральное почвенничество странным образом сочеталось в них с изысканной утончённостью и изнеженностью, от них веяло свежестью и наивностью. На радостях Фогелер приобретает крытый соломой дом, получивший имя «Barkenhoff», который он с упоением достраивает и перестраивает более десяти лет, особое внимание уделяя саду и благоустройству территории. Он стал настоящим режиссёром сада. В результате его увлечения дизайном и архитектурой «Баркенхофф» превращается в «Остров Красоты». Любопытно, что и мюнхенское издательство, и берлинский журнал модерна, с которыми он сотрудничал, назывались «Остров» («Insel»). Заглавные листы «Инзеля», начавшего выходить в 1899 г., выполненные Фогелером, – настоящее чудо графического искусства. Неудивительно, что журнал «Мир искусства» воспроизвёл в 1900 г. одну из этих обложек. Задолго до того, как художник оказался в России, там появилась его «визитная карточка». Тогда ещё никто, и он сам, не знал, какое место в его жизни займёт эта страна.

Время от времени Фогелер покидает свой «Остров Красоты». Ещё до того как осесть в Ворпсведе, он ездил в Голландию, Бельгию (Брюгге) знакомиться с искусством старых немецких и нидерландских мастеров, глубинная связь с которыми просматривается в его раннем творчестве. Бывал он и в Италии. Именно здесь, во Флоренции, встретил он в 1898 г. Райнера-Мария Рильке. Их знакомство, переросшее в дружбу, оказало огромное влияние на судьбу художника. Рильке не раз жывал в Ворпсведе. Нигде в Германии –

ни в Берлине, ни в Мюнхене – не чувствовал он себя так легко, как в этой сельской местности. Ему хорошо работалось в творческой атмосфере «Баркенхофа», в этом культурном оазисе, где всех объединяло помимо художественных интересов ещё и чувство большой Семьи. Дух Семьи царил и в «Прерафаэлитском Братстве». О деятельности этих английских художников в Ворпсведе были не просто наслышаны. Это была своего рода модель.

В гостеприимном доме Фогелера всем хватало места. По вечерам собирались в Белом зале: читали стихи, музицировали, танцевали, разыгрывали сценки, дурачились. Здесь царил культ красоты, а следовательно – культ женщины. Всеобщей любимицей была Паула Беккер, грациозная белокурая художница. «Её волосы – флорентийского золота. В её голосе – складки, словно из шёлка» (Рильке). Она излучала веселье, жизнелюбие, её внутренняя свобода, непосредственность влекли к ней и мужчин, и женщин. Её автопортрет можно сегодня увидеть в художественном музее Людвига в Кёльне. В Паулу были влюблены все. Весной 1901 г. в «Баркенхофе» играли одну за другой три свадьбы: Фогелера и красавицы Марты Шрёдер, Рильке и ученицы Родена Клары Вестхоф, Отто Модерзона и Паулы.

Из трёх женщин самой одарённой, несомненно, была Паула, но это поняли далеко не сразу. Рильке, удивительный портрет которого она не закончила, понял. Она умерла первыми родами в 1907 г., когда ей шёл тридцать первый год. С её уходом начался распад большой Семьи. Спустя год Фогелер организовал её выставку, и его стараниями работы Паулы ушли в известные частные собрания Бремена, Ганновера, Эльберфельда, а оттуда разошлись по музеям. В тот же год Рильке создал стихотворный реквием подруге, в котором сформулировал своё понимание любви: «Вся любви премудрость – давать друг другу волю». Фогелеру был близок этот новый тип любви.

«От художественного братства к рабочей коммуне» – такова внутренняя логика развития «Баркенхофа», но она ещё скрыта от хозяина. А пока он покорён поэтической и музыкальной культурой Рильке, но ещё больше его духовной широтой. С интересом внимает он рассказам друга о его недавних поездках в Россию, куда его увлекла «русская Муза» и возлюбленная, писательница Лу Андреас-Саломе. Рильке потрясён и поглощён русскими впечатлениями, он настойчиво и всерьёз учит русский язык, читает стихи Лермонтова и прозу Толстого в оригинале. Фогелер заразился восторженной любовью Рильке к России, это чувство будет медленно зреть в его душе. Понимая значение друг друга в искусстве, Рильке и Фогелер строят совместные планы. В этот период Фогелер охотно иллюстрирует сборники и отдельные стихотворения поэта, в том числе и написанные по-русски.

В начале XX века Фогелер – признанный мастер графического искусства. Через экслибрисы он приблизился к пониманию духа книги. В его активе иллюстрации к «Затонувшему колоколу» Гауптмана, к сказке Уайльда

«Рыбак и его душа», к томику стихотворений Бирбаума, к драме Гуго фон Гофмансталя «Император и ведьма». Поэзия символизма созвучна его художественной манере. В его графике – в удлинённых, причудливо переплетающихся и будто колышущихся линиях – ощутимо непреходящее влияние английских прерафаэлитов и Обри Бердсли. Но, вероятно, более прав Рильке, который считал, что несравнимо большую власть над ним имел его сад, который с годами разрастался, густел, меняясь от весны к лету. «С этим садом, с ненасытными запросами этих деревьев, чьи ветви переплетаются, выросло искусство Генриха Фогелера». В его орнаментах оживают ритмы природы. Язык его линий, поначалу напомилавший жидкие тоненькие саженцы, редкую сеть их ветвей, сквозь которую сквозит небо, менялся по мере того, как рос его сад. Сад разросся, разветвились кроны деревьев, образовались настоящие зелёные кружева, и в его рисунках наметилось стремление заполнить пространство. «Это новое намерение даёт себя знать в более поздних гравюрах, но подлинного осуществления достигает лишь в рисунках пером. Лишайником из многих тысяч нитей распространяется рисунок по листу, окутывает его своим богатством, увеличивается, словно ткань под микроскопом». Сопоставьте его ранние листы из альбома «К весне» (1896) с упоминавшимися титульными листами к журналу «Инзель» (1900) или с рисунками пером «Благовещение» (1912), «Мелюзина» (1914) – вы убедитесь в правоте Рильке. Сегодня мы имеем возможность познакомиться с работами этого художника, видеть их в перспективе. В 1989 г. по случаю столетия Ворпсведе, как художественного центра, была организована выставка Генриха Фогелера и издан её роскошный каталог. На его основе создавалась книга Бернда Штенцига «Ворпсведе – Москва», которая эмоционально меня очень задела. Возвращаясь мыслями к личности Генриха Фогелера, на мой взгляд, удивительно цельной, несмотря на превратности и зигзаги судьбы, я искала и открывала в его динамичной жизни отражения и приметы нашего трагического бурного времени, сходство с судьбой близких мне людей. Лучший способ избавиться от навязчивых мыслей – поделиться ими. А потому вернёмся к раннему Фогелеру.

Сотрудничество с Рильке выходит за пределы иллюстрирования его книг. В начале 1902 г. они вместе работают над постановкой «Сёстры Беатрисы» Мориса Метерлинка, которой решено отметить открытие Бременского Выставочного зала. Фогелер расписывает декорации, он – оформитель спектакля, Рильке – режиссёр. Обращение к театральной живописи – предвестье увлечения Фогелером станковой и монументальной живописью.

Стремление к синтезу искусств, отношение к декоративно-прикладным вещам, как к произведениям искусства, ориентация на органические формы, если хотите, «витализм», характерны для эпохи модерна. Рильке поощряет искания и отмечает успехи друга в области прикладных искусств.

«В его характере, приверженном к осуществлению, должно было быстро развиться желание изготавливать вещи». Поначалу это были вышитые переплёт, стенные ковры на шёлке, плетение кружев, затем облицовка стен, изготовление витражей. «Баркенхоф» был своеобразным опытным участком, где шли поиски новых форм, нового стиля. Фогелер овладевал различными материалами, он научился обрабатывать шёлк, серебро, дерево, стекло так, чтобы проявились все достоинства материала. К чему бы ни прикоснулась его рука, всё обретало красоту.

Для многих художников рубежа веков характерно стремление внедриться в быт. Пионерами были англичане: Уильям Моррис и компания, создавшие фирму по производству гобеленов, тканей, мебели, фурнитуры. В России на исходе XIX века тоже появились художественные центры: вначале – подмосковное Абрамцево (усадьба Аксаковых, а позже – мецената Мамонтова), затем – смоленская усадьба Талашкино, приобретённая княгиней Тенишевой, где были открыты столярные и гончарные мастерские. Рильке ездил в Абрамцево и, конечно, делился в Ворпсведе своими впечатлениями. В Абрамцево работали Репин, с которым Рильке познакомился лично, и Васнецов, о котором он написал большую статью. В Талашкино в эту пору жил Малютин, оформивший интерьер театра, построивший и расписавший там церковь и волшебной красоты домик. «Теремок» – это продолжение тех сказок, которые он иллюстрировал. Рильке, хоть и не побывал в Талашкино, привёз в Ворпсведе книги, оформленные Малютиным. Сказочные сюжеты Малютина не могли не увлечь Фогелера, создавшего немало графических листов и полотен на сказочные мотивы, в частности, предложившего свой вариант эстетизированной сказки о Мелюзине. В письме русскому знакомцу, П. Д. Эттингеру, критику, библиофилу и собирателю, Рильке сообщает, что его друзья в Ворпсведе в восхищении от Малютина и просит прислать ещё несколько его книг: «Вы не можете себе представить, до какой степени художники Ворпсведе очарованы искусством Малютина!» При этом он не упускает случая рассказать об успехах друга: «Сейчас Г. Ф. здесь (в Берлине. – Г. И.), участвует в большой коллективной выставке, на которой собраны прекрасные новые работы: около 10 картин маслом, множество гравюр и рисунков, мебель и изделия из серебра (большой серебряный гарнитур, лампа и зеркало, оправленное в серебро)». Серебряные изделия Фогелера вызывают его восторг: «Быть может, лунный свет над его садом навёл художника на мысль о серебре, которым он теперь владеет, как поэт владеет своим словом. Кто, кроме него, так понимает девичью нежность этого общительного металла!»

В 1904 г. Фогелер получает престижный заказ – оформить зал в Бременской Ратуше («*Güldenhammer*»). В оформлении стен он использует не столько сюжетные, сколько декоративные мотивы. Живописные панно как

бы продолжают ритмику и формы деревянных панелей, «подлаживаясь» под архитектуру. Мебель в зале имеет приблизительно те же пропорциональные членения, что и архитектура. Скульптурные рельефы, помещённые над каминами, становятся архитектурными деталями. Увидеть зал нам не дано: он погиб в огне бомбёжки. Сохранившиеся эскизы и фотография зала 1907 г. позволяют судить о том, что Фогелер, как дизайнер, держится «полумодерна» (немецкий искусствовед Р. Мутер относит Фогелера к романтикам стиля «Бидермайер»), это не чистый «Югендстиль» бельгийца Виктора Орта или австрийца Климта, тем более это не «Гауди», но если вы окажетесь в лондонском Музее «Королевы Виктории и принца Альберта», вы увидите три зала, интерьеры которых близки Фогелеру.

В живописи Фогелера Рильке отмечает ту же эволюцию, что в графике и рисунках: цвет усиливается. Свет уже не падает широкими полосами сквозь редкую сень ветвей, не течёт светлыми струями в берегах очертаний. Теперь на картинах играют подвижные живые краски, в которых – радостное знание и видение мира. Художнику не терпится передать их на холсте. Одно за другим возникают новые полотна. Рильке написал свою монографию «Ворпсведе» в 1902 г., находясь у истока эволюции собрата-художника, но проявил при этом редкостное, доступное лишь большому поэту, её понимание. «Так много ещё ненаписанного, может быть, ничего не написано», – завершает он главу о Фогелере. И действительно, лучшие живописные работы впереди: «Летний вечер» (1905), «Мечтания» (1906), «Марта под каштановым деревом» (1907), триптих «Мелюзина», «Меланхолия» и «Ожидание II» (1912). Декоративностью, стилизацией они напоминают картины Константина Сомова, но пронизаны иным настроением, имя которому – *кротость и умиление*. Умиление! Теперь и слова-то этого не услышишь. Лишь мой учитель, профессор Пуришев, с особым чувством произносил это прекрасное слово, рассказывая нам об иконах Рублёва и фресках Дионисия. Фогелеру ещё доведётся их увидеть.

Рильке глубоко постиг своеобразие раннего творчества Фогелера, понял и оценил его человеческие достоинства: «Потому и напоминает Генрих Фогелер о старых мастерах, что его жизнь – не от мира сего, простая и праздничная, скромная и великая. Не знаешь, как назвать его. Он художник тихого, немецкого Жития девы Марии, которое проходит в маленьком саду». Сам Рильке записал в гостевую книгу Ворпсведе стихи о Марии. Фогелер намеревался их издать со своими иллюстрациями. Спустя десять лет Рильке вернулся к ним, переписал, так возник поэтический цикл «Жизнь Марии» (1912) о преимуществе женской «природы» наделённой мощью чувств. Показательно, что свой новый сборник поэт посвятил другу. Вот это посвящение: «Генриху Фогелеру с благодарностью за старые и новые поводы к этим стихам». Стихи эти получили конгениальный отклик в музыке Пауля

Хиндемита (1923). Но когда Рильке в начале века, в 1902 г., писал о художниках Ворпсведе, о «садовнике» Фогелере, даже ему не дано было предугадать, какая буря в не столь далёком будущем пронесётся над этим садом. Однако главное – «не от мира сего» – сказано. Фогелер, и в самом деле, был человеком не от мира сего, хотя бы потому, что в век разнузданного индивидуализма, торжества «эго», он посвятил свою жизнь служению общественному делу, миру в старорусском понимании этого слова (на языке крестьянина «мир» – это сельская община). Он принёс себя в жертву на алтарь своей новой веры.

В преддверии большой грозы – мировой войны – неожиданно дала трещину семейная жизнь художника. Первые годы его семейный союз всем казался на удивление покойным и прочным. В начале века в «Баркенхофе» собиралась духовная элита: братья Карл и Герхардт Гауптманы, Бирбаум, Рене Шикеле, поэт Р. А. Шрёдер, Макс Рейнхардт, Томас Манн... В музыкальном салоне блистали пианист Эгон Петри, двенадцатилетний скрипач Георг Куленкампф. Сестра Паулы исполняла песни Шуберта. На известной картине «Летний вечер» или («Концерт»), 1905, Фогелер запечатлел этот дорогой ему мир, этот Остров счастья, в центре которого – его Марта. Марте же этот мир казался искусственным. Она тяготилась навязанным ей образом жизни и обликом (Фогелер моделировал даже её одежду, она должна была всегда и во всём являть воплощение его Идеала). Схожая драма разыгралась в то же время в семье Александра Блока. Конфликт между мечтой и действительностью, как видите, имел место не только в искусстве, но и в личной жизни. И Блок, и Фогелер пытались «творить» свою жизнь по законам эстетики, что привело, в конце концов, к драме в их личной жизни.

Родившая двух дочерей и занимавшаяся прикладным искусством, Марта, казалось бы, жена-подруга, неожиданно влюбилась в другого. Мир Фогелера рухнул в одночасье. Пытаясь выстоять, Фогелер с головой уходит в работу. Его Дело – настоящий якорь спасения. К этому времени он создал вместе с братом художественные мастерские, где по его эскизам изготавливались образцы мебели для последующего серийного производства. По его проектам в Ворпсведе строятся дома для рабочих, занятых в его мастерских. Проект создания рабочего посёлка остался нереализованным, но железнодорожный вокзал в Ворпсведе в 1910 г. он построил. На Всемирной выставке в Брюсселе работы из Ворпсведе были отмечены премиями, тем не менее, в это время намечился спад интереса к художнику. Он сам ощущает творческий кризис.

Поиски новых ориентиров толкают Фогелера в путь: он то и дело ездит в Швейцарию, Австрию, на юг Германии, где сложилась своя художественная колония в Дармштадте. В эту пору новые искания в области живописи осуществлялись уже не в пределах «Югендстиля», или «Арт Нуво», но в других стилевых направлениях. Во Франции это был «фовизм» и «кубизм», в Германии – «экспрессионизм», в России – «кубофутуризм». Экспрессионисты

стремились выразить своё ощущение кризиса западной цивилизации, «заката Европы». Они выражали своё пессимистическое чувство конца, распада через хаотическую деформацию, намеренную резкость изобразительного языка. К экспрессионизму тяготели и швейцарец Ходлер, и немцы Клее и Кирхнер, и австриец Шиле, продолжатель Климта. В Мюнхене в новой манере работают Кандинский, Явленский, Верёвкина. Фогелер присматривается к их работам. На рубеже 1912-1913 гг. он снимает ателье в Шарлоттенбурге и работает там целыми сутками, бывает на выставках «Берлинского Сецессиона». Однако язык экспрессионизма он постиг не на выставках, а на фронтах первой мировой войны.

Сорокадвухлетний Фогелер пошёл на войну добровольцем, как и французский писатель Анри Барбюс. Эволюция, которую оба претерпели, в известной степени сходна. Барбюс до войны писал символистско-декадентские романы, Фогелер был художником эстетского направления. Опыт, приобретённый под Верденом, привёл к перерождению. Француз после года, проведённого в окопах, создал книгу «Огонь», в которой каждое слово воспринималось, как удар молота правды по груде лжи, именуемой войною, а унтер-офицер Фогелер за год до окончания войны, находясь во время отпуска в Ворпсведе, обратился с письмом к кайзеру, требуя заключить мир, прекратить войну. Он требовал во имя Бога положить конец лицемерию и подать пример выполнения христианских заповедей. Реакция властей была до боли знакомой: протестующего художника поместили в бременскую психушку. Сочтя «невротата» не опасным для общества, его вскоре выпустили. Открытое письмо кайзеру – первый опыт публицистики Фогелера, в нём он проявил себя как художник-экспрессионист. Он сам назвал письмо криком: «Я не могу прожить ни дня, не прокричав миру эти вещи».

Если у ранних экспрессионистов «крик» был стилистическим приёмом, выражением экстаза, новой формой лирической свободы, то в годы войны он наполнился социальным содержанием: это был вопль боли, отчаяния, сострадания. Маяковский в 1915 г. «прокричал» своё «Облако в штанах» – «четыре крика в четырёх частях». Холсты немецких художников вопили. Илья Эренбург, побывавший в послевоенные годы в Берлине и Магдебурге, вспоминает, что на выставках «Штурма» преобладала истерическая живопись, отдававшая литературщиной. Эренбург судит экспрессионизм с высоты прошедших лет. А вот, как его определил Герман Бар, идеолог течения: «Никогда ещё не было эпохи, потрясённой таким отчаянием и ужасом смерти. Никогда мир не был так нем, как могила. Никогда человек не был так мал. Никогда ещё ему не было так жутко. Никогда радость не была так далека, а свобода так мертва. Вся эпоха становится одним криком – человек взывал к своей душе. Искусство тоже кричит о помощи... Это и есть экспрессионизм».

Если поначалу война воспринималась многими как «торжество немецкого

духа», то страшная реальность (10 миллионов погибших, 11 миллионов калек) отрезвила всех. Пришло понимание, в чём заключается преступление, а с пониманием родилась ярость, и эта ярость оплодотворила искусство послевоенных лет. Раньше невозможно было даже представить, чтобы англичанин мог обратиться к «старой доброй Англии» с проклятьями вроде этого: «Да поразит тебя сифилис, старая сука! Ты отдала нас на съедение червям». Это вопль ещё одного участника войны, Ричарда Олдингтона (роман «Смерть героя»).

Осознание себя пушечным мясом, а по Хемингуэю, так просто «убоиной, которую зарывают в землю», заставило человека вынуть кулаки, оставшиеся раньше в карманах. Многие из тех, кто в разладе с собой и миром возвращались с войны, открыто призывали к бунту. Империя Гогенцоллернов не могла не рухнуть. 9 ноября 1918 г. (дата 9 ноября – роковая в истории Германии XX века) кайзер Вильгельм бежал в Голландию, а с балкона его дворца Карл Либкнехт провозгласил республику. Фогелер участвует в выборах бременского Совета рабочих и солдатских депутатов и входит в него. Среди депутатов было много «спартаковцев», сторонников Розы Люксембург, но возглавляли Совет верные Ленину Карл Радек и Пауль Фрелих. Именно в эти дни в бременском Доме профсоюзов Фогелер выступает с первым большим политическим докладом «Экспрессионизм любви – путь к миру». Он публикует его в виде брошюры. «Война – чудовищный грех, кровавая вина всех нас. Искупить её можно лишь посредством социализма». Войну он интерпретирует, как Божье наказание и одновременно, как колыбель «нового человека». Речь не осталась без внимания властей: после роспуска бременского Совета в «Баркенхофе» произведён обыск, Фогелер ненадолго взят под стражу, за усадьбой установлен постоянный (вплоть до 1933 г.) полицейский надзор. Революция в Германии напоминала отчасти русский февраль 1917-го, но ноябрь 1918-го не стал «немецким Октябрём». Тем не менее, Фогелер не «образумился», в 1919 г. он публикует программное эссе «Новая жизнь. Коммунистический манифест», сочинение в духе утопического социализма, расцвет которого пришёл на первую треть XIX столетия. Томас Манн в статье «Внимание, Европа!» (1935), оглядываясь на минувший век, пишет: «XIX век был, прежде всего, эпохой идеалистической – только сегодня и видишь с какой-то растроганностью, насколько идеалистическим он был. Он верил не только в благо либеральной демократии, но и в социализм – такой социализм, который хочет поднять массы, обучить их, донести до них науку, образованность, искусство, достояние культуры». В такой социализм «с человеческим лицом» уверовал Фогелер смолоду, война лишь укрепила его в этой вере.

В первые, послевоенные, годы, как вспоминает Эренбург, немцы жили, как на вокзале, никто не знал, что приключится завтра. «Казалось, всё

должно рухнуть, но дымили трубы заводов, банковские служащие аккуратно выписывали многозначные цифры, проститутки старательно румянились, журналисты писали о голоде в России». Между тем в Германии голодали не менее жестоко. Позднее этот период назовут «временем брюквы». Самым ходовым продуктом питания была картофельная шелуха. И при этом в витринах было выставлено всё, они дразнили голодных людей изобилием. В холодных домах спали не раздеваясь. Марка падала так быстро, а цены росли с такой скоростью, что, при выдаче зарплаты рабочих и служащих тут же отпускали в магазины, ибо за два часа деньги могли обесцениться. Ремарк об этом написал честно, без преувеличений.

После ноября 1919-го в Германии возникло движение «*Rote Hilfe*» («Красная помощь»), которое ставило целью привлечь внимание к народным бедствиям и беднякам и занималось сбором средств для помощи им. В рамках этого движения начали действовать театральные агитпропгруппы, которые зарабатывали деньги, показывая короткие сценки, скетчи, эстрадные номера. Художники не остались в стороне от этого движения. Нужны были плакаты – они писали плакаты. В 1921 г. вместе с известным скульптором и художницей Кетэ Кольвиц Фогелер подписывает воззвание о помощи голодающим России. Что движет ими? Их побудительные мотивы сходны с теми, что двигали русской интеллигенцией, дворянской и разночинной, которая пошла в народ после отмены крепостного права. «Иди к обиженным! Иди к униженным! Там нужен ты», – убеждал Некрасов. Желание быть нужным, желание послужить благому делу и, конечно же, глубокое разочарование во многих ценностях и идеалах буржуазного мира, надежда на возможность переустройства мира на началах справедливости – вот что привело Фогелера (и не только его) в ряды борцов за «коммунистическое далёко». «Мы наш, мы новый мир построим!» – эти слова «Интернационала» стали девизом, или, как говорят в Германии, *мотто* последних двадцати лет жизни Фогелера. Социализм стал его новой религией.

«Социальный эксперимент» русских – так многие западные интеллигенты называли революцию 1917 г. в России – вызывал у них горячий интерес и сочувствие. Фогелер не был исключением. Мечтатель Фогелер – сторонник «социализма действия»: в 1919 г. он создаёт «Рабочее товарищество «Баркенхоф», а в 1920-м – «Трудовую школу». Эта своеобразная коммуна просуществовала до 1923 г. Фогелер прозревал в своей коммуне пример ненасильственного переворота в общественных отношениях, способ мирного перехода от капитализма к социализму. Он был противником насилия и в этом разошёлся с коммунистами. Он не был ревнителем идеологического единства, в «Баркенхофе» можно было исповедовать любую художественную веру.

Фогелер-художник в эту пору ненадолго увлекается приёмами кубиз-

ма, сохраняя верность старым, т.е. реалистическим художественным представлениям. Ломаная, обрывистая линия, умеренная деформация тел и предметов подчёркивают, усиливают «экспрессионистичность» (таковы офорт «Семь чаш гнева. Откровения Иоанна», первые эскизы «Вердена»). Однако с начала 1920-х гг. Фогелер всё более тяготеет к языку плаката. Впервые в его работах появляется новое для него плоскостное пространство. Отчётливее всего эта манера проявилась во фресках, которыми он расписал – маслом по гипсу – большой холл в «Баркенхофе». Фрески, изображающие сцены революционной борьбы и новую свободную жизнь в коммунистическом обществе, созданы на принципиально иной основе, нежели его прежние живописные работы. Он работал над этими панно с 1920-го по 1926 г., по ним легко следить за переменами в его мировоззрении, наблюдать растущую политизированность. После прихода фашистов к власти фрески будут уничтожены. Впрочем, власти покушались на них и во время Веймарской республики. Ему пришлось вести настоящую борьбу за своё детище. На середину 20-х гг. приходится интенсивная деятельность Фогелера, как педагога, оратора, политического публициста.

Младший современник Фогелера, известный художник Георг Гросс, пропагандист немецкого дадаизма, в книге «Искусство в опасности» (1925) решительно утверждал: «Современному художнику, если он не хочет быть пустоцветом или отставшим от века неудачником, приходится выбирать одно из двух: технику или пропаганду классово-борьбы. И в том и в другом случае он должен отказаться от „чистого искусства“. Либо он в качестве инженера, архитектора, рисовальщика реклам вступает в ряды армии, которая собирает индустриальные силы и эксплуатирует мир; либо этот художник, став ообразителем и критиком нашего времени, примкнёт в качестве пропагандиста, защитника и сторонника революционной идеи к армии угнетённых, которые борются за свою законную долю мировых ценностей, за жизнь с разумным общественным устройством». Не только Гросс и Фогелер – многие выбрали второй путь, и не нам их судить, а понять хотелось бы...

Продолжение – в следующем выпуске Альманаха.

РЕГИНА КОН

75-летию окончания Второй Мировой войны посвящается...

«ХРАНИТЕЛИ» ПАМЯТНИКОВ. НЕТИПИЧНЫЕ ГЕРОИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.

Вторая мировая война, подобно чёрной дыре, поглотила массивный объём культурных ценностей – полотна Вермеера, ван Гога, Рембрандта, Рафаэля, Леонардо, Боттичелли и менее значительных художников. Музеи и частные дома по всей Европе были лишены картин, мебели, керамики, монет и других объектов, как и многие церкви континента, из которых исчезли серебряные витражи, колокола и алтари; из синагог – древние свитки Торы; целые библиотеки были упакованы и отправлены загруженными доверху железнодорожными составами.

По словам Чарльза А. Гольдштейна, юриста Комиссии, занимающейся реституцией похищенных произведений, это была самая большая, астрономического масштаба кража культурных объектов в истории.

С присущей нацистам скрупулёзностью, для грабежа шедевров в Европе они организовали специальную команду экспертов, известную как Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR) (Оперативный штаб рейхсляйтера Розенберга) – одного из авторов «Окончательного решения еврейского вопроса», приговорённого к смертной казни Нюрнбергским трибуналом. Единственного из десяти казнённых, кто отказался произнести последнее слово на эшафоте.

Выбранные шедевры были подробно описаны, ещё до вторжения в страны, в восьмидесяти томах в кожаных переплётах, с фотографиями, как руководство для солдат вермахта. Миллионы культурных сокровищ были отправлены в Германию, как говорил Гитлер, с одной лишь целью – защитить.

Гентский алтарь Яна ван Эйка, шедевр 15-го века, который нацисты вывезли из Бельгии, был отправлен в шахты Альт-Аузее в Австрии. Бюст Нефертити перевезли из Берлина в безопасное место в калийном руднике Кайзерод в Меркерсе, в центральной Германии, где хранились также тысячи ящиков из государственных музеев Германии.

В то же самое время государственные художественные хранилища по всей Европе эвакуировали свои самые ценные экспонаты, тоже стремясь их уберечь. Мона Лиза, увезённая из Лувра в сентябре 1939 г. в машине скорой помощи, постоянно перемещалась на протяжении почти всей войны, и тем самым избежала захвата, меняя адреса не менее шести раз.

Гитлер планировал после того, как рассеется военный дым, извлечь многие из этих трофеев из тайных хранилищ, чтобы разместить их в новом «Музее

Фюрера» в его родном городе – австрийском Линце. Проект архитектурного комплекса, который должен был стать одним из лучших в мире, был подготовлен под руководством Альберта Шпеера, и предполагалось, что помимо самого Музея, в него войдут театр, плац для проведения парадов, библиотека и отель.

Еврейский музей в Праге нацисты задумали преобразовать в «Музей вымершей расы или исчезнувшего народа». В одну из старых синагог города – Майзелову, превращённую в отдел музея, были свезены экспонаты из многих оккупированных стран, собранные и инвентаризированные с немецкой точностью. К концу Второй мировой войны Еврейский музей в Праге стал обладателем свыше 200000 единиц хранения. Ныне он является государственным музеем с 40000 экспонатов и 4-мя филиалами.

23 июня 1943 г. президент Рузвельт одобрил создание «Американской комиссии по охране и утилизации художественных и исторических памятников в военных зонах», широко известной как «Комиссия Робертса», по имени её председателя, судьи Верховного суда, Оуэна Дж. Робертса. А затем было образовано подразделение «Памятники, изящные искусства и архивы», чтобы помочь защитить культурные ценности в военных областях во время и после Второй мировой войны, найти и возвратить произведения искусства, украденные или скрытые нацистами.

К работе в роли «Хранителей Памятников» были привлечены, в основном, историки искусства и музейные работники ведущих культурных учреждений Соединенных Штатов, включая Национальную художественную галерею, Музей искусств «Метрополитен», а затем также сотрудники европейских музеев.

350 человек из 13 стран, большинство из которых были волонтерами, обладали опытом работы в качестве директоров музеев, кураторов, историков искусства, художников, архитекторов и педагогов. Их должностная инструкция была проста: защищать культурные сокровища настолько, насколько позволяет война.

Они отследили, обнаружили и в последующие годы вернули более пяти миллионов предметов искусства и культуры, что, безусловно, беспрецедентно.

«Хранители» оставались в Европе до шести лет после окончания боевых действий, чтобы наблюдать за сложной реституцией похищенных произведений искусства, и одновременно участвовали в восстановлении культурной жизни в опустошённых европейских странах.

По возвращении домой многие из «Хранителей» сыграли заметную роль в развитии значительных культурных и образовательных учреждений США, среди которых такие всемирно известные музеи, как: Met, MOMA,

Национальная художественная галерея, Музей искусств Кливленда, Музей искусств Толедо, Музей искусств Нельсона-Аткинса, Нью-Йоркский городской балет, Национальный гуманитарный фонд и Национальный фонд искусств.

С годами оставалось в живых всё меньше и меньше «Хранителей», и это побудило бывшего нефтепромышленника из Техаса, филантропа Роберта Эдселя, принять на себя миссию по привлечению внимания к их деяниям во время войны. Он написал книгу и убедил Конгресс принять резолюции, признающие их заслуги, доказав, что «они заслуживают признания, которое никогда не получали». Также основал Фонд «Хранители памятников» для защиты и сохранения художественных ценностей во время вооружённых конфликтов. В 2013 г. Джордж Клуни снял фильм по книге Эдселя, и история «Хранителей» стала широко известна.

Последний «Хранитель» – Гарри Эттлингер, ушёл из жизни ровно год назад, в октябре 2018 г. Он родился в Карлсруэ и был назван Хайнц Людвиг Хаим. 25 сентября 1938 г., на следующий день после своей Бар-Мицвы, незадолго до потрясения «Ночи имперского погрома», бежал с родителями и двумя младшими братьями в США, где юношу стали звать Гарри. Однажды, в 1944 г., он прогулял школьные занятия и записался в армию, куда стремились все его одноклассники. В учебном лагере артиллеристов молодой человек получил американское гражданство. А затем наступил самый незабываемый день рождения в жизни Гарри, как позже признался Эттлингер в своей короткой автобиографии «Американец», сочинённой для семьи.

Всё произошло уже в Европе. 28 января 1945 г., в день его девятнадцатилетия шёл снег, было ужасно холодно, и он уже взобрался в грузовик с военнослужащими, отбывающими из бельгийского города Живэ, чтобы присоединиться к контратаке 99-й пехотной дивизии в битве при Арденнах. И вдруг Эттлингеру и ещё двум солдатам, без объяснения, приказали собрать свои вещи и выгрузиться.

Эттлингер обладал редкими качествами: свободно говорящий на немецком языке, заслуживающий доверия натурализованный американский гражданин. Предполагалось использовать его в качестве переводчика. Последовал перевод в Мюнхен, где день за днем пробежали четыре месяца. Впоследствии Эттлингер вспоминал: «Я ничем не занимался. Ел и спал, и когда услышал, что кто-то ищет для расшифровки немецких документов человека, способного говорить, писать и думать по-немецки, то заявил о себе. Так я встретился с Джеймсом Роримером, куратором музея Метрополитен, своим будущим начальником. Тогда, однако, я не знал, что за этим последует. Просто записался волонтером».

В отличие от большинства своих товарищей, Эттлингер не обладал опытом музейной работы или образованием в области истории искусств:

«Я был просто парнем из Нью-Джерси». Молодой человек, действительно, не предполагал, что ему предстоит. Он окунулся в совершенно неведомый прежде мир, и это заставило его стремительно повзрослеть.

Одним из его первых заданий в середине мая 1945 г. было участие в допросе Генриха Хоффмана, личного фотографа Гитлера. Гарри провёл четыре часа, допрашивая его ещё до Нюрнбергского процесса.

Эттингер просматривал немецкие документы, чтобы найти ключи к разгадке местонахождения сокровищ и сопровождал своего босса в Берхтесгаден в баварских Альпах, выкраивая время, чтобы подняться в Орлиное гнездо, горное убежище Гитлера.

А затем – новый поворот судьбы: участие в извлечении и сортировке произведений искусства, спрятанных в соляных шахтах Хайльбронна и Кохендорфа. Эта работа наиболее запомнилась Эттингеру.

Хайльбронн был занят американскими войсками 12 апреля 1945 г. Через четыре дня сюда прибыл Джеймс Роример со своей командой, и первое, чем им пришлось заниматься вместе с временно уполномоченным руководителем соляных шахт Хайльбронна и Кохендорфа Хансом Бауером – откачивать воду, которая могла повредить художественные ценности.

Эттингер вспоминал: «То, что я проведу часть своей молодости в шахте, на глубине 200 метров, раньше мне бы не пришло в голову. Но соляные шахты – не угольные, там очень чистый воздух, температура – 18 градусов, что очень приятно. Там нацисты создали заводы для массового производства авиационных двигателей, которые должны были производить еврейские рабы из Венгрии. И если бы они добились успеха, то Люфтваффе Германии могли бы сбить все наши самолеты, а Вторая мировая война продлилась бы на пару лет дольше».

Подземная фабрика использовала труд 20000 рабочих из соседних концентрационных лагерей. Вторжение союзников уничтожило эти планы, но леденящий ужас всё ещё царил в шахтах, постоянно напоминая Эттингеру о том, что если бы он не бежал из Германии в 1938 г., то, возможно, оказался бы в таком же лагере. Теперь же Гарри по иронии судьбы контролировал немецких рабочих и работал совместно с бывшим нацистом, мародёрствовавшим во Франции. «Тот знал, где хранился материал, и мои чувства тут были не причём», – говорил Эттингер.

Теперь, прямо в соляной шахте, открыт мемориал памяти погибших там людей – узников концлагерей, угнанных на принудительные работы.

Многие из произведений не были добыты грабежом, и по закону принадлежали немецким музеям в Карлсруэ, Мангейме и Штутгарте.

На фоне возобновившейся дискуссии в связи с делом Корнелиуса Гурлитта, примечательно, что в то время только два процента хранившихся

художественных ценностей были классифицированы, как «незаконные». Но музеи нередко приобретали произведения искусства по смешным ценам либо у евреев-коллекционеров и галеристов, либо у тех, кто их украл, либо целые коллекции переходили в «арийские руки» в процессе аризации.

Эттлигер, лейтенант Дейл Форд и немецкие рабочие разбирали подземные сокровища, выявляя сомнительные произведения и отправляя картины, старинные музыкальные инструменты, скульптуры и другие предметы наверх для доставки к Союзническим пунктам сбора в американской зоне Германии. В главных пунктах сбора – в Висбадене, Мюнхене и Оффенбахе – другие команды подразделения классифицировали объекты по странам происхождения, производили необходимые реставрационные и ремонтные работы и оценивали претензии делегаций, которые приезжали, чтобы вновь обрести свои национальные сокровища.

Первоочередной задачей для «Хранителей» было возвращение семидесяти трёх фрагментов оконного витража Страсбургского собора. Витраж был удалён из окон французскими властями для безопасного хранения в начале войны, а позже отправлен в Хайльбронн нацистами. Под контролем Эттлингера, упакованные в 73 ящика, они были возвращены во Францию. «Страсбургские окна были первым, что мы передали обратно по приказу генерала Дуайта Д. Эйзенхауэра, верховного главнокомандующего Союзными войсками, как жест доброй воли, – вспоминал Эттлингер. – Идея, что собственность должна быть возвращена её законным владельцам в военное время была беспрецедентна. Но нам некогда было размышлять, мы выполняли свою работу». Возвращение витражей превратилось в национальный праздник – это значило, что эльзасский город был вновь свободен после веков доминирования Германии.

Другое значительное художественное произведение, которое Эттлингер вместе с Дейлом Фордом обнаружил 3 мая 1946 г. и помог извлечь из шахты – один из автопортретов Рембрандта. Полотно висело в трёх кварталах от его дома в Германии, в художественном музее Карлсруэ, куда евреям входить запрещалось.

Потребовалось 10 месяцев и пять транспортов, чтобы освободить из шахт приблизительно 900 произведений искусства. Некоторые были возвращены во Францию, другие – в немецкие музеи и иные культурные учреждения. В общей сложности в Германии было обнаружено приблизительно 1500 хранилищ предметов искусства и культурных ценностей.

Эттлигер старательно работал, а его свободное владение немецким языком облегчало общение с шахтёрами. Он получил повышение и стал сержантом технической службы. Молодой и авантюрный Гарри, порой совершал отчаянные поступки и однажды самовольно отлучился из части, чтобы от-

правиться в Баден-Баден и отыскать коллекцию собственного дедушки, торговца тканями, одного из основателей Общества любителей искусства, спешно отправленную на склад перед бегством семьи из Германии. И он нашёл её, но, в наказание, был в течение шести месяцев лишён увольнительных. Зато, в результате этого приключения, он возвратил семье копию того самого автопортрета Рембрандта, спасённого из соляных шахт, и она висит ныне в гостиной дома Эттлингеров.

А когда Гарри обнаружил петарды, которые нацисты планировали запустить, знаменуя победу Гитлера в войне, то перед тем, как покинуть Германию, поручил шахтёрам зажечь фейерверк в Хайльбронне, чтобы отпраздновать Четвёртое июля, День независимости США.

Эттлингер был скромен, оценивая свою деятельность во время войны: «Это была моя работа – доставать эти коробки и ящики, загружать в подъёмник, проследить за погрузкой в грузовики». После войны он вернулся домой в Нью-Джерси, получил степень магистра в области машиностроения и менеджмента, затем стал заместителем директора компании, производившей системы наведения для запускаемого с подводной лодки ядерного оружия.

Он посвящал много времени благотворительным проектам, возглавлял Объединение еврейских ветеранов войны, был сопредседателем Фонда Рауля Валленберга в Нью-Джерси, а также – членом масонской организации «Рыцари Пифии». В мае 2011 г. Эттлингер присутствовал на открытии в Брухзале, городе в 20 км от Карлсруэ, площади имени его деда, Отто Оппенхаймера.

Самому Гарри Эттлингеру была вручена специальная персональная награда премьер-министра Баден-Вюртемберга – «Золотая Медаль Штауфера» за вклад в культурное наследие Баден-Вюртемберга, а также – Золотая медаль Конгресса США.

Среди «Хранителей» Эттлингер был не единственным евреем, родившимся в Германии и бежавшим из страны.

Эдгар Брайтенбах родился в Гамбурге. Окончив гимназию, изучал историю искусств и скандинавскую филологию в Мюнхене и Гамбурге. После нескольких лет изучения библиотечного дела он занял должность во Франкфуртской государственной библиотеке, однако нацисты вынудили его, еврея, уйти в отставку в 1933 г. Брайтенбах переехал в Базель, а в феврале 1937 г. покинул Европу. После прибытия в США, Брайтенбах был приглашён преподавать историю искусств в колледже Миллса в Окленде, штат Калифорния.

После получения гражданства, он в 1943 г. поступил на службу в армию США, чтобы по поручению Федеральной комиссии по связи прослушивать, переводить и протоколировать передачи немецких радиостанций на коротких волнах. Позже работал руководителем новостного отдела Управления военной информации США.

В октябре 1945 г. Брайтенбах был назначен в подразделение «Памятники, изобразительное искусство и архивы» в Германии. Сначала, находясь во Франкфурте, он выполнял работу по возврату книг и архивов во Франкфуртскую государственную библиотеку – ту самую библиотеку, в которой работал несколько лет назад. В марте 1946 г. был переведен в Мюнхенский центральный сборный пункт для возвращения, так называемой, «вторичной добычи», культурных ценностей, сначала украденных или изъятых на хранение нацистами, а затем вновь разграбленных гражданами Германии, отчаянно нуждающимися в средствах выживания после победы союзников.

Особо Брайтенбах занимался поисками собрания картин Адольфа Шлосса, французского коллекционера голландской живописи 17-го века, включая полотна Рембрандта, Брейгеля, Хальса и Рубенса. В начале войны наследники перевезли часть собрания из Парижа в небольшой городок на юге Франции. Они надеялись спасти живопись от немцев, но в 1943 г. по поручению немецкой оккупационной власти коллекция еврейской семьи была полностью захвачена, а 262 картины отобраны для «Музея Фюрера» в Линце, но сначала хранились в личной резиденции Гитлера «Фюрербанг» в Мюнхене, где в 1945 г. разместилось одно из центральных хранилищ перемещённых культурных ценностей. Там же осуществлялась их передача законным владельцам. Из хранилища картины коллекции Шлосса и были вторично разграблены в самом конце войны. До сих пор, время от времени, на аукционах и художественных ярмарках, появляются картины из этого собрания, и некоторые из них, например, «Еврей в меховой шапке» Рембрандта уже возвращены наследникам.

Брайтенбах также расследовал местонахождение предметов, похищенных из поезда, в котором находились предметы из личной коллекции Германа Геринга. Это был грабёж награбленного.

Обширная коллекция произведений искусства, принадлежавшая Герингу, как предполагают, содержала более, чем 1500 изъятых картин и скульптур.

Эдгар Брайтенбах переодевался крестьянином. В кожаных штанах и с миниатюрной трубкой, окутывавшей его дымом, бродил от дома к дому в баварских деревнях. Однажды местные женщины подрались из-за гобелена 15-го века, пока местный чиновник не предложил соломоново решение: «Разрежьте его и разделите». И ценный гобелен был разрезан на четыре части. Брайтенбах и его коллега Тапер обнаружили это в 1947 г., к тому времени отрезки гобелена разделили ещё раз. Одна из частей использовалась для занавесок, другая – для детской кровати. Остальные – исчезли.

Такова судьба и одного из самых важных объектов нацистского грабежа, Рафаэлевского «Портрета молодого человека», полотна начала 16-го века, исчезнувшего в последние дни войны.

С 1949 г. Брайтенбах был консультантом при восстановлении библиотечной системы в Германии, а в 1953 г. его назначили руководителем Американской мемориальной библиотеки в берлинском районе Кройцберг, финансируемой из американских фондов. Он также способствовал основанию отдела театра, танца и кино в Центральной библиотеке Берлина. Руководство Берлина высоко оценило деятельность Брайнтенбаха. Он был награжден Орденом за заслуги перед Федеративной Республикой Германии – «Федеральным крестом».

В 1956 г. он вернулся в Вашингтон и до ухода на пенсию в 1973 г. руководил отделом гравюр и фотографий «Библиотеки Конгресса» в Вашингтоне. Приложил много усилий для сохранения кинофонда, расширил коллекции плакатов и сделал приобретения во всех областях графики. Уйдя в отставку, он продолжал консультировать отдел по графике и киноискусству. Скончался во время посещения Германии в 1977 г.

Среди «Хранителей» – ещё две еврейские судьбы выходцев из Восточной Европы.

Шолом (Сеймур) Якоб Помренц был первым директором Оффенбахского архивного депо, основного пункта сбора книг и архивных материалов, разграбленных нацистами. Он родился в Брусилове (Украина), После волны еврейских погромов, когда погибло 70000 евреев, в том числе и отец Шолома, мать с двумя маленькими сыновьями в 1922 г. эмигрировала в США, в Чикаго, где уже жила многочисленная родня.

Помренц вырос в ортодоксальной еврейской среде, посещал хасидскую синагогу и, как светскую, так и религиозную школы.

Помренц стал американским гражданином в 1937 г. В 1939 г., ещё учась в колледже, он устроился на работу в Национальное управление архивов и документов. Затем учился в Иллинойском технологическом институте, получил степень магистра истории в Чикагском университете, а затем степень доктора еврейской истории. Он владел немецким языком, ивритом и идишем.

В декабре 1945 г. Помренцу было предложено отправиться в Европу, чтобы в качестве военного архивиста помочь реорганизовать немецкие архивы в сотрудничестве с Управлением военного правительства в земле Баден-Вюртемберг. Параллельно этому возникла ситуация, которая привела к новому назначению Помренца в Оффенбах.

Многие из награбленных произведений искусства, картин и скульптур, постепенно обретали свой дом, другие же закончили войну бездомными сиротами. Среди них были сотни свитков Торы и другие религиозные объекты, награбленные из синагог и еврейских домов. Многие из них принадлежали

людям или сообществам, уничтоженным Третьим Рейхом. Сначала им было предоставлено место на складе в Висбадене.

Один из «Хранителей», Кеннет Линдсей, вспоминал, что проходя по коридорам обширного здания, ощущал неожиданную дрожь каждый раз, когда приближался к помещениям со свитками Торы: «Мысль об обстоятельствах, которые привели эти вещи сюда, лишала сна».

Скоро стало ясно, что для остающихся невооружёнными бесценных объектов, всё ещё раскапываемых в послевоенной Германии, необходимо новое хранилище. Они были отправлены в открывшийся в июле 1945 г. Архивный Склад в Оффенбахе под Франкфуртом, где было собрано более трёх миллионов печатных изданий и важных религиозных материалов.

И именно Помренц был рекомендован на пост директора Центрального архивного хранилища в Оффенбахе представителем Джойнта в Германии. Также его рекомендовал на этот пост советник по еврейским вопросам генерала Дуайта Эйзенхауэра.

Когда Помренц прибыл в Оффенбах, то обнаружил достигающие потолка стопки книг, архивные отчёты и религиозные объекты, сваленные в беспорядке.

«Это был самый большой хаос, который я когда-либо видел», – вспоминал Помренц. Библиотеки, украденные во Франции, включая неоценимые коллекции и документы семьи Ротшильд, были перемешаны с аналогичными из России и Италии, семейная корреспонденция была рассеяна среди официальных отчётов, и более 1000 свитков Торы и религиозных предметов были свалены на полу.

По словам Помренца, офицеры пренебрегли массой книг, не понимая их языка, и тем самым не имея возможности их правильно сортировать и сохранять. Впоследствии многие из книг оказались повреждёнными именно из-за пренебрежительного отношения. Среди книг были также книги из вильнюсской библиотеки Страшуна, считавшейся лучшей в Европе до Второй мировой войны, счастливо избежавшей уничтожения после вступления в город нацистов и затем увезённой ими же.

«Нацисты проделали большую работу по сохранению вещей, которые они хотели уничтожить, они ничего не выбрасывали, – вспоминал Помренц. Он шутил, – они, возможно, выиграли бы войну, если бы провели меньше времени, грабя и больше времени, воюя».

С преданностью своему делу Помренц вскоре превратил беспорядок в организованную функциональность – скопировал все закладки идентификации и печати библиотеки, которые указали на страну происхождения, и на основе этого создал толстый справочник, который позволил рабочим определять происхождение коллекций.

После чего разделил здание на комнаты, организованные по странам, что давало возможность для национальных представителей идентифицировать их материал. Наиболее важной обязанностью Помренца было возвращение украденных предметов их законным владельцам. Первая реституция была произведена 12 марта 1946 г., когда 371 ящик с материалами отправился в Нидерланды. Главный архивариус Нидерландов собрал 329000 объектов, включая книги, украденные в университете Амстердама и огромный тайник, относящийся к Ордену Масонов. В течение апреля девять железнодорожных грузовых вагонов отправились во Францию, так как французские архивариусы потребовали реституции 328000 объектов – баржа, загруженная голландскими и бельгийскими материалами, начала свой путь домой; представители Советского Союза вернулись домой с 232-мя тысячами объектов; Италия взяла – 225000; реституции меньших объёмов были проделаны в отношении Венгрии, Польши и других стран.

Едва Помренц начал трудиться на складе в Оффенбахе, как буквально полились новые материалы; бумажный поток продолжался до 1948 г. Всё же даже после того, как были отправлены приблизительно два миллиона книг и других предметов, ещё оставался приблизительно миллион объектов. В итоге Помренц помог найти пристанище для многих осиротевших материалов, отправленных в 48 библиотек в США, в Европе и в Институт Еврейских исследований YIVO в Нью-Йорке.

«Что касается меня, – вспоминал Помренц, – то это было высшим назначением, которое я получил в армии, где прослужил в общей сложности 34 года».

После возвращения в США Помренц работал консультантом в Национальном архиве, затем в резервной службе в армии США. Он получил многочисленные военные награды США, а также серебряную «Медаль Чести» правительства Нидерландов. Помренц часто читал лекции о реституции и о библиотеках и архивах эпохи Холокоста. О его опыте работы в хранилище в Оффенбахе из первых уст услышали делегаты 37-го ежегодного съезда Ассоциации еврейских библиотек в 2002 г.

Помренц дослужился до главного архивариуса армии и считал, что нельзя недооценивать роль письменных документов в истории цивилизации. «Картины красивы и, конечно, культурно ценны, но без архивов у нас не было бы истории, никакой возможности знать точно, что произошло».

В некрологе, опубликованном в New York Times 28 августа 2011 г., значилось: «Коллектив Иешива-университета, одного из старейших и крупнейших еврейских высших учебных заведений и основного учебного центра ортодоксального иудаизма в США (Нью-Йорк) опечален кончиной полковника в отставке Сеймура Дж. Помренца, героя Второй мировой войны, удостоенного многих наград, среди которых также Национальная гу-

манитарная премия 2007 г., вручённая ему президентом Джорджем Бушем в Белом доме за участие в спасении важных материалов, документов, свитков Торы и произведений искусства, разграбленных нацистами по всей Европе, и в возвращении их законным владельцам».

В конце апреля 1946 г., Помренца, на посту директора Центрального архивного хранилища в Оффенбахе, сменил капитан Исаак (Айзек) Бенкович, родившийся в г. Унеча, Брянской области. Он иммигрировал в Соединенные Штаты ребёнком вместе с родителями и учился сначала в Чикагском университете, получив степень бакалавра по химии, а затем в Колумбийском университете, получив степень магистра и доктора философии. После этого Бенкович получил грант для исследований в Нью-Йоркском университете и был ассистентом в Рокфеллеровском университете в Нью-Йорке. Университет специализируется, в основном, на фундаментальных исследованиях в областях биомедицины и был местом многих важных научных открытий. Например, именно там установили, что наследственность ДНК имеет химический базис, что вирусы могут вызывать раковые заболевания. Там основали современную клеточную биологию.

В 1927 г. Бенкович переехал в Хьюстон и начал карьеру, продлившуюся тридцать четыре года до ухода на пенсию, в Texas Gulf Sulphur Company, одной из крупнейших мировых компаний по добыче серы. Он был членом американского химического общества и нью-йоркской Академии наук.

Бенкович служил, был ранен и в Первую мировую войну, и во Вторую, и получил во время службы несколько „Пурпурных Сердец“ (военная медаль США, вручаемая всем американским военнослужащим, погибшим или получившим ранения в результате действий противника).

Бенкович был особенно пригоден для должности в Оффенбахе, так как бегло говорил по-русски и был знаком с несколькими другими восточноевропейскими языками. Докторская степень Бенковича по химии оказалась необходимой для обработки повреждённых книг и документов. Как директор сборного Пункта с мая до ноября 1946, Бенкович разработал инновационную систему идентификации и сортировки, что способствовало реституции произведений искусства и культурных экспонатов. Система идентификации была основана на фотографических изображениях экслибрисов, печатей, и других маркировок, найденных в каждой книге. Фотографии были внесены в указатели стран, и назначены сортировщики, ответственные за три или четыре экслибриса. Книги и документы поступали на ленточные конвейеры, откуда их и забирали сортировщики, распределяя по местам происхождения. Эта система оказалась чрезвычайно ценной, поскольку предоставила сортировщикам, которые не были знакомы со многими восточноевропейскими языками, лёгкий способ идентификации.

Книги были зарегистрированы, по крайней мере, на тридцати пяти различных языках, и более чем половина экслибрисов, примерно 4000, имели восточноевропейское происхождение.

Ответственность за сортировку тысяч документов и предметов культуры, оставшихся после массового геноцида европейских евреев, приносила эмоциональное напряжение, сопровождаемое техническими трудностями. Бенкович рассказывал позже: «Я направился в одно из помещений, чтобы осмотреть то, что там находилось, и не смог оторваться от этих завораживающих груд писем, папок и небольших свёртков с личными предметами... В них было что-то печальное и жалобное... они будто нашёптывали истории о тоске и давно потерянной надежде. Я гладил эти книги и устраивал их в коробки с чувством нежности, словно они принадлежали дорогим мне людям».

Бенкович покинул Европу осенью 1946 г. На его архивной фотографии написано, что «Во время службы он похоронил тысячи мёртвых лошадей, предоставлял еду, приют, одежду и т. д. французам, бельгийцам, люксембуржцам, немцам и тысячам перемещённых лиц. Он контролировал почти каждое направление деятельности... Но последние семь месяцев службы в Оффенбахском Архивном Складе считал самыми захватывающими и значительными».

АНЖЕЛЛА ПОДОЛЬСКАЯ

ПО ЛЕЗВИЮ ПАМЯТИ

Из дневников

Давно не писала. Очень давно. Когда-то всё, буквально каждую глупость, – в дневник. Мысль, чувство, событие, явь или сон, любую обыденность... Потом перестала... Когда наступал тяжёлый день, открывала дневник, и чёркала, чёркала... Иногда спасалась написанным...

Любое «однажды» требует интриги, глубокого вздоха, развёртывания полотна, будь оно широкоформатным или малозначительным, со сложным узором или с каким-нибудь незамысловатым сюжетом.

Часто снился сон о смерти мамы. В ужасе, в слезах, я просыпалась, обнаружив, что это всего лишь сон. Что мама, слава, Богу, жива и спит в соседней комнате. Обойдя нашу большую квартиру, с облегчением снова засыпала.

Когда это случилось на самом деле, разум отказался понять, принять. Я заставляла себя проснуться... И не могла... Отупела. Сердце стало бесчувственным. Не плакала. Слезы пришли позже. Когда осознала – это навсегда: «И оставила тебя в земле обетованной».

Помню стишок, который сочинил для меня папа. Мне тогда было три - четыре года:

«Две косички. Бантики.
У папы – на плече.
Или в скалки, в фантики
Играет налегке...

Попрыгунья-девочка
Ты так ещё мала.
Скачешь, словно, белочка.
Девочка – юла».

В придуманном Времени легче жить. Ведь, если вдуматься: «Что есть Время?» Шутка Бога. Для кого-то мчится. Для кого-то стоит на месте. Интересно, что знают о Времени звёзды? Или им всё безразлично? Горят себе и горят...

На мой взгляд, мир – очень быстрый. Это страшно. Хотя, изменившись телесно, я сохранила прежние человеческие качества. Так мне кажется.

Мне – сорок восемь. (О! Если бы сейчас было так!) Двадцать пять лет пролетели... Не заметила. По-прежнему, ни перед кем до конца раскрыться полностью не смогу. Доверить сокровенное бумаге? Вряд ли... Когда-то мама пыталась вызвать меня на откровенность. Я же приоткрывала завесу чуть-чуть... Дальше не впускала... Зачем? Чтобы облегчить душу? Оправдываться? Ношу всё в себе: «Не надейтесь на князей, в которых нет спасения. Только – на сына человеческого...» (Из Евангелия).

Как долго ещё придётся смотреть на солнце? Сжечь вслед за воспоминаниями страх, тревогу? Голоса, лица? Улыбку, которая ровным счетом ничего не значит. Невнятна душа, зыбка память...

Очень сложно быть героем. Иногда хочется быть, если видишь какую-то несправедливость. Не всегда получается. Трусись немного. А иногда дело в элементарной усталости от борьбы с «ветряными мельницами».

Со своим идеализмом трудно идти на компромисс. А представление о мире меняется ежеминутно. Ведь жизнь диктует свои законы.

Жирная черта, перечеркнувшая меня вчерашнюю... Крушение, сменившее жизнелюбие, как смокинг сменяет шорты...

Хочется не потерять детскость. Но, не хотелось бы впасть в детство.

Никогда прежде не приходило в голову писать. Только вакуум душевного одиночества, экстремальное сочетание двух эмиграций и личного, заставили кое-как упорядочить мысли... В голову лезет страшная мысль: «Смерть – лучшее убежище для уставших людей».

Самые трудные часы – утренние. Пять-шесть утра... Просыпаюсь, и сознание – как молния, возвращает к действительности. Нужно моментально встать, заставить себя что-то делать, переключив мысли на что-либо другое... Варю кофе, пью... На дне – кофейная гуща... Я не умею гадать... Ни на гуще, ни на чём-нибудь ином. Сижу, уставившись в пустоту... Из комнаты доносится похрапывание, скрип пружин... Ноет душа, принося почти физическую боль...

Иногда впадаю в панику. Не знаю, куда броситься, очертя голову. Переступить черту? Не хватает воли... Клетка... Принуждаю себя к ожиданию, к смирению, что плохо удаётся...

Рассказать себе о себе. Что из этого может получиться? Причин, чтобы не получилось – множество. Отсутствие литературного дара, например. Стихи? Но это, скорее, какой-то крик души. В литературе – дилетант. Осознаю прекрасно. Стремление к писанию – неосознанное. Другие пишут? Наплевать. Не намерена сравнивать себя ни с кем. Я сама себе – психоаналитик. Если вспомнить всё-всё, добраться до самых дальних уголков памяти, отыскать нити, которые утеряны, без которых трудно жить, может быть станет легче... Попробовать? Хуже не будет... В крайнем случае, изорву на мелкие кусочки все эти листочки... Приду туда, откуда вышла...

Почему, когда уходят родители, остаётся чувство страшной незащищённости? Мама говорила, что я не приспособлена к жизни. Что она дала мне жизнь, отвела в детский сад, в школу... «Водила за ручку»... Как же я добралась до сегодняшнего дня?

До чего схожи ощущения одиноких людей. Каждый приходит в этот мир один. И уходит из него один. То, что часто не в состоянии сформулировать собственными словами, прочла давно у Анны Саакянц о Марине Цветаевой: «Остаётся ощущение полного одиночества, которому нет лечения. Тело другого человека – стена, она мешает видеть его душу. Я мучаюсь и не нахожу себе места. Со скалы к морю, с берега в комнату, из комнаты в магазин, из магазина в парк, из парка на Генуэзскую крепость. Так каждый день».

Некоторые создают видимость, что у них множество друзей. Иногда случалось их наблюдать. Отвечу известным изречением: «Избавь меня, Господи, от таких друзей. От врагов я избавлюсь сам».

Меня никогда не занимали бытовые подробности чужой жизни. Не коллекционировала слухи и сплетни.

Как-то сказала: «Я верю, больше, чем себе». С возрастом поняла – полнейший идиотизм!

Невозможный характер, данный Богом (не сама же выбрала такой), не даёт абстрагироваться. Взглянуть на всё, как бы, со стороны, относиться ко всему по-философски.

Ненавижу Время, в которое угораздило родиться... Я себя знаю. Буду ходить «вокруг да около». Петлять... Зачем я здесь? Что тут делаю? Мой вымышленный мир твёрд, но хрупок...

Сколько ещё буду «этим болеть»? До конца?

Стадное чувство... Как могла, вопреки себе, поддаться на советы и уговоры? Вопреки чувствам? Хотя... Чтобы я делала сейчас в том страшном хаосе? Моя эпоха ушла. Это уже не мой город. У него враждебное лицо.

Ненавижу окружающую обыденность. Не знаю способа противостоять всеобщей серости, однообразию. Бесконечная спячка, жрачка, с----а. Каждый день – калька вчерашнего. И завтра наступит такой же. Каждое утро ужасаюсь одной и той же мысли: «опять не дома». А ведь во сне так ясно осязается до боли знакомое, родное, моё... Каждую ночь всё проживается заново. Как много лет назад говорила подруга-единомышленница: «Выплюнутая жизнь».

Когда-то абсолютно не хватало времени. Сейчас, каждое утро мысль: «Как им распорядиться? Куда себя девать?» Не умею наслаждаться свободой.

Упёртость в профессии, непримиримость к небрежности – качества, которые с удивлением обнаруживала в себе.

Снилась работа – моё самое большое хобби. Доминанта. Коллеги шутили: «Анжелль – ум, честь и слава нашей эпохи! Тебе больше всех нужно? В одиночку решила построить коммунизм?» О коммунизме никаких мыслей не было. Но математика-программиста, настоящего, может понять только настоящий математик-программист. То же самое теперь наблюдаю на примере собственного сына. Программирование – наркотик, тем более, если оно связано с реальными событиями жизни. Независимо от того, в какой области работаешь.

Нынешнее ничегонеделанье убивает. В том смысле, что не работаю по специальности. Конечно, как и другие – покупаю продукты, готовлю. Даже шью, вяжу. «Голочка с ныточкой», как говаривала мама, немного успокаивают, но не спасают...

Бесконечный перепад настроения, способный измениться в считанные секунды.

У вещей, как и у людей – своя судьба. О них можно написать, если не роман, то хотя бы рассказ. Помню мамину прелестную чёрную кофточку. Китайскую. Короткий цельнокроеный рукав. Стоячий воротничок. От выреза груди до горловины – молния, по обе стороны которой совершенно изумительная вышивка, образующая кокетку. Кофточка не залоснилась, не

затрепалась. Мама дорожила ею, надевала по особо важным случаям. Потом эта кофточка перешла ко мне, долго присутствуя в моём гардеробе и сыграв некоторую роль в моей жизни.

Никогда не была домашней, мяукающей кошечкой. Не была «Наседкой» и «Квочкой», на которых, увы, похожи многие женщины. Тем не менее, довольно долго отзывалась на данное мужем прозвище: «Киня». И хотя, на работе, из-за гладко зачёсанных волос и уложенной полукругом косы, меня прозвали «Классной дамой», когда звонил муж, мне кричали, пытаясь переорать гул дисководов: «Киня, до дроту!»

Годы сменяли один другой. Мы менялись, взрослея, старея. Менялись прозвища. Из «Классной дамы» я превратилась в «Железную леди». Домашняя «Киня» тоже претерпевала метаморфозы: «Лапочка, мамочка, мачеха, вампирчик, мегера».

Часто крутое матерное слово – именно тот уровень, на котором тебя понимают.

Интимное посвящение мужа:

«Язык, бушующий во рту.

В порыве матерных агоний,

Все дни. И ночи. Поутру,

Жизнь укорачивает Лёне».

С любовью, твой старик-муж.

Иметь воспоминания – уже много. Тогда были совершенно иные мир, атмосфера. Время выскальзывает из рук. Его невозможно удержать. Остаётся лишь аромат воспоминаний, которые часто ведут в никуда. Бежать за ними всю жизнь? Как остановиться?

Самое ценное в жизни человек получает бесплатно: ощущения, чувства...

Не люблю сюрпризы, подарки. Люблю дарить сама.

Принять в свою жизнь другого человека – искусство. Расставание – тоже искусство.

Где живёт душа? Где её убежище? Как хорошо, вот так, целый день сидеть у реки, глядя на неторопливую, зелёную воду, с постоянно меняющимися тенями, уносимыми водой...

Устала от самой себя. Порой, раздражает даже собственный голос.

Никогда не терпела выскочек, которые любят «Крутиться на каблук», как говорила моя няня. Особенно смешно в нынешние времена наблюдать за размалёванными мартышками, которым далеко за... Не мешало бы им заглянуть в паспорт.

Не очевидно, что человек может обрисовать именно свою сегодняшнюю, незамысловатую, жизнь, а уж потом, вместе с затухающей памятью, опускаться в глубь житейского срока. Скорее, наоборот. Отчётливо вспоминается то, что было много-много лет назад. Что было вчера... позавчера... забывается...

С возрастом течение Времени ускоряется необыкновенно. Нужно научиться выбирать главное.

Когда думаешь о концах и началах, невозможно отделаться от ощущения собственной ничтожности.

Юностью невозможно насытиться. Познав её вкус, хочется вернуться туда снова. Увы...

Когда плохо себя чувствую, вспоминаются слова из книги известного артиста: «Старость средней тяжести».

Хотелось бы быть гармоничной, в ладу с собой. Не всегда получается.

Каждый день – путешествие. Если бы можно было заглянуть в будущее, за некую таинственную дверь, не стала бы. Убежала бы подальше прочь.

Однажды задумалась над тем, что для меня «мир»? Тот, который появляется там, куда падает мой взгляд? Существует ли он до того момента, пока моё внимание, как луч прожектора, не выхватит его из небытия? Между внешним и моим внутренним миром – чёткая грань. Внешний – заканчивается оконной рамой. Внутренний – безбрежен... В одно мгновение он способен расшириться до размеров Вселенной или свернуться, ограничившись размером тела. Как в детской мозаике-головоломке, которую совершенно невозможно собрать воедино...

Иногда может показаться привлекательным: «Уйти в себя, отгородившись от мира». Этот уход порождает завесу таинственности, манит к себе. В то же время он может перерасти в кризис, который, как голодный зверь набросится

на тебя. Безысходность... Пусть эта фраза – безумна, банальна – но именно безысходность учит замечать мелочи вокруг. Когда мир сужается до пределов боли, – в этих границах начинаешь обращать внимание на бабочку, капли дождя, огонёк спички...

Поле бесконечно... Так я воспринимала его. Ровные, как оловянные солдатики, колосья пшеницы, среди которых – ослепительные подсолнухи. Ни дуновения ветра. Солнце – в зените. Иду... Иду... Не зная, куда... Вдруг поле закончилось, и перед взором выросла роща берёз.

На опушке – какой-то дом. Смутно знакомый... Так это же, мой дом! Дверь открыта...

Даже во сне помню, что давно уже нет дома, родителей, сестры... Из семьи я осталась одна. Постояв у входной двери, так и не переступила порог. Что-то удерживало... Наверное, мысль: «Переступлю – и не станет меня...»

Проснувшись, ещё долго пребывала в каком-то оцепенении. Может быть, в прошлое возвращаться опасно, потому что, в нём можно остаться навсегда?

* * *

«Мир – иллюзия. Воздух, которым дышишь. Земля, по которой ступаешь. Вода, которую пьёшь. Огонь, обжигающий изнутри – тоже иллюзия. Богат или беден, каждый шаг в мире иллюзии, в этой бесконечной реке истины».

МИНА ПОЛЯНСКАЯ

ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ ВЛАДИМИРА НАБОКОВА В БЕРЛИНЕ

*«О, звуки, полные былого!
Мои деревья, ветер мой,
и слёзы чудные, и слово
непостижимое: домой!»*

В. Набоков «Домой»¹

1. Усадебный деревянный дом с колоннадой, построенный в Рождествене в 1870-х гг., был хорошо виден на возвышении, когда я в 80-х гг. проезжала мимо в автобусе в качестве экскурсовода по пути в Пушкинские горы, однако о Владимире Набокове следовало тогда молчать. В автобусе мог оказаться «чёрный» рецензент, то есть некий таинственный экскурсант, не представленный экскурсоводу, но связанный с Главным политическим управлением. И я вынуждена была очень осторожно что-то бормотать об имени Рукавишниковых, чтобы не остаться без работы, зарплаты, а главное, не удостоиться более серьёзных неприятностей.

Но потом мой коллега Владимир Шубин, автор книги «Поэты пушкинского Петербурга»², сумел сделать приемлемую формулировку, ссылаясь на какую-то энциклопедию, и мы, я и мои коллеги, стали, наконец, сообщать экскурсантам о писателе Набокове, некогда истинном владельце Рождествена, который умер сравнительно недавно, в 1976 г., в Швейцарии. Рождествено было подарено пятнадцатилетнему Набокову дядей Василием Ивановичем Рукавишниковым в день именин вместе с миллионным состоянием. Писатель помнил имя и посвятил ему лучшие страницы романа «Другие берега».

В начале перестройки мы с другим моим коллегой, Дмитрием Старком, примчались в Рождествено, изучая местность с книгой в руках – с «Другими берегами», – которая пронзила наши сердца. Мы осматривали столетние деревья, кустарники и, кажется, увидели даже камень, о который споткнулась мама Набокова, Елена Ивановна, когда собирала грибы. Итак, дом простоял в относительной сохранности – на удивление – весь период Советской власти, запретившей произносить даже имя Набокова, однако был подожжён в годы перестройки неизвестными злоумышленниками. 10 апреля 1995 г. дом сожгли варвары. Зачем сожгли? А просто так сожгли! Или, как объяснил мне один журналист, поджог дома писателя может иметь две цели: либо рейдерство, либо вандализм, корни которого кроются в патологической



неудовлетворённости *муравьиного эго*. Что ж, Набоков предсказывал, что родовые гнёзда предков будут сожжены. (Батовский дом сгорел в 1923 г., Вырский – в 1944). «Дом сожжён и вырублены рощи, где моя туманилась весна», – написал он ещё в 1919 г. Дом восстановлен в 2002 г., как Музей-усадьба Рождествено. Имя Набокова как бывшего владельца официально не указывается и, вероятно, тому есть серьёзные причины или же опасения (хотя какие могут быть опасения – прямых наследников теперь нет!).

Примечательно, что реставраторы при восстановлении рождественского дома использовали описания усадьбы, сделанные Набоковым в автобиографическом романе «Другие берега». «Александровских времён усадьба, белая, симметричнокрылая, с колоннами и по фасаду и по антифронтону, высилась среди лип и дубов на крытом, муравчатом холму за рекой Оредеж, против нашей Выры»³, – вспоминал он. Похоже, что сады Рождествено нравственно сформировали Владимира Набокова так же, как «сады Лицея» – Александра Пушкина.

2. Будучи профессором всемирной литературы в Корнельском университете (Итака, штат Нью-Йорк), Набоков написал в 1951 г. на английском языке книгу воспоминаний с названием «Conclusive Evidence» («Убедительное доказательство»), и через два года, в 1953 г. совершил собственный её перевод на русский язык, назвав «Другие берега», и спустя четырнадцать лет – поздний вариант книги – «Speak, Memory» – написал на английском языке («Память, говори», 1967). Я впредь буду называть эту книгу романом, ибо воспринимаю её как роман Набокова со своими воспоминаниями, судьбой, с самим с собой – художественное произведение, написанное мастером с пронзительной силой, энергией и страстью.

Надо сказать, что перевод собственного произведения на родной язык – явление уникальное. Смена языка была драматична для писателя, о чём он не раз говорил. Язык воспоминания – это всё, что осталось от родины. Поэтому отказ от русского языка, «от индивидуального кровного наречия»⁴ воспринимался им, чуть ли, не как отречение от корней. В процессе перевода «Conclusive Evidence» с английского на русский Набоков продолжал творить свою автобиографию, что неизбежно в таком случае.

В предисловии к версии «Speak, Memory» Набоков признавался: «Это повторное англизирование русской переделки того, что было прежде всего английским пересказом русских воспоминаний, оказалось дьявольски трудной задачей, впрочем, я находил некоторое утешение в мысли, что такая знакомая бабочкам многократная метаморфоза ни единым человеческим существом прежде испробована не была»⁵. Он ещё заявил, что новый текст относится к первоначальному, «как прописные буквы к курсиву, или как относится к стилизованному профилю в упор глядящее лицо»⁶. Писатель при этом заверил читателя, что в процессе перевода сумел удержать «общий

узор»⁷ романа.

Марк Алданов, прочитавший вначале английский, а затем русский вариант книги также употребил слово «метаморфоза» в письме Набокову 7 марта 1955 г. Он считал, что «Другие берега» – это уже *другая* книга и читал он её с восхищением, сетуя на то, что в эмигрантской среде мало ценителей литературы и что не скоро книга будет доступна истинным её читателям.

В какой-то степени и до какого-то времени сбывались предсказания Алданова. Вплоть до 1986 г., почти 70 лет, – ни одной строчки Набокова не появилось на страницах советской печати. Молчали и энциклопедии, а роман «Другие берега» ждал своего читателя в России более 20 лет.

Счастливый отпрыск богатой семьи и в самом деле провёл своё детство, перефразируя его самого, в «духовной и вещественной неге». Владимир Владимирович Набоков – первенец в семье Владимира Дмитриевича и его жены Елены Ивановны, урождённой Рукавишниковой – родился 10 апреля (по старому стилю) 1899 г. в доме № 47 по Большой Морской в Санкт-Петербурге. Он любил говорить, что родился в один день с Шекспиром и через 100 лет после Пушкина. В семье было ещё четверо детей: сыновья Сергей и Кирилл, дочери Ольга и Елена. Прадед по материнской линии, Василий Рукавишников, был сибирским золотопромышленником и «миллионщиком», а дед по линии отца Дмитрий Николаевич Набоков был министром юстиции в пору царствования Александра III, а также членом Государственного совета. Отец писателя – Владимир Дмитриевич – один из основателей конституционно-демократической партии, депутат Первой Государственной Думы.

В Петербурге Набоковы владели роскошным особняком. В «Других берегах» писатель вспоминает: «У нас был на Морской 47 трёхэтажный, розового гранита, особняк с цветистой полоской мозаики над верхними окнами... Я там родился в последней (если считать по направлению к площади, против нумерного течения) комнате на втором этаже, там, где был тайник с материнскими драгоценностями. Швейцар Устин лично повёл к нему восставший народ через все комнаты в ноябре 1917 г.»⁸ На третьем этаже располагались детские комнаты, в одной из них жил будущий писатель. Из этого дома в чёрном автомобиле отправлялся мальчик в Тенишевское училище. Лето семья проводила «во владеньях дедовских» в семидесяти вёрстах от столицы – Вырице и Рождествене.

В «Других берегах» (и, соответственно, в «Память, говори») наблюдается некая преднамеренная несоразмерность: Берлину, в котором писатель прожил пятнадцать лет, он уделил две главы и почти одиннадцать – покинутой Россией. В этих двух главах наряду с активным неприятием Берлина с его зыбким, почти потусторонним, нездешним существованием, присутствуют

«берлинские мечтания». В особенности колоритна и живописна немецкая столица 10-х гг. начала века, не ведающая, не предчувствующая не то, что будущих войн, но даже не выказывающая каких бы то ни было признаков тревоги. Это воистину – детский праздник, фейерверк, незабываемые «берлинские каникулы».

Яркие впечатления детства, скрупулёзно реставрируемые в памяти, Набоков раздарил впоследствии своим героям, чтобы, как он говорил, «отделаться от бремени этого богатства». Ответ «белой усадьбы на высоком холму, с дремучим парком за ней, с ещё более дремучими лесами, синеющими за нивами и с несколькими стами десятин великолепных торфяных болот, где водились замечательные виды северных бабочек да всякая аксаково-тургенево-толстовская дичь»,⁹ падает на Берлин 1910-х гг., и в этом, кажется, разгадка внутренней соразмерности и гармонии этой пронзительной до боли книги воспоминаний. От рождественского Дома исходит особенное сияние: «берега» подсвечены «иллюминатором», как сказал бы Мандельштам. Берлинские впечатления таким образом приобретают особый колорит. Отправимся вслед за Набоковым «просмотреть старые снимочки»¹⁰ 10-х гг. – по берлинским страницам его автобиографического романа.

В первый раз мы видим Берлин 10-х гг., когда две мировые войны ещё впереди, и он ещё не обезображен, не унижен этими войнами. Будущий писатель находится здесь с родителями в роскошной гостинице «Адлон» в пору своего «совершеннейшего детства» – ему одиннадцать лет – беззаботный, капризный, избалованный и даже влюблённый.

И если в «берлинских» романах Набокова, как правило, редко появляется солнце, отсутствуют краски и мрачно, чуть ли не как в Петербурге Достоевского, то здесь зарождается яркая световая гамма – результат действия «иллюминатора». Краски не перемешаны, а, наоборот, даны в чистом виде, с профессиональной резкостью: красный, синий, зелёный, белый. И даже чёрный цвет подан как цвет особой галантности.

Вот на Курфюрстендамм, центральной улице города, играет духовой оркестр! Спортивные инструкторы в «бранденбургах» одеты в красное, американка, в которую мальчик влюбился, – в синем и, кроме того, она «в большой чёрной шляпе, насквозь пронзённой сверкающей булавкой, в белых лайковых перчатках и лакированных башмаках»¹¹, гувернёр пьёт кофе за «бархатным барьером», певица в Винтергартене – вся «в переменных лучах зелёного и красного цвета прожекторов»¹².

В 10-х гг. люди с достатком отправлялись из Петербурга в Европу «величественным» поездом «Норд-Экспресс». Русская железная дорога всегда отличалась от европейской шириной колеи. Только в начале века при пересечении границы колёс не меняли, как это делают сейчас, – господа пересаживались в другой поезд. Вот как это происходило:

«Тогдашний величественный „Норд-Экспресс“ (после Первой мировой войны он уже был не тот), состоявший исключительно из таких же международных вагонов, ходил только два раза в неделю и доставлял пассажиров из Петербурга в Париж; я сказал бы, прямо в Париж, если бы не нужно было, не пересаживаться, а быть переводимыми – в совершенно такой же коричневый состав на русско-немецкой границе (Вержболово-Эйдкунен), где бокастую русскую колею заменял узкий европейский путь, а берёзовые дрова – уголь»¹³.

Позднее, в «берлинском» романе «Машенька» Набоков много внимания уделит городской железной дороге, которая проходила у самого пансиона, где жили русские эмигранты.

Громыхавшие мимо дома поезда станут жутким символом неприкаянности, бездомности героя. Праздник путешествия, описанный в романе «Другие берега», здесь, в «Машеньке», – настоящий кошмар: «Гремели чёрные поезда, потрясая окна дома <...> Рокочущий гул, широкий дым проходили, казалось, насквозь через дом, дрожавший между бездной, где поблёскивали, проведённые лунным ногтем, рельсы, и той городской улицей, которую низко переступал плоский мост, ожидающий снова очередной гром вагонов. Дом был, как призрак, сквозь который можно просунуть руку, пошевелить пальцами»¹⁴.

Если герой «Машеньки» на первых порах остаётся в Берлине, а поезд проходит мимо, то в главах романа «Другие берега», посвящённых детству, этого беспокойного эмигрантского рефрена движущегося поезда мы не находим. Большой немецкий город становится для мальчика, как бы аттракционом, очередным колесом обозрения или каруселью.

«Когда на таких поездах „Норд-Экспрессу“ случалось замедлить ход, чтобы величаво влачиться через большой немецкий город, где он чуть не задевал фронтонов домов, я испытывал... наслаждение... Я видел, как целый город, со своими игрушечными трамваями, зелёными липами на круглых земляных подставках и кирпичными стенами, лупящимися старыми рекламными мебельщиками и перевозчиками, wpłyает к нам в купе, поднимается в простеночных зеркалах и до краёв наполняет коридорные окна»¹⁵.

Осенью 1910 г. семья Набоковых отправилась в Берлин к знаменитому американскому дантисту с определённой целью – выправлять зубы Владимиру и его брату.

«И как ужасен бывал у тогдашних дантистов пасмурный вид в окне перед взвинченным стулом... Оставшиеся зубы этот жестокий американец перекрутил тесёмками перед тем, как обезобразить нас платиновыми проволоками. Разумеется мы считали, что нам полагается много развлечений за эти адские утра Ин ден Цельтен ахтцен. А, – вот вспомнил даже адрес и бесшумный ход наёмного электрического автомобиля»¹⁶. Клиника знаменитого дантиста была расположена недалеко от того места, где сейчас

находится концертный комплекс – «Дом культуры народов мира».

На «Ин ден Цельтен» нет ни одного здания: городская улица превратилась в парковую аллею. Далее Набоков рассказывает о том, как они с братом в течение трёх месяцев развлекались в Берлине:

«Сначала мы много играли в теннис, а когда наступили холода, стали почти ежедневно посещать скейтин-ринг на Курфюрстендамме. Военный оркестр (Германия в те годы была страной музыки) не мог заглушить механической воркотни неумолкаемых роликов... Было человек десять инструкторов в красной форме с бранденбургами, большинство из них говорило по-английски. Самый ловкий из них, мрачный молодой бандит из Чикаго, научил меня танцевать на роликах. Мой брат, мирный и неловкий, в очках, тихо ковылял в сторонке, никому не мешая, а гувернёр пил кофе и ел торт мокко в кафе за бархатным барьером»¹⁷.

Гувернёра Набоков в романе условно назвал Ленским. Этот лютеранин еврейского происхождения чувствовал себя в доме Набоковых, по его же собственному выражению, «в нравственной безопасности»¹⁸. Ленский жаловался матери Набокова на то, что дети растут иностранцами и снобами, равнодушны к Григоровичу, Мамину-Сибиряку и Гончарову. Он добился от родителей разрешения показать мальчикам, что представляет из себя на самом деле «демократическая» жизнь, и перевёл их из Адлона «в мрачный буржуазный пансион на унылой Приватштрассе (приток Потсдамской улицы), а изящные, устланные бобриком, лаково-зеркальные, полные воспоминаний детства, страстно любимые мной „Норд-Экспресс“ и „Ориент-Экспресс“ были заменены гнусно-грязными полами и сигарной вонью укачливых и громких шнельцугов»¹⁹.

Набоков назвал своего преподавателя Ленским, поскольку тот был склонен к романтическим (и демократическим) порывам. Так, однажды в Берлине этот «старомодный идеалист», не имеющий ничего, кроме жалования, «заметив на Фридрихштрассе какую-то потаскуху, пожирающую глазами шляпу с пунцовым плерезом в окне модного магазина... эту шляпу ей купил – и долго не мог отделаться от потрясённой немки»²⁰.

«Наш гувернёр, тот «Ленский»... высоконравственный и несколько наивный человек, был впервые за границей. Ему не всегда было легко согласовать свой интерес к туристическим приманкам с педагогическим долгом, и, в общем, нам с братом часто удавалось заводить его в места, куда родители нас, может быть, и не пустили. Так, например, он легко поддался приманчивости Винтергартена, и вот однажды мы очутились с ним сидящими в одной из передних лож под искусственным звёздным небом этого знаменитого учреждения и через соломинки потягивающими из-под взбитых сливок сладкий и необыкновенно вкусный «айсшоколаде»²¹.

В этом кабаре одиннадцатилетний Набоков увидел среди танцующих девушек ту самую юную американку, в которую влюбился на Курфюрстендамм.

«Я узнал моих американских красавиц в гирлянде горластых „гёрлз“, которые рука об руку, сплошным пышным фронтом переливались справа налево и потом обратно, ритмически вскидывая то десяток левых, то десяток правых одинаковых, розовых ног. Я нашёл лицо моей волоокой Луизы и понял, что всё кончено, даже если и отличалась она какой-то грацией, каким-то отпечатком наносной неги от своих вульгарных товаров»²².

В Берлине Набоковы узнали о смерти Льва Толстого. Случайно листая какую-то немецкую газету, отец увидел траурное сообщение и ошеломлённо сообщил об этом матери. «Да что ты, – удручённо и тихо воскликнула она, соединив руки, а затем прибавила: – Пора домой», – точно смерть Толстого была предвестником каких-то апокалипсических бед»²³.

До ноября «пулемётного» года оставалось ещё семь лет.

* * *

После захвата власти большевиками Набоковы, как и многие будущие эмигранты, оказались в Крыму, и там Владимир Дмитриевич в 1919 г. ещё успел побывать на посту министра юстиции Крымского Краевого правительства. Набоковы покинули Крым, когда большевики были уже в опасной близости. Когда они отплывали на греческом пароходе «Надежда», уже был захвачен порт. Слышны были выстрелы, и эти звуки стали для Набокова последними звуками России.

Семья добралась через Турцию и Грецию до Лондона. На их долю выпали все трудности этого исхода.

Стихотворение Владимира Набокова «Беженцы» отразило отчаяние эмигрантов, навсегда лишившихся родины. Оно было опубликовано в газете «Руль» в июне 1921 г.:

*«Я объездил, о Боже, твой мир,
оглядел, облизал, – он, положим,
горьковат... Помню пыльный Каир:
там сапожки я чистил прохожим...
Также помню и бойкий Бостон,
где плясал на кабацких подмостках...
Скучно, Господи! Вижу я сон,
белый сон о каких-то берёзках...
Ах, когда-нибудь райскую весть
я примечу в газете раскрытой,
и рванусь я без шапки, как есть,
возвращусь я в мой город забытый!
Но, увы, приглянувшись к нему,
не узнаю... и скорчусь от боли;*

даже вывесок я не пойму:
по-болгарски написано, что ли...
Поброжу по садам, площадям, –
большеглазый, в поношенном фраке...
„Извините, какой это храм?“
И мне встречный ответит: “Исакий”
И друзьям он расскажет потом:
“Иностранец пристал; всё дивился...”
Буду новое чують во всём
И томиться, как вчуже томился...”²⁴

Толпы людей, выброшенных из России, а также обилие их заведений, как будто бы обособленных, отгороженных от остального мира в самом центре Берлина, создавали особый колорит, и, вероятно, производили на берлинцев впечатление гофмановской фантазмагории. Набоков называл коренных жителей Берлина туземцами и «призрачными иностранцами», в чьих городах русским изгнанникам «доводилось физически существовать». В предисловии к английскому изданию романа «Дар» Набоков писал: «Грандиозный отлив интеллигенции, составлявшей такую значительную часть общего исхода из Советской России в первые годы большевистской революции, кажется ныне скитанием баснословного племени, следы гаданий которого по птицам и по луне я теперь высвобождаю из песка пустыни»²⁵.

Нина Берберова писала: «Русский Берлин, другого я не знала. Немецкий Берлин был только фоном этих лет, чахлая Германия, чахлые деньги, чахлые кусты Тиргартена...»²⁶.

Владислав Ходасевич в 1923 г. в стихотворении «Всё каменное» назвал Берлин «мачехой российских городов».

*«Всё каменное. В каменный пролёт
Уходит ночь. В подъездах у ворот –
Как изваянья – слипшиеся пары.
И тяжкий вздох. И тяжкий дух сигары.
Бренчит о камень ключ, гремит засов.
Ходи по камню до пяти часов,
Жди: резкий ветер дунет в окарино
По скважинам громоздкого Берлина –
И грубый день взойдёт из-за домов
Над мачехой российских городов»²⁷.*

В романе «Машенька» Набоков описывает неприкаянного эмигранта в ночном Берлине: «А по улицам, ставшим широкими, как чёрные блестящие моря, в этот поздний час, когда последний кабак закрывается, и русский че-

ловек, забыв о сне, без шапки, без пиджака, под старым макинтошем, как ясновидящий, вышел на улицу блуждать, – в этот поздний час, по этим широким улицам, расхаживали миры друг другу неведомые, – не гуляка, не женщина, не просто прохожий, – а наглухо заколоченный мир, полный чудес и преступлений»²⁸.

Эмигранты жили надеждой, что большевики не смогут долго удержать власть, что эта власть вот-вот рухнет, совершится что-то вроде Реставрации, как это, в конце концов, случилось после кровавой Французской революции, они покинут Германию – вернуться в свои разорённые гнёзда. Лишь к 1924 г., когда столица русской диаспоры переместилась из Берлина в Париж, постепенно стало формироваться сознание, что нужно налаживать жизнь здесь, на Западе, что в Россию уже не вернуться – «транзитный» период окончился.

Родители Набокова с младшими детьми переехали из Лондона в Берлин в 1920 г. и поселились в Грюневальде по адресу Эгерштрассе 1. Квартира была снята Набоковыми у вдовы Рафаила Левенфельда, переводчика Л. Толстого и И. Тургенева. Здесь семья прожила до 5 сентября 1921 г. (см. фото).

Ухоженный белоснежный, двухэтажный дом с лепным карнизом над массивной дубовой резной дверью и ещё с полуциркульным окном над ним, по обеим сторонам – фигурки двух кудрявых обнажённых младенцев с кувшинами, и с двумя же, тоже по обеим сторонам, на первом этаже, узорны-ми чугунными балконами. На балконе слева, некогда сидели чучела птиц, каких именно, непонятно. А недавно они исчезли. Однако же дом до сих пор существует, несмотря на течение времени и его катаклизмы, единственный дом из многочисленных берлинских адресов Набокова (их 16!) сохранившийся до наших дней. Калитка во двор всегда не заперта, и можно пройти к нему по вымощенной камнем дорожке и заглянуть сквозь застеклённую дверь в вестибюль, увидеть деревянную крутую лестницу с нарядной ковровой дорожкой, с резными перилами. Именно сюда, к родителям, из Лондона приезжал студент Набоков на каникулы.

Семья сумела вывезти с собой небольшое количество фамильных драгоценностей (преданный некогда семье швейцар Устин не всё отдал большевикам), так что поначалу хватило даже средств для того, чтобы определить Владимира и Сергея в привилегированные учебные заведения.

1 октября 1919 г. Владимир Набоков стал студентом Trinity College, (кол-



леджа Святой Троицы в Кембридже), где выбрал своей специальностью русскую и французскую литературу. Именно в Кембридже явилась с пронзительной силой тоска по родине – для Набокова мучительная, неизлечимая болезнь. Затем Набоковы переехали в квартиру на Зексисштрассе 67 (дом не сохранился). С этим домом и связаны трагические события – убийство отца Набокова в Берлинской филармонии.

3. Владимир Дмитриевич Набоков в шестнадцать лет окончил гимназию с золотой медалью. Обучался юриспруденции в Петербургском и Галльском университетах, в двадцать шесть лет получил звание профессора, преподавал в императорском училище правоведения, и, казалось, ничто не омрачало его будущего. К тому же и происхождение обязывало: отец его, Дмитрий Николаевич Набоков, в пору царствования Александра III состоял министром юстиции и членом Государственного совета.

Набоков рассказывает о первом серьёзном «ослушании» отца на правительственном уровне, повредившем его карьере. Оно было связано с Кишинёвским погромом: Владимир Дмитриевич без специального разрешения «Министра Двора» печатал в 1903 г. в журнале «Право» свою знаменитую статью «Кровавая кишинёвская баня», в которой осудил роль, сыгранную полицией в подстрекательстве к кишинёвскому погрому 1903 г., после чего указом царя был лишён придворного чина.

В 1911 г. Владимир Дмитриевич вызвал на дуэль редактора влиятельной правой газеты за публикацию оскорбительной антиеврейской статьи. Дуэль, по счастью, не состоялась, поскольку редактор (ему понадобилось для принятия решения несколько дней) принёс свои извинения. Набоков-сын уделил этой драматической истории – а также истории своего мучительного страха, страха двенадцатилетнего мальчика, день за днём ожидающего гибели отца, – целую главу романа. Отцу суждено будет умереть преждевременной, насильственной смертью не в Петербурге, и не на дуэли, а из-за пули, выпущенной ему в спину, в Берлине, спустя одиннадцать лет.

Владимир Дмитриевич присутствовал на процессе по делу Бейлиса, совершавшемся с жутким средневековым колоритом, поскольку выписаны были даже книги из Италии, «документально» подтверждающие факты ритуальных убийств. Набоков-старший неоднократно разоблачал антиеврейские фальсификации, в том числе и пресловутые «Протоколы сионских мудрецов».

Знаменитый полицейский апокриф был вновь напечатан в Берлине в 1920 г. в альманахе с многообещающим названием «Луч света»²⁹.

«Луч света» в тёмном царстве всемирного еврейского заговора издавали будущие убийцы Владимира Дмитриевича. Три таинственных сочинителя, подписывались инициалами: Ф. В., П. Б. и С. Т., под которыми скрывались

Фёдор Винберг, Пётр Шабельский-Борк и Сергей Таборицкий. По странно-му (жуткому) совпадению сокурсник будущего писателя Набокова, живший с ним в Кембридже в одной комнате, показал ему три альманаха. Юноша от бездарных сочинений будущих убийц отца катался по дивану, всхлипывая от смеха, а впоследствии с ужасом вспоминал об этом, совсем не комическом, эпизоде. Ему казалось, что в тот памятный вечер был подан некий высший знак, который он не заметил, что прозвучало предостережение, которого по непростительному легкомыслию не услышал. На самом деле именно тогда шовинистическая агитация приняла такие чудовищные масштабы, которых ранее не знала Западная Европа.

* * *

В Берлине уже к тому времени обосновался близкий друг Владимира Дмитриевича Набокова и соратник по партии кадетов Иосиф Владимирович Гессен. Он в 1920 г. открыл при немецком издательстве «Ульштейн», существующем и по сей день, издательство «Слово» и газету «Руль», редакции которых располагались по адресу Циммерштрассе 7-8, и отец Набокова тут же включился в работу, как соредактор Гессена.

7 января 1921 г. в газете «Руль» был опубликован первый рассказ Набокова, подписанный псевдонимом «Владимир Сири́н», чтобы читатели «Руля» не перепутали его с отцом, публиковавшим публицистику в этой же газете.

Газета придерживалась либерально-консервативной линии и пропагандировала парламентскую демократию западного образца. Таким образом, она неизбежно оказывалась между двух огней: большевиками и правыми экстремистами.

Гессен впоследствии не избежал трагической участи жертвы нацизма. Он уехал из Берлина в Париж в 1933 г., а из оккупированного Парижа выбрался лишь в 1942 г. (к этому времени его пасынок Штейн погиб в Освенциме) по специальной визе для выдающихся лиц, полученной по распоряжению Рузвельта. Однако потрясение от пережитого, постоянного преследования подорвало его здоровье – он умер спустя три месяца после приезда в Нью-Йорк, так и не повидавшись с Набоковым, которого впервые опубликовал и на страницах газеты «Руль», и в издательстве «Слово».

Трагические события в марте 1922 г. развивались следующим образом. Из Берлина в Париж после поездки в США прибыл основатель партии кадетов Павел Николаевич Милуков (1859-1943). 28 марта в зале Берлинской филармонии на Бернбургерштрассе 22/23 должен был состояться его доклад «Америка и восстановление России». На встречу с бывшим министром иностранных дел Временного правительства пришли тысячи эмигрантов. По странному стечению обстоятельств в это же время на Ноллендорфплац, в ресторане «Красный дом», состоялся съезд русских монархистов, в котором принимали участие немецкие монархисты. Поначалу на одновременность

собрания и монархистского съезда внимания как будто не обратили. Однако после террористического акта в филармонии съезд был приостановлен немецкими властями.

Подобные совпадения не всегда случайны. «Странные сближения» такого рода на самом деле и становятся свидетельствами зарождения в Германии нацизма, грозные тени будущей диктатуры бродили по Берлину в памятные дни русской эмиграции, уже тогда благословляя на геноцид.

Милюков успел прочитать свой доклад до конца, после чего раздался выстрел Петра Шабельского-Борка, который, поднявшись со своего места в третьем ряду, принялся стрелять в Милюкова, направляющегося уже к столу президиума, чтобы занять своё место. Сидевший в президиуме кадет А. Н. Асперс, раненый в грудь, успел толкнуть Милюкова на пол, а Шабельский вскочил на трибуну с криком: «Я мщу за царскую семью», расстреливая между тем толпу в зале.

На Шабельского кинулся Набоков, выкручивая руку с браунингом. Таборицкий трижды выстрелил ему в спину. В зале началась паника и давка, толпа устремилась к выходу и в гардеробе наткнулась на убегающего Таборицкого. Он был пойман возмущённой толпой, кричавшей «Убийца!». Набоков вспоминал: «В 1922 году, когда в берлинском лекционном зале мой отец заслонил Милюкова от пули двух тёмных негодяев, и, пока боксовым ударом сбивал с ног одного из них, был другим смертельно ранен в спину»³⁰.

* * *

Три месяца спустя после убийства Владимира Дмитриевича Набокова произошло убийство, совершённое правыми силами, получившее оглушительный резонанс во всей Европе. 24 июня 1922 г. группа молодых фанатиков, члены террористической организации «Консул», застрелила германского министра иностранных дел Вальтера Ратенау. Убийцы были абсолютно уверены не только в том, что Ратенау действовал от имени «сионских мудрецов», но что и сам он являлся одним из них. Припев «Пристрелите Вальтера Ратенау, проклятую Богом еврейскую свинью» представляет собой типичный образец того, что распевали распоясавшиеся «молодчики» на улицах.

Коллективный экстаз пения – характерный признак немецкого шовинизма. В романе Фридриха Горенштейна «Летит себе аэроплан», *поющий трамвай* превратился в символ монолитного коллектива, фундамента, на котором будет стоять грядущая диктатура. Вариант коллективного пения в таком же значении присутствует и в рассказе Набокова (Сирина) «Облако, озеро, башня», опубликованном впервые в Париже в «Русских записках», 1937, № 2. Русский эмигрант Василий Иванович выиграл в Берлине увеселительную

поездку. Однако уже в поезде выяснилось, что любоваться красотами природы ему не придётся, поскольку участникам мероприятия были выданы нотные листки со стихами, и было необходимо петь хором:

*«Распростись с пустой тревогой,
Палку толстую возьми
И шагай большой дорогой
Вместе с добрыми людьми.
По холмам страны родимой
Вместе с добрыми людьми,
Без тревоги нелюдимой,
Без сомнений, чёрт возьми.
Километр за километром
Ми-ре-до и до-ре-ми
Вместе с солнцем, вместе с ветром,
Вместе с добрыми людьми»³¹.*

История путешествия Василия Ивановича завершилась печально. За недостаточно проявленную активность в коллективном отдыхе он был жестоко избит. «Как только сели в вагон, и поезд двинулся, его начали избивать, – били долго и изощрённо»³².

Впрочем, мало ли признаков, так называемого, «роста национального самосознания» в отдельно взятой стране?

Кажется, что два политических убийства в Берлине в одном только 1922 г., бывшего русского министра Набокова и немецкого министра Ратенау, совершились в параллельных мирах. В объёмных исследованиях на русском языке о Набокове я не заметила явно напрашивающихся сопоставлений этих двух убийств с временным расстоянием всего лишь в три месяца. Кроме книги Карла Шлегеля «Берлин, Восточный вокзал»³³, переведённой на русский язык в 2004 г.³⁴, в которой автор утверждает, что между русскими террористами и немецкими крайне правыми террористами были контакты.

* * *

Во время убийства Набокова в зале филармонии находился и сам руководитель акции: полковник Теодор Винберг – третий создатель альманаха, он же – член «Братства Михаила Архангела». Полковник был арестован, но затем отпущен за недостаточностью улик. Между тем, именно благодаря полковнику «Протоколы сионских мудрецов» выпущены были из недр России, подобно злему джину из бутылки.

Пётр Шабельский-Борк и Сергей Таборицкий, служившие на Кавказе русские офицеры, во время Гражданской войны отправились с немцами в Германию. Мать Борка, писательница и актриса Шабельская-Борк Е. А., член «Союза русского народа» и «братства Михаила Архангела» ещё в 1913 г.

написала книгу с устрашающим названием «Сатанисты XX века», которая неоднократно переиздавалась, переиздаётся в России и в новом столетии, в наши дни. Надо сказать, офицеры плохо устроились в Мюнхене: жили в бедном пансионе в постоянной нужде. Однако не теряли надежды получить финансовую поддержку для активной подрывной деятельности в Германии, тогда как в России во время переворота, а затем убийства царской семьи они совсем куда-то исчезли, канули, что называется, в небытие. Биографы Набокова не сумели узнать, кто финансировал поездку в Берлин для совершения политического убийства.

Процесс по делу о покушении на Милюкова проходил 3-7 июля 1922 г. в берлинском уголовном суде в Моабите.

На суде террористы обрадовались, узнав, что вместо Милюкова убили Набокова. Петр Шабельский-Борк и Сергей Таборицкий были приговорены соответственно к 12 и 14 годам заключения, однако спустя 5 лет, в 1927 г. были помилованы. При нацистах эти два русских «патриота» занимали важное положение в контролируемой гестапо русской эмигрантской иерархии. Таборицкий стал правой рукой генерала Василия Бискупского, скрывавшего у себя молодого Гитлера после провала Мюнхенского путча, ведавшего при Гитлере делами эмигрантов; Шабельский-Борк получил пенсию героя вместе с заданием организовать русское фашистское движение. Когда сестре Набокова Елене в Праге понадобился документ, подтверждающий её расовую полноценность, она получила его из Берлина, из учреждения с названием «Служба доверия» (Vertrauensstelle für russische Flüchtlinge), располагавшегося по адресу Бляйтройштрассе 27, за подписью убийц отца. В переводе с немецкого «Bleib treu» означает буквально: оставайся верным. Эта улица Верности, одна из центральных улиц Берлина, берущая своё начало у Курфюрстендамм, с тем же трогательным названием – невинная свидетельница преступлений против человечества – существует и в наши дни.

Затерялись в 1945 г. следы Сергея Таборицкого – убийцы Владимира Дмитриевича Набокова. Быть может, принял другое имя и другую веру, мусульманскую, например, и с ней, с этой верой, просидел неподвижно, скрестив ноги, до конца своих дней, устремив настороженный взор в дрожащее от солнечного потока пространство под жарким небом марокканской или какой-нибудь другой пустыни, тщательно укутанный в белое полотно и платок. А может (страшно подумать), благодаря свободному доступу к документам евреев, прихватил еврейскую метрику и паспорт одной из жертв Холокоста, вынырнул где-нибудь в качестве этой жертвы и сделал новую карьеру, благо мир иной раз на удивление доверчив?

Шабельский-Борк, следуя примеру многих нацистов, скрылся в дебрях солнечной Аргентины. Впрочем, не совсем скрылся: в 1955 г. он вдруг объявился с опубликованной в Санто Пауло (издание Общества святого Владимира) книгой с названием «Павловский гобелен» о либералах и евреях,

предавших Россию. Разумеется, он не раскаивался в содеянном, а совсем наоборот, заявил, что убийство Набокова было не случайным – такова была воля провидения.

* * *

Владимир Набоков посвятил отцу лучшие страницы своих произведений. Он, кажется, уверовал в нетленность отца. Спустя год после гибели отца он посвятил его памяти стихотворение «Гекзаметры»:

*«Смерть – это утренний луч, пробужденье весеннее. Верю,
Ты, погружённый в могилу, пробуждённый, свободный,
Ходишь, сияя незримо, здесь, между нами – до срока,
Спящими...*

О, наклонись надо мной, сон мой подслушай... »³⁵

Писатель утверждал, что отец помогает ему в его творчестве: «И я знал, что он помогает мне».

4. Вскоре после смерти отца мать Набокова с детьми, двумя братьями и двумя сестрами Владимира решили переехать в Прагу.

Воспользуюсь здесь возможностью дать краткую справку о братьях и сёстрах писателя. Сергей Владимирович Набоков во время войны жил в Германии, был арестован нацистами за «подрывную деятельность» и погиб в немецком концентрационном лагере Нойенхамме в 1945 г. Кирилл Владимирович Набоков в последние годы жизни работал журналистом в русской редакции радио «Свобода», умер в 1964 г. Ольга Владимировна Петкевич (в первом браке княгиня Шаховская) жила в Праге, умерла в 1978 г., там вырос её сын, Ростислав. Внук, Владимир Петкевич, – профессор Карлова университета, специалист по структурной лингвистике. Елена Владимировна Сикорская – филолог, училась в Карловом университете, всю войну провела с семьёй в Праге, затем переехала с мужем и сыном Владимиром в Женеву, где работала библиотекарем, умерла в 2000-м г. Её сын Владимир Сикорский, – переводчик-синхронист, живёт с семьёй в Женеве.

Набоков закончил учёбу в Кембридже и переехал в Берлин. Постоянной, оплачиваемой работы у него не было.

К этому времени вышли в свет два стихотворных сборника Набокова – «Гроздь»³⁶ и «Горный путь»³⁷, посвящённый памяти отца. В подготовке сборника принял участие Саша Чёрный, которого Набоков признавал в какой-то мере своим учителем.

Из-за отсутствия средств Набоков вынужден был часто менять место жительства – как правило, это были меблированные комнаты в пансионах. В стихотворении «Река», написанном в Берлине в 1923 г., он рассказал о своих скитаниях, вероятно, вспомнив князя Мышкина, который с котомкой каждый раз переселялся из одного жилища в другое:

«А теперь в беспрютном краю,

Уж давно не снимаю котомки»³⁸.

После отъезда семьи в Прагу Набоков в январе 1924 г. снял комнату на третьем этаже в пансионе Елены Андерсон по адресу Лютерштрассе 21, однако спустя восемь месяцев он вынужден был переселиться в пансион Элизабет Шмидт по знакомому нам уже адресу Траутенауштрассе 9, пансион, с которого и начался мой рассказ о Берлине 20-х годов. Напомню ещё раз, что в 1921 г. одну из квартир пансиона занимал Илья Эренбург, а в 1922 г. он передал её Марине Цветаевой, которая в течение двух месяцев жила здесь со своей десятилетней дочерью Алей. Сюда же приезжал и муж Цветаевой, Сергей Эфрон.

Квартиру в пансионе нашла Набокову будущая жена, Вера Слоним, которая жила неподалёку, в трёхстах шагах, по адресу Ландхауштрассе 41.

Здание бывшего «русского пансиона», пожалуй, одно из редких зданий, связанных с русской эмиграцией, сохранившееся, правда, с небольшими изменениями. Сохранились заштукатуренные балконы, характерная (и неизбежная) деталь берлинского городского пейзажа – это они напоминали Набокову выдвинутые ящики стола, которые забыли задвинуть. Дом отмечен был в ноябре 1996 г. латунной дощечкой, посвящённой Марине Цветаевой, и тогда впервые в Германии кириллицей было заявлено о русском поэте.

Вспомним, что один из многочисленных балконов в «русском доме» Цветаева в письмах называла «своим» и посвятила ему знаменитое стихотворение «Балкон», где страстно желала сброситься с него.

Похоже, что Владимир Набоков и Вера Слоним в 1924 г. переживали в одной из комнат пансиона Элизабет Шмидт более счастливые дни и, разумеется, не помышляли о самоубийстве. Впоследствии о Владимире Набокове и его жене Вере говорили, что они были неразлучны, как сиамские близнецы, утверждали даже, что Вера была лучшей из писательских жён, что без неё Набоков не написал бы своих романов. Набоков впервые встретил Веру на одном из благотворительных балов, которые часто устраивались в «эмигрантском» Берлине, и Вера явилась на бал 9 мая 1923 г. в чёрной волчьей маске. Это была худенькая, очень стройная девушка с прозрачной кожей, пышными непокорными волосами и большими голубыми глазами. И сам Набоков был в молодые годы невероятно красив: стройный, аристократичный юноша.

Таинственная девушка в маске не сняла её в тот вечер. Она наизусть стала читать Владимиру его стихи и поразила автора в самое сердце. Он сразу же ощутил с ней родственную связь, почувствовал: эта женщина – его судьба.

Вера угадала в молодом человеке, ещё не написавшем ни одного романа, будущего большого писателя, и этой истине служила последующие шестьдесят восемь лет своей жизни. Таинственная маска, в которой девушка предстала на благотворительном балу, оказалась символичной (в смысле

тайнственности). Вера впоследствии жила только успехами мужа, предпочитая оставаться в тени, хотя тщеславие было ей присуще. Однако ей удобнее и привычнее было находиться при муже, как бы, в маске. И таким вот образом отражать свет. Вероятно, здесь кроется причина её всё возрастающей с годами скрытности, доходящей до страсти.

Вера Евсеевна Слоним родилась в Петербурге 5 января 1902 г. в семье евреев, происходивших из черты оседлости Могилёвской губернии. Отец Веры, Евсей Лазаревич Слоним, сын мелкого торговца, окончил гимназию с отличием, а затем – также с отличием – юридический факультет Петербургского университета, что дало ему право жить в столице – такое право было получено некоторыми евреями с 1861 г. Слонимы снимали квартиру на Фурштатской, недалеко от Таврического сада – именно в этой части города жили знаменитые представители еврейской общины, преимущественно, интеллигенция. Вера получила хорошее домашнее образование, окончила очень дорогую частную школу княгини Александры Алексеевны Оболенской и знала четыре иностранных языка.

После октябрьских событий семья Слоним прошла типичный трудный путь изгнанников и сумела добраться до Берлина, как и многие эмигранты, через Турцию и Болгарию. Слонимы поселились в Берлине в 1921 г.

Вере исполнилось восемнадцать лет, она мечтала стать лётчицей, скакала верхом на лошади в парке Тиргартен, стреляла из автоматического ружья в тире вместе с бывшими офицерами-белогвардейцами, и в ней ощущалось стремление совершить подвиг. В Берлине отец Веры основал контору по импорту-экспорту, а также издательство под названием «Орбис» на Нойе-Байреретштрассе, которое переводило западную литературу на русский, а русскую классику на английский для экспорта в Америку. С 1922 г. Вера работала в этом издательстве в качестве переводчика вплоть до 1925 г., когда Евсей Лазаревич разорился, и «Орбис» закрылся, не опубликовав ни единой книги.

Отношения Владимира с Верой развивались стремительно и бурно.

Вера Евсеевна Слоним (Берлин-Шёнеберг), и Владимир Владимирович Набоков (Берлин-Вильмерсдорф) сочетались браком в Вильмерсдорфской ратуше 15 апреля 1925 г.

Женитьба на Вере явилась переломным этапом в творчестве Набокова. Он сразу же написал свой первый роман «Машенька» с посвящением жене. «Машенька» вышла в свет в 1926 г. в издательстве «Слово». Роман был замечен и положительно воспринят критикой. Набокова называли новым Тургеневым, предсказывали роль бытописателя эмигрантской жизни. Такие пророчества не радовали Набокова. Следующий его роман «Король, дама, валет» был настолько далёк от русской эмигрантской жизни, что в нём не оказалось ни одного русского персонажа. Роман был переведён на немецкий

язык, имел коммерческий успех и оказался даже самым коммерческим за всё пребывание писателя в предвоенной Европе. Гонорар позволил Набокову с женой отправиться в Пиренеи, где он и приступил к созданию нового романа «Защита Лужина». Роман был опубликован в парижских «Современных записках» в 1929 г. Успех «Защиты Лужина» превратил «многообещающего» автора в одного из самых известных русских писателей.

Вера взяла на себя секретарские обязанности: она печатала на машинке его прозу и стихи вплоть до 1967 г. Вначале печатала под его диктовку, а затем – отстукивала окончательный вариант в трёх экземплярах. Исследователи спрашивали у Веры, кому всё же принадлежит компоновка текста, и Вера категорически отказывалась от намёков на своё вмешательство. Если на странице текста что-то было написано её рукой, она утверждала, что переносила в текст набоковский комментарий своей рукой.

Разумеется, она исправляла орфографию писателя и стилистические ошибки, поскольку, по её мнению, Набоков «был весьма невнимателен по части грамматики».

Последний берлинский адрес Набоковых – Несторштрассе 22. Отсюда семья отправится в 1937 г. во Францию, а затем в Америку. Впереди – ещё долгие годы совместной жизни в Итаке, в большой нужде и безвестности.

Ещё впереди гениальный «семейный проект» с «Лолитой», рассчитанный на скандал, связанный с «оскорблением нравов», подобный скандалу вокруг «Мадам Бовари» (Флобер был одним из любимых писателей Набокова). Цель «проекта» – задеть нужный нерв читающего мира, после чего, как в сказке, в 1962 г. явятся продюсер Джеймс Гаррис и режиссёр Стэнли Кубрик. И сон станет явью.

Однажды Набоков увидел во сне своего дядю Василия Ивановича Рукавишников, того самого, что завещал ему Рождествено, пообещавшего когда-нибудь появиться в образе двух клоунов – Гарри и Кувыркина и вернуть наследство, утраченное племянником в 1917 г.

Вера чуть ли не заставляла Владимира писать с трудом дающийся ему роман, как будто чувствовала, что этот роман – двенадцатый по счёту – принесёт желанную победу, повернёт читающую публику к предыдущим. Она спасла «Лолиту» от огня: вытащила из печки, когда Набоков предал её сожжению. «Лолиту» Набоков посвятил Вере.

5. Воистину неисповедимы пути литературные, и время от времени возникает всё тот же риторический вопрос: отчего чиновничьи, бюрократические государства, а также высокомерные их столицы выбрасывают на поверхность таких гигантов литературы, как Гоголь, Достоевский, Кафка и Набоков, почему безжалостные тоталитарные режимы столь богаты талантами, такими, как Булгаков, Платонов, Маркес и Борхес? Что это – сила сопротивления могучего духа даёт авторам-избранникам такую невероятную

энергию?

Владимир Набоков сложился как писатель в Берлине, где прожил достаточно долго – пятнадцать лет (с 1922 по 1937 гг.). Можно без преувеличения сказать то, о чём сам писатель никогда не говорил: этот город стал его творческой родиной, поскольку именно здесь он написал свои первые повести, романы и пьесы, и здесь они были впервые опубликованы.

В сложный и даже трагический период своей жизни, в столице набирающего силу национал-социализма, Набоков писал много, разнообразно и интенсивно, пробуя себя во всех жанрах. Вот далеко не полный перечень значительных произведений – романов и повестей, опубликованных писателем в Берлине под псевдонимом Сирин (был у Набокова ещё один «берлинский» псевдоним – Василий Шишков): «Машенька», «Король, дама, валет» (1928), «Защита Лужина» (1930), «Отчаяние» (1930), «Соглядатай» (1930), «Camera obscura» (1932), «Приглашение на казнь» (1935), «Дар» (1937).

Сирина, одного из немногих эмигрантских писателей, переводили на немецкий язык почти сразу же после публикации – это романы «Машенька» и «Король, дама, валет». Во многих его произведениях, написанных в Берлине, местом действия стал сам город.

В берлинских романах Набокова город, как правило, представлен негативно – это почти аксиома.

Интересно, что Набоков – не только «писатель-практик», но и теоретик литературы, на первый взгляд, как бы со стороны наблюдавший устойчивую русскую «литературную традицию» противостояния Востока и Запада, – на самом деле явился также и её продолжателем. Если Достоевскому в духовности России видится ответ потерянного рая в метафизическом смысле, то для Набокова она приобретает иное значение. Тема России чуть ли не подменяется темой детства. Между тем, не случайно, образ естественности, чистоты и невинности традиционно связан с мифом о детстве человечества.

Таким образом, потерянный рай Набокова, так же как и «потерянный рай» Достоевского, локализуется всё там же, в России – но в России предреволюционной, утраченной, которая, в свою очередь, противопоставляется Западу, где писатель в детстве, не будучи эмигрантом, окажется на детском празднике, а спустя десятилетие – в роли изгнанника. Так, одной из важнейших тем автобиографического романа «Другие берега», как, впрочем, и во многих других берлинских романах («Машенька», «Дар»), становится трагедия изгнания из рая.

Вернёмся в Берлин 1920-х гг., когда семья жила в крайней нужде. Набоков давал уроки тенниса юношам и девушкам из богатых семей, снимался в немом кинематографе, был тренером по боксу, занимался переводами. «Сначала эмигрантских гонораров не могло хватать на жизнь. Я усердно давал уроки английского и французского, а также тенниса. Много переводил – начиная

с “Alice in Wonderland” (за русскую версию которой получил пять долларов) и кончая всем, чем угодно, вплоть до коммерческих описаний каких-то кранов»³⁹.

Вполне естественно было бы предположить, что юноша был потрясён своим внезапным превращением в нищего. (По иронии судьбы, дядя, оставивший ему в наследство недвижимость в России, свою заграничную недвижимость подарил случайным людям.)

Однако в «Других берегах» – автобиографическом романе! – автор в этом читателю не признаётся. Более того, он утверждает, что имущественных претензий к большевикам не имеет: «Моё давнишнее расхождение с советской диктатурой никак не связано с имущественными вопросами. Презираю россиянина-зубра, ненавидящего коммунистов потому, что они, мол, украли у него деньжата и десятины. Моя тоска по родине лишь своеобразная гипертрофия тоски по утраченному детству. И ещё: выговариваю себе право тосковать по экологической нише – в горах Америки моёй вздыхать о северной России»⁴⁰.

Набоков откровенно негативно относился к Германии. «Германский» период он в «Других берегах» называет «антитезисом». Правда, впоследствии, уже в Швейцарии, тон писателя к Германии (и к другим странам, приютившим эмигрантов), заметно смягчился.

Между тем, в семье Набоковых были немецкие корни. Бабушка его, мать отца, была немкой. В третьей главе «Других берегов» писатель даёт интереснейшие сведения о некоторых своих немецких предках: «Бабка же моя, мать отца, рождённая баронесса Корф, была из древнего немецкого (вестфальского) рода и находила простую прелесть в том, что в честь предка крестоносца был будто бы назван остров Корфу»⁴¹.

«Этот мой предок Карл Генрих Граун, талантливый карьерист, автор известной оратории «Смерть Иисуса», считавшейся современными ему немцами непревзойдённой, и помощник Фридриха Великого в писании опер, изображён с другими великими приближёнными (среди них Вольтер) слушающим королевскую флейту, на пресловутой картине Менцеля, которая преследовала меня, эмигранта, из одного берлинского пансиона в другой»⁴².

Набоков говорит о картине Адольфа Менцеля «Концерт Фридриха Второго в Сан-Суси». Композитором Грауном было написано три сборника концертов для флейты специально для короля, кроме того, он сочинил двадцать восемь опер. Что же касается оратории «Смерть Иисуса», то она действительно пользовалась огромным успехом, и это несмотря на то, что о последних днях и смерти Иисуса были написаны гениальные произведения И. С. Бахом и Г. Ф. Генделем.

«Кузина моего прапрашуря, женатого на дочке Грауна, была та самая русская дама, которая, находясь в Париже в 1791 г., одолжила паспорт свой

и дорожную карету... королевскому семейству для знаменитого бегства в Варенн (Мария Антуанетта, ехала как мадам де Корф, или как её камеристка, король – не то, как гувернёр её двух детей, не то, как камердинер)»⁴³. Набоков здесь имеет в виду баронессу Анну Христиану фон Корф, урождённую Штегельман, которая действительно принимала участие в неудачном бегстве короля Людовика XVI в 1791 г.

* * *

По свидетельству Глеба Струве, члены общества (или кружка?) собирались, как правило, у него на квартире в Вильмерсдорфе на Байришештрассе 9.

Вскоре и это объединение угасло вслед угасающему пламени неповторимого русского литературного Берлина 20-х гг. Как сказал некогда Фёдор Тютчев: «Кончен пир, умолкли хоры». Экономический кризис буквально разрушил культурную жизнь города: русские издательства и книжные магазины, возникшие с невероятной быстротой, словно из воздуха, закрывались одно за другим. Дух разрушения ощущался во всём, и невозможно его было остановить. И литераторы поспешно покидали Берлин, как правило, отправляясь в Париж. Покинули Берлин и «рыцари» «Братства Круглого стола», в том числе Струве и Лукаш. Но наблюдались слабые попытки что-то ещё сделать, так велика была жажда духовного общения.

Так, в том же 1923 г. создалось новое литературное содружество, в которое вошли Юлий Исаевич Айхенвальд, один из первых оценивший дар Набокова, философ Григорий Адольфович Ландау, поэт и театральный критик Юрий Викторович Офросимов. Собирались на чердаке дома на Фазаненштрассе (ныне «Дом литературы»). Дом воссоздан в послевоенное время. На одном из заседаний в 1926 г. Набоков прочитал свой первый роман «Машенька».

6. Последнюю, 14-ю главу романа «Другие берега» Набоков предварил цитатой из 14-й оды к «Постуму» Квинта Горация Флакка: «О, как гаснут – по степи, по степи, удаляясь, годы!»

А затем он предложил Вере вместе вспомнить трудные берлинские годы, где в кошмаре стремительно нарастающего нацистского безумия оказалось и много хорошего, поскольку они были тогда очень молоды. 10 мая 1934 г. в Берлине родился их единственный сын Дмитрий.

Вера вынашивала мальчика тайком, и для всех окружающих рождение ребёнка явилось неожиданностью. Вера родила ребёнка в частной клинике в Шёнеберге – в одиннадцать утра.

«Годы гаснут, мой друг, и, когда удалятся совсем, никто не будет знать, что знаем ты да я. Наш сын растёт! Розы Постума отцвели... А потому, пожалуй, пора, мой друг, просмотреть древние снимочки, пещерные рисунки поездов

и аэропланов, залежи игрушек в чулане. Заглянем ещё дальше, а именно вернёмся к майскому утру в 1934-м году в Берлине. Мы ожидали ребёнка. Я отвёз тебя в больницу около Байеришер Плац и в пять часов утра шёл домой, в Грюневальд. Весенние цветы украшали крашенные фотографии Гинденбурга и Гитлера в витринах рамочных и цветочных магазинов»⁴⁴.

Один из последних берлинских адресов Набокова – Несторштрассе 22. Набоковы переселились сюда из квартиры на Вестфалишештрассе 29 в просторную квартиру на третьем этаже двоюродной сестры Веры, Анны Лазаревны Фейгиной. В романе «Дар», завершённом на Несторштассе в 1937 г., описана «Агамемнонштрассе» – такой улицы в Берлине не существует. По всей видимости, здесь и подразумевается Несторштрассе.

Дом на Несторштрассе был почти полностью разрушен во время воздушных налётов в 1944 г. и в 70-х гг. перестроен. К столетнему юбилею Набокова, по инициативе хозяина находящегося в доме ресторана-галереи, господина Фидлера (Kunstkabinett) была установлена мемориальная доска из латуни, на которой выгравированы надписи – на немецком и русском языках. Господин Фидлер не знал Набокова, но ему объяснили, что это автор «Лолиты», по который снят знаменитый фильм. Этого объяснения оказалось достаточно: Фидлер установил доску с надписью на немецком и на русском языках: «В этом доме жил в 1932-1937 гг. писатель Владимир Набоков». Таким образом, Набоков прожил здесь, в квартире на третьем этаже, последние пять лет, здесь были написаны романы «Камера обскура», «Приглашение на казнь», большая часть романа «Дар». В этом доме прошло раннее детство сына Набокова, Дмитрия.

До 1936 г. постоянный заработок был только у Веры Набоковой, которая в совершенстве владела немецким языком и работала в немецких фирмах. В связи с выходом закона, запрещавшего евреям работать в каких бы то ни было учреждениях, семья оказалась без средств к существованию.

В 1933 г. Гитлер был провозглашён рейхсканцлером. И тотчас же завопили громкоговорители, уже через месяц нацисты гнали босых евреев строем по улицам. Вновь стали распространяться вывезенные в 20-х гг. из России «Протоколы сионских мудрецов». Книжные прилавки завалены были томиками «Майн кампф». (Первый том книги, «Eine Abrechnung», «Сведение счетов», был опубликован ещё в 1925 г., второй, «Национал-социалистическое движение», – в 1926 г.). Первоначально книга называлась «Четыре с половиной года борьбы против лжи, глупости и трусости». Издатель Макс Аманн, сочтя название слишком длинным, сократил его до «Моя борьба». Весной были обнародованы первые законы о положении евреев.

«В годы младенчества нашего мальчика, в Германии громкого Гитлера и во Франции молчаливого Мажино, мы вечно нуждались в деньгах, но добрые друзья не забывали снабжать нашего сына всем самым лучшим, что можно

было достать... Обобщённый буржуа прежних дней патер фамилиус прежнего формата вряд ли бы понял отношение к ребёнку со стороны свободного, счастливого и нищего эмигранта»⁴⁵.

Набоков уделял Дмитрию всё свободное время, старался гулять с ним в любую погоду. Однако становилось тревожней совершать прогулки по улицам и паркам Берлина – угрожающие знаки нацизма давали повсюду о себе знать.

«В два года, на рождение он получил серебряной краской выкрашенную, алюминиевую модель гоночного «Мерседеса» в два аршина длины, которая подвигалась при помощи двух органнх педалей под ногами, и в этой сверкающей машине, чудным летом, полуголый, загорелый, золотоволосый, он мчался по тротуару Курфюрстендамма, с наносными и гремящими звуками, работая ножками, виртуозно орудуя рулём, а я бежал сзади, из всех открытых окон доносился хриплый рёв диктатора, бившего себя в грудь, нечленораздельно ораторствующего в Неандертальской долине»⁴⁶.

«Нашему мальчику было около трёх лет в тот день в Берлине, где конечно никто не мог избежать знакомства с вездесущим портретом фюрера, когда я с ним остановился около клумбы бледных анютиных глазок: на личике каждого цветка было тёмное пятно вроде кляксы усов, и по довольно глупому моему наущению, он с райским смехом узнал в них толпу беснующихся на ветру маленьких Гитлеров. Это было на Фербеллинерплац»⁴⁷. В квартире на Несторштрассе семья испытала настоящий страх ожидания «приглашения на казнь». Меж тем, как именно в это время в квартире на Несторштрассе шла напряженная работа над этим произведением в экстремальной обстановке. В квартире на третьем этаже, как вспоминал Набоков, был слышен с улицы «голос Гитлера из репродуктора на крыше». Гитлер кричал, а Набоков выстукивал на машинке «Приглашение на казнь». Рёв репродуктора подстёгивал, и Набоков написал потрясающую книгу за две недели.

В этом доме прошло раннее детство единственного сына Набокова Дмитрия.

Семья Набоковых – настоящая литературная семья. Дмитрий переводил на английский произведения своего отца, создал Фонд американских друзей музея Набокова. В 2009 г., посчитав, что роман «Лаура и её оригинал»⁴⁸ – вершина творчества отца, Дмитрий нарушил завещание НЕ ПЕЧАТАТЬ, опубликовал его на русском и английском языках. Дмитрий умер 22 февраля 2012 г. в Монтрё, не оставив наследника, и похоронен рядом с родителями. Роман «Лолита» принёс Набокову известность и богатство, но оно, так же, как и литературное наследие, как это ни грустно сознавать, осталось без наследника.

Впоследствии писатель и сам не смог объяснить, почему не уехали

вовремя, допустим, в 33-м, когда можно ещё было выбраться из Германии. Рождение ребёнка сыграло немалую роль в скитальческой жизни Набокова. Если раньше он переезжал (переходил) из одного пансиона в другой, то захотелось покоя, и не хотелось верить, что история обернётся таким кошмаром. Однажды избежав диктатуры большевизма, он опять оказался лицом к лицу с диктатурой, не менее зловещей по своему размаху и масштабу.

В любую минуту можно было ожидать, что зловещий город ворвётся в сокровенное бытие. Точно так в 1930 г., в диктаторском Петербурге, ожидал вторжения собрат Набокова по Тенишевскому училищу Осип Манделъштам (оба посвятили училищу замечательные страницы, Манделъштам в «Шуме времени», Набоков в «Других берегах»), с безошибочной точностью предсказавший свою трагическую судьбу:

*«И всю ночь напролёт жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных».*

В 1937 г. Набоковы уехали во Францию, а в 1940 г. они вторично спасались от фашизма. За несколько дней до оккупации Парижа им удалось купить билеты на пароход, отправляющийся в США.

* * *

В 1961 г. Набоковы вернулись в Европу и поселились в Швейцарии, в Монтрё, в старой гостинице (Montreux Palace Hotel, основанной в 1906 г.). По некоторым сведениям, здесь останавливались Лев Толстой и Чайковский. Пятнадцать лет семья прожила в полном уединении и изоляции, занимаясь исключительно литературной деятельностью. В апартаментах «065» на шестом этаже были написаны романы: «Ада» и «Бледное пламя», здесь, за полтора года до смерти, в 1975 г., Набоков начал писать свой новый роман «Original of Laura» («Лаура и её оригинал»), который остался незаконченным. Писатель завещал после его смерти сжечь произведение, но Вера и Дмитрий не решились сжечь наброски романа и оставшиеся 138 карточек. Вера и слышать не желала о Германии и германском позоре Холокоста. Ни разу больше семья Набоковых не побывала в Германии и в Берлине – городе, который соединил их и стал духовной родиной писателя. Набоков умер 2 июля 1976 г., а Вера – 6 апрель 1991 г.

Когда Набоковы жили в Швейцарии, деревянный «рождественский» дом ещё не сгорел, ещё стоял на возвышении над рекой Оредеж. Набоков всё надеялся, что когда-нибудь «на заграничных подошвах и давно сбитых каблуках, чувствуя себя привидением», по знакомой дороге подойдёт к своему дому.

*«Вот на лугу шоссе
Дом с колоннами. Оредеж.
Отовсюду почти*

*Мне к себе до сих пор ещё
Удалось бы пройти*⁴⁹.

«Часто думаю, вот съезжу туда с подложным паспортом под фамилией Никербокер»⁵⁰. Дидерих Никербокер – так звали героя романа Вашингтона Ирвинга «История Нью-Йорка». (A History of New York, 1809).

Этот Никербокер поселился в одной из гостиниц Нью-Йорка, в ней жил и ушёл из неё, исчез бесследно, оставив вместо оплаты свой труд «История Нью-Йорка». Известно, что Набоков в эмиграции предпочитал жить в гостиницах.

Последнее прибежище Набокова – гостиница «Монтрёпалас», которую писатель назвал «лебединой». Его же самого, уже тогда всемирно известного писателя, прожившего пятнадцать лет в Швейцарии – ближе к дому – в литературных кругах прозвали «Чёрным лебедем Монтрё». Берберова справедливо считала Владимира Набокова оправданием всей нашей эмиграции. Можно с уверенностью сказать: изгнание обернулось для писателя удачей. Именно ностальгия, благодаря дару, приобретённому в изгнании, дару Мнемозины, стала вдохновенной тоской писателя, способствовала духовному взлёту его личности, питала его гений. «Воспоминанья острый луч, преобрази моё изгнанье»⁵¹. Тема памяти стала нервом набоковского творчества и получила окончательное жанровое выражение в автобиографии «Другие берега».

1 Набоков В. Домой // Набоков В. Тень русской ветки. М.: Эксмо, 2000. С. 288;

2 Шубин. В. Поэты пушкинского Петербурга. Лениздат, 1985;

3 Набоков В. Другие берега // Набоков В. Указ. соч. Т. 4. С. 164;

4 Набоков В. Предисловие к русскому изданию «Других берегов» // Набоков В. Собр. соч.: В 4 т. М.: Правда, 1990. Т. 4. С. 133. Далее сочинения Набокова, кроме отдельно оговорённых случаев цитируются по данному изданию;

5 Набоков В. Память, говори! // Набоков В. Собр. соч. американского периода: В 5 т. СПб: Симпозиум, 1999. Т. 5. С. 320;

6 Набоков В. Предисловие к русскому изданию «Других берегов» / Набоков В. Указ. соч. Т. 4. С. 134;

7 Там же;

8 Набоков В. Другие берега // Набоков В. Указ. соч. Т. 4. С. 180;

9 Там же. С. 169;

10 Там же. С. 294;

11 Там же. С. 251;

12 Там же. С. 253;

13 Там же. С. 214;

14 Набоков В. Машенька // Набоков В. Указ. соч. Т. 1. С. 99;

- 15 Набоков В. *Другие берега* // Набоков В. *Указ. соч. Т. 4. С. 215*;
- 16 *Там же. С. 251*;
- 17 *Там же. С. 251-252*;
- 18 *Там же. С. 228*;
- 19 *Там же. С. 229*;
- 20 *Там же*;
- 21 *Там же. С. 252*;
- 22 *Там же. С. 253*;
- 23 *Там же*;
- 24 Набоков В. *Тень русской ветки. М.: Эксмо, 2000. С. 280*;
- 25 Набоков В. *Дар. Предисловие к английскому изданию* // Набоков В. *Собр. соч. Анн Арбор: Ардис, 1988. С. 5*;
- 26 Берберова Н. *Курсив мой. М.: Согласие, 1996. С. 202*;
- 27 Ходасевич В. *Все каменное. // Ходасевич В. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1989. С. 166*;
- 28 Набоков В. *Машенька* // Набоков В. *Указ. соч. Т. 1. С. 53-54*;
- 29 Нилус С. А. *Великое в малом* // *Луча света. Берлин, 1920. № 3*;
- 30 Набоков В. *Другие берега* // Набоков В. *Указ. соч. С. 246*;
- 31 Набоков В. *Облако, озеро, башня* // Набоков В. *Указ. соч. Т. 4. С. 422-433*;
- 32 *Там же. С. 426*;
- 33 *Karl Schloegel. Berlin - Ostbahnhof Europas: Russen und Deutsche in ihrem Jahrhundert. Berlin: Siedler Verlag, 1998*;
- 34 Шлэгель К. *Берлин, Восточный вокзал / Пер. с нем. Л. Лисюткиной. М.: НЛЮ. 2004*;
- 35 Набоков В. *Гексаметры* // Набоков В. *Тень русской ветки. М.: Эксмо, 2000. С. 297*;
- 36 Набоков В. *Гроздь. Берлин: Гамаюн, 1923*;
- 37 Сирин В. *Горний путь. Берлин: Грани, 1923*;
- 38 Набоков В. *Река* // Набоков В. *Тень русской ветки. М.: Эксмо, 2000. С. 301*;
- 39 Набоков В. *Другие берега* // Набоков В. *Указ. соч. С. 286*;
- 40 *Там же. С. 44*;
- 41 *Там же. С. 158*;
- 42 *Там же. С. 158-159*;
- 43 *Там же. С. 160*;
- 44 Набоков В. *Другие берега* // Набоков В. *Указ. соч. С. 293-294*;
- 45 Набоков В. *Другие берега* // Набоков В. *Указ. соч. С. 296*;
- 46 *Там же. С. 297*;
- 47 *Там же. С. 299*;
- 48 Набоков В. *Лаура и её оригинал / перевод с англ. Г. Барабтарло. СПб.: Азбука, 2010. (Азбука-классика)*;
- 49 *Цит. по изд. : Набоков В. С серого севера* // Набоков В. *Тень русской ветки. М.: Эксмо, 2000. С. 357*;
- 50 Набоков В. *Другие берега* // Набоков В. *Указ. соч. С. 271*;
- 51 Набоков В. *Ut Piktura Poesis* // Набоков В. *Тень русской ветки. М.: Эксмо, 2000. С. 312*.

МИХАИЛ ЭНЕНШТЕЙН

ПРОЩАНИЕ С ПАРИЖЕМ

Путевые заметки

По средневековой улочке с поэтическим названием *Рю де Розье* (улица *Роз*), в еврейском квартале Парижа, группа туристов из Германии с трудом протискивалась за гидом. К концу дня на тротуары и мостовые выплёскивается пёстрая, разноязычная толпа. Перебивая друг друга, люди одновременно говорят, спорят, смеются, прислушиваются к отчаянным сигналам едва ползущих автомобилей, к скороговоркам продавцов, выкрикивающих цены на струдель, фаршированную рыбу, фалафель – самую дешёвую еду.

Толпа движется вдоль закусочных и ресторанчиков с традиционной еврейской кухней, вдоль *местечковых* лавочек, совсем непохожих на чинные французские магазины...

Ближе к вечеру эти улицы кажутся ущельями, в которых плещутся людские реки. На перекрёстках они образуют цветную круговерть костюмов, различных причёсок, головных уборов, нередко – ермолок или чёрных широкополых шляп, из-под которых свисают пейсы, завитые в спиральки.

А вот и – знакомцы. «Не с берегов Шпрее?» Нет. Это – свои, местные. Бритоголовые парни в чёрных рубашках военного покроя, в шнурованных высоких ботинках на толстой подошве, с ненавистью смотрят на людей в чёрных широкополых шляпах и кипах. Подогретые алкоголем, они похожи на хищников. Пружины их мускулов сжимаются, они готовы броситься на добычу. Но, пока ограничиваются только проклятиями на великом языке Пруста, Мопассана, Золя, Дюма... «Что будет потом?» Вспомнились события конца XIX века – судебный процесс по делу Альфреда Дрейфуса – офицера генерального штаба, обвинённого в шпионаже лишь за то, что он был евреем. Париж, декларируя приверженность своей страны к просвещённости, культуре и толерантности, тем не менее, через газету «*Ла Либор*» нагнетал юдофобию. Результат превзошёл все ожидания – начались еврейские погромы.

Глава французской разведки, Жорж Пикар, получив доказательства невиновности подсудимого, отдал приказ начать новое расследование. Государство и армия не простили это *главному разведчику* и перевели его в одну из африканских колоний. В дальнейшем – судили и приговорили к тюремному сроку. Эмиль Золя в открытом письме французскому президенту, опубликованному в газете «*Л'Орор*», обвинил правительство в «злостной клевете». После этого Золя, обвинённый в клевете, был вынужден уехать в Англию, чтобы избежать тюрьмы.

Сколько же книг написано о Париже? О его величии, красоте, жителях и тайнах? Сколько художников на своих полотнах увековечили лица парижан? Одни – одухотворены, другие – просто счастливы и благополучны, а третьи – раздавлены жизнью и судьбой. Все они сквозь время смотрят на нас со стен многочисленных музеев мира.

Это они – французы, вдохновлённые наполеоновской политикой, принесли, пусть и временную, но эмансипацию евреям Германии. В объявленной Конституции Вестфальского королевства особый декрет провозгласил отмену всех ограничений для них.

Свобода, равенство, братство – это образ мыслей и мироощущение французов. Казалось, что я давно знаком с ними – свободными, доброжелательными. Я был уверен, что знаю о Париже всё. Мне знакомы его дворцы, бульвары, площади. «Париж стоит мессы» или «Увидеть Париж и умереть» стали почти моими словами.

А Французская революция? «*Liberte! Egalite! Fraternite!*» А Марсельеза? Я слышу её мелодию, я вдохновлён пафосом этих звуков, слов. Я ждал встречи с Парижем.

Автобус мчал нас по шоссе, рассекающему обширные виноградники Франции. Гид рассказывал об особенностях виноделия этого района и о неповторимом букете местных вин: «Божоле Вилляж», «Мерло», «Бордо».

Наконец, снова возвращаемся в Париж... Экскурсии: музеи, дворцы, парки... Бульвары, набережная Сены, Еврейский квартал... Сочетание слов для меня звучит несколько необычно, не в фонетическом звучании, а в смысловом... Тем не менее, первый еврейский «десант» высадился в самом центре Парижа, в квартале «Маре», ещё в XIII веке. В последующие столетия с периодичностью морского прибоя волны ненависти то обрушивались на этот народ, то сменялись терпимостью к его обычаям, религии, философии. В XIX веке очередная волна иммиграции привела в Париж ашкенази – евреев из Восточной Европы. В начале XX века они располагались в крепости с очень крепкими воротами и с запасным выходом – на соседнюю улицу. Евреи знали, что «пути Господни неисповедимы», и в любой момент может настать время, когда этот запасной выход спасёт им жизнь. Но в сороковые годы XX века он не спас 76 тысяч евреев от уничтожения при активной помощи вольнолюбивых французов.

В XVI веке король Франции Людовик XIII, формируя личную охрану из дворян, – роту мушкетёров, – не мог знать, что один из потомков этих благородных и отважных людей, – господин Даркье де Пеленуа станет соратником руководителя СС в Париже, Оберга.

По инициативе «благородного» потомка 16 июля 1942 года на парижских евреев началась облава. А французские полицейские, потомки революционеров, сражавшихся на баррикадах 1871 года, гнали 15 тысяч евреев ударами прикладов к первому этапу смертного пути – к парижскому велодрому. Трое суток несчастные провели там без пищи и воды, а затем выжившие были депортированы в концлагеря.

Через тридцать лет после трагедии Холокоста, великий итальянец Матространия и американский астронавт Армстронг, посетив ресторан на улице Рю де Розье, не могли и предположить, что потомки французских, провозгласивших 9 августа 1982 года свободу, равенство и братство, откроют огонь по посетителям с проезжающего мотоцикла и убьют шесть человек.

Через 57 лет после Холокоста, потомки мушкетёров и героев революции протаранили грузовиком двери синагоги в Лионе, а в его пригороде расправились с еврейской парой. В Тулузе обстреляли кошерную мясную лавку. В Страсбурге попытались поджечь синагогу, а в Марселе и Обервиле сожгли автобусы еврейских школ. Однако, правительство бездействовало, а полиция не решалась появляться в кварталах, населённых преимущественно мусульманами, которых во Франции уже более восьми миллионов.

Неужели Франция забыла подвиг своего сына, Карла Мартелла? Его мудрость и полководческий гений во второй половине первого тысячелетия спас Францию, да и Западную Европу, от исламизации, разгромив при Пуатье арабское войско, перешедшее Пиренеи. Не из-за забывчивости ли французских, не так давно, один из диктаторов арабского мира, раскинув в центре Парижа свой шатёр, предложил президенту Франции, чтобы страна приняла ислам? Предложил Франции – *дочери* Ватикана? А Европа, захлёбываясь от восторга, в лице тогдашнего английского премьера, заключила диктатора в свои объятия. Но, Франция не шокирована. Напротив, проарабское лобби всё сильнее сжимает горло французской ментальности. Не потому ли французская пресса, да и пресса всей Европы, претенциозно освещая события на Ближнем Востоке, отдаёт на заклятие Израиль, в надежде откупиться от грядущей исламской экспансии? Они забыли уроки истории, когда пожертвовав Чехословакией, думали спастись от гитлеризма. Чем всё закончилось? Мы помним.

Не случайно ли мэр одного из парижских районов своим планом городской застройки решил уничтожить национальный характер еврейского квартала с его узкими улочками и своеобразным бытом? Убрав мелкие лавочки, закусовые, крохотные мастерские с этих улиц, где остановилось время, он намерен превратить один из самых известных в мире еврейских районов в безликую городскую улицу? Жители этого квартала мужественно обвинили мэра в преднамеренной попытке уничтожить здесь последние следы еврейской идентичности. Но Франция безучастна... Не понимает, что когда закончат взрывать синагоги, настанет очередь христианских святынь.

За окнами автобуса – темно. Мы возвращаемся в Берлин. Мне не спится.. Закрыв глаза, вспоминаю цветущие магнолии вокруг Нотр-Дама, великолепие Лувра и Версаля, задумчивость Сены, ночное свечение Эйфелевой башни, кривые улочки Монмартра и бесчисленные картины, выставленные на тротуаре. Париж – прекрасен. Но свобода, равенство и братство – заблужденные романтиков. Вспоминаю скульптурное изображение человеческой головы с ладонью у уха, лежащей на газоне в одном из уголков парка, на месте бывшего «Чрева Парижа». Что слышится этому уху? Цокот копыт лошадей мушкетёров, грохот падающих башен Бастилии, тупой стук гильотины? А, может быть, шорох подошв евреев, идущих к смерти? Или оно уже слышит приближение следующей катастрофы?

На улице Рю де Розье броуново движение людского водоворота связывает в один узел христиан, иудеев, мусульман. Здесь снова зреет неприязнь и ненависть к французам еврейского происхождения. Ну, а как же *«Liberte! Egalite! Fraternite!»*?

С грустью я прощаюсь с Парижем.



Н. Альтман. Голубой пейзаж.

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ

С немецкого...

ИВАН ГОЛЛЬ
YVAN GOLL
(ИСААК ЛАНГ)

(1891 – 1950)

НАПЕРЕКОР ПОЛУНОЧИ

К(ларе) Г(оль)

Наперекор, я против полуночи,
просыпаюсь на краю пропасти.
Почему-то земля вращается,
в море ракушки мёртвые.
Только песок без движения.

Я ищу тебя у вчерашних друзей.
Где ты? Где же ты?
Ветер свистит
незнакомым именем.
Сумасшедший источник
носит имя твоё.

На шиферной,
чёрной доске рисунок:
твой вдохновенный образ, –
это картина новой звезды,
для новой астрономии:
К-Л-А-Р-А.

КРОВОПИЙЦА

Кровопийца сердца моего
раздувает огонь температуры,
напоминая о болезни почек, –
сдавливающей меня беды.

Пробивает холодом огня
своего языка
соль моего пота,
сахар смерти моей.

Кровопийца тела моего
врывается в сновидение,
грызёт белую траву его,
гонит назад, к загону
стадо всех овечек моих.

Кровопийца разгрызает кости
плодового моего Ангела.

НОЭМИ

(Поэма)

1.

Я ношу тяжелейший стержень судьбы.
Своё библейское материнство,
Своего пророчества,
Своего царствия.

Сильный шум приходит из темени
Господнего времени,
Времени пророков,
Времени гетто.

Нестройно поют они новорождённой,
Порой, празднично,
Порой. благостно,
Порой, смертельно.

С криком в мою бунтующую кровь –
Патриархи, герои.
Солнце! Слушай, Израиль!
Адонай, Господи! Адонай, единственный!

2.

Я дочь народа весны, –
Жертва осторожного расточительства,

С риском вихрей земли.
Моя молитва подхвачена эхом
Тихого звука,
Как симфония оливкового дерева.
Моё небо снабжено облаками
При пробуждении гор
В золотистых очертаниях звёзд,
Прочерченных в темени ночи,
При горном шёпоте.

Мужчины горды, как кедры,
Юноши, как лесные акации.
Святой Израиль в весенних холмах
С ароматом оливковых деревьев.
Каждым своим суставом,
Смеющийся Бог
Языком молитвы патриархов
Отвечает небесным ангелам.
Девичий стон, как воркованье голубей.
Мольба женщин, – белокурых овечек,
К грубым бойцам, – возлюбленным...
Дымовой завесой для крови были
Горы, пляшущие в винной сладости
Цимбального восторга года.

3.
Я дочь народа Талмуда, –
О, Храм в бронзовых бликах
Среди деревьев в семисвечниках,
Под россыпью сказочных звёзд,
Словно ламп мистической ночи.
Бог держит золотой бокал, в нём
Играют парча и пурпур, пойманные
Для украшения порфира аркад,
Заботливо глядящих в умирающее небо.
Так же, как Израиль со своих холмов
Ставит зарубки на плитах дымовых труб, –
Свои серые завитки с главными знаками,
Разбрасывая их и на камнях.
Солнце плывёт по тёмным улицам.
Лампы отбрасывают свет народу Храма.

О, Израиль! Помоги горам
Со стареющими ледниками,
Словами и рисунками из Каббалы!
Морозящим холодом
Небесный процесс продолжается.
Однако, закрывая наглухо душу,
И разрывая моё сердце.

4.
Я дочь народа гетто, –
Шумных, спорящих раввинов,
Белых детей и чёрных похорон.
Грязных, дырявых подвалов,
Испанских башен и румынских трущоб.
Я размышляю:
Где Господь?
Где киддуш?
Ой, ой, ой...
Где Адонай?
К руинам Алтаря сваливают пальмы,
Со слабым криком воронья,
И рыдающими псалмами.
Бог желает всем избавления.
В липком сюртуке имитируют
Предков в гостях у вас.
В грязном погроме в тюрьме и в цепях,
Никто не желает умирать.
О, народ! Ароматные сёстры,
И незабвенные братья.
Воскресни, мой народ!
Оставь библейские песни и плачи.
Слушай, Израиль!

5.
Услышь!
У тебя одна душа.
Ты зовёшься душой с кровью,
Богом хранимым.
И считаешься душой на всех
Улицах и окрестностях.

В новолунье хотелось бы путешествовать,
И по небу гадать на счастье крепкой любви,
И на земле обрести любовь окончательно.

В новолунье хотелось бы танцевать,
Пробудить в людях мечту.
Города осветить новым светом.

В новолунье хотелось бы понять,
Где находится душа Феникса из пепла.
И гробы со знаками имён умерших.

КЛАРА ГОЛЛЬ
CLAIRE GOLL
(КЛАРА ШТУДЕР)

(1891 – 1977)

Я В СЕРДЦЕ ТВОЁМ РОДИЛАСЬ

И(вану) Г(оллю)

Я в сердце твоём родилась
в воскресенье,
двадцатилетней.
Я испытана танцем
на канате, под облаками.
Ты присвоил мои глаза
со слезами блаженства.
Ты настезь открыл мне дверь, –
Ангел мой
с перебитыми крыльями,
и убийца полуночи, –
записавший все мои просьбы.

Ты меня обучил экстазу.
Преодолевать все барьеры,
перед площадями со щебнем,
оставаясь с тобой
молчаливой песней любви,

повторяя всё это вечно.
Смерть имеет свойство
направлять и ломать всё
хитрой грустью
с голубоватым оттенком.

Да, ты принёс меня
в этот мир.
Ты показал мне
дорогу на небо.

ПЕСНЬ БЕССОННИЦЫ

Я лежу с твоею мечтой, –
сказкой с кошачьим взглядом.
Еженощно.
Бирюзовое удивленье,
каменное, и на нём
серебряная пантера
грызёт моё сердце.
Птица в розе растёт.
Пот покрывает лоб
каплями золотыми.
Я лежу с твоею мечтой
Еженощно,
умираю после тебя.

ГЕРТРУДА КОЛЬМАР
GERTRUD KOLMAR
(ГЕРТРУД КЕТЕ КОТЗИСНЕР)

(1894 – 1943)

ГДЕ-ТО, В РОССИИ

Где-то, в России моя душа.
Где-то в России
снежная буря треплет мой плащ,
стонут колокола.

В горле клокочет
Санный, с лошадьё выезд, –
в этом моя душа.

Где-то в России
стая воронья
над белым полем.
тащит меня
в кружево их.
Трудно дыханье сдержать
над белым полем.
Тянется вдоль
его длинный кровавый след.

В ЛАГЕРЕ

Толкать по кругу тупо тело,
забыть о том, что есть душа,
и имя, что окаменело
в реестре тюрем,
не дыша застыло,
съёжилось замшело.

И обезличенные лица
с провалом чёрным
бывших глаз, со взглядом,
что в дыре ютится гортани,
как простой балласт,
и никогда не пригодится.

Приказы ясно слышат уши,
наверняка, свой слышат крик.
В тюрьме протест
тотчас разрушен, или раздавлен
в тот же миг.

Когда он вырвался наружу,
в своей все задохнулись думе, –
в покорный превратившись скот,
напоминавший древних мумий,
что ждут в загоне свой уход

из плотного клубка безумий.
Всем страх и слёзы
лишь под силу.
Расстрела,
словно острый нож, –
все ждут,
чтоб этим угостила судьба,
остановивши дрожь.
и тем дыханье прекратила.

НА РОДИНЕ

...и вроде дом уже построен,
и колыбель уже на месте, –
он ищет первые слова.
Гулит, лепечет, как ребёнок.
и успокоен взгляд отца.
Но сердце матери открыто
не для него лишь одного, –
и для других
подросших братьев.

Его сестра в богатых кольцах,
необычайной красоты.
Своим могуществом земля,
их обнимает тёплым взглядом.
Мечту, что, как алмаз сверкает,
мать коронует для детей
всем сердцем и существованьем,
что только существует в мире...

... и вроде дом уже построен,
и даже сад благоухает,
исхожен взад-вперёд шагами,
кустарники растут на нём.
На них орёл с вершин сорвался, –
он разрывает их на части,
и тащит на скалу, в гнездо,
под поцелуи ветра с солнцем.

Он обнажён, лишён он перьев.
Своих орлиных братьев он
не слышит, жадно рвёт добычу,
когтями, словно бы клинками.
И взгляд его вокруг летает, –
что бы ещё рвануть с земли?
В дрожь облаков опять взлетает,
глотя воздух высоты.

ЕЛЕНА ЗЕЛЬГЕР

С немецкого...

ТЕОДОР ФОНТАНЕ
THEODOR FONTANE
(1819 - 1898)

О, TRÜBE DIESE TAG NICHT
О, ЭТИХ ДНЕЙ НЕ ОМРАЧАЙ

Вольный перевод

О, этих дней не омрачай,
Они – последний солнца счёт,
Мгновенье и погаснет рай,
Зима предъявит свой расчёт.

О, время спелых, полных дней,
Где каждый – тысячи ценней.
Секунда малая – поток,
Но ими не напиться впрок.

То Жизнь безудержно течёт
В приливах гневных и святых.
И начинаешь дней отсчёт,
И алчно жаждешь лучших их.

О, жажда Жизни – дикий мёд.
Секунды сладость, часа, дня.
Так пей чудесный мёд из сот,
Отведай каждый миг сполна.

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ
RAINER MARIA RILKE

(1875 –1926)

DU IM VORAUS VERLORENE GELIEBTE

ТЫ В ПРОШЛОМ

Вольный перевод

Ты, потерянная, мной,
ненайдённая родная,
Никогда тебя, я знаю,
Не тревожит образ мой.

И Видения – волной!
Я в погоне непрестанной.
Города, мосты и страны
Окликают звоном странным,
Тонким запахом, дурманным,
Опьянённые тобой.

Ты повсюду – нет преград.
Ты – тот сад, к себе манящий,
Образ, у окна стоящий
Ты – лоза и виноград.

Догоняю в зеркалах
Я твоё изображение.
В дымке тайное круженье
Мятный привкус на губах.

Соловей поёт в ночи,
Будто знает нашу тайну.
Я – молчу, и ты – молчи,
Чтобы не спугнуть случайно.

Ты, потерянная мной,
ненайдённая, родная,
Никогда тебя, я знаю,
Не достигнет оклик мой.

P.S.

Aus: Die Gedichte 1910 –1922; (Paris, Winter 13/14).

ГЕОРГ БРИТТИНГ
GEORG BRITTING

(1891 –1964)

SCHÖNER NOVEMBER TAG
ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬСКИЙ ДЕНЬ

Вольный перевод

Потому что ветви обнажены,
 Так легко проникает свет.
 Как на арфе, играет на глади воды
 Ветра след.

И огромным плодом Солнце на голубом.
 Ах, терновника плод тоже мил.
 Под тенистым листом
 Он у лета тепло одолжил.

Краснопёрая рыба в студёном пруду
 Неподвижная – сколь ни смотреть.
 Белоснежкой уснула в хрустальном гробу
 Зачарованная на смерть.

ГЕОРГ ФОН ДЕР ВРИНГ
GEORG VON DER VRING

(1891 –1968)

LETZTE ROSE
ПОСЛЕДНЯЯ РОЗА

Вольный перевод

Кем последней этой розе
 Аромат прощальный дан?
 Tritt hinaus in Sonnenlose
 И вдыхай тот фимиам.

Откровенно дянный, алый,
 Он летуч, как запах вин.
 Эфемерный, небывалый,
 Что сравниться может с ним?

СЕРГЕЙ ГАПОНОВ

С немецкого...

БЕРТОЛЬД БРЕХТ
BERTOLT BRECHT
(1898 – 1956)

ЛЕГЕНДА О МЁРТВОМ СОЛДАТЕ

Четыре года шла война
и пела песнь свою.
Солдат, испив войну до дна,
геройски пал в бою.

Но дальше пела песнь война,
И кайзер спать не мог:
солдата в том была вина,
что рано в землю лёг.

Над ним и ночь. и тишина
такие – будь здоров!
И вот отправила война
к солдату докторов.

И, откопав солдата труп,
сказали доктора:
«Ты что, не слышишь зова труб?
Вставай, тебе пора!

Да, ты – убит, ты – неживой,
но руки-ноги есть!
И каска есть над головой,
И орденов не счесть!»

И ночь на грохот канонад
солдата повела.
И звёзды видел бы солдат,
да каска тяжела.
Он, шнапса отхлебнув едва,
болтает головой.

При нём сестрицы и вдова,
как будто он живой.

Кадилом труп целясь в лоб,
чтоб смрадно труп не пах,
его окуривает поп
в неглаженных штанах.

Играют трубы: трам-ра-рай!
Имперский реет флаг.
И труп чеканит: айн-цвай-драй –
солдатский бравый шаг.

Два санитаря, наконец,
венчают пеший строй.
Чтоб не рассыпался мертвец,
поскольку он – герой!

Знамёна, дым и пыль дорог
вздывает ввысь парад,
чтоб чувствовать никто не мог
солдата трупный смрад.

А вот ещё один, пузат,
хоть и пустой внутри,
через губу шипит: «Солдат!
За кайзера умри!»

Усердно трубачи трубят,
звонит литавров медь:
«Смотри! За кайзера, солдат,
ты должен умереть!»

Зверья проворного стада
встречают труп бойца.
«Мы патриоты, господа!» –
кричит одна овца.

И женщины встречают труп,
бросая вверх чепцы.

«Ура, ура! – слетает с губ –
солдаты – молодцы!»

Знамёна, трубы, бабы, поп,
стада зевак-зверей...
«Солдат, а ну ложись-ка в гроб
за кайзера скорей!»

Деревни, сёла, города –
Повсюду лай и звон!
«Мы патриоты, господа!» –
неслось со всех сторон.

И каждый встречный был бы рад
взглянуть на труп живой.
И звёзды на него глядят,
светя над головой.

Но звёздам вечно не сиять.
Конец, окончен бал.
Солдат за кайзера опять
в бою геройски пал...

ВАЛЕРИЙ МАТЭТСКИЙ

С итальянского...

ДИЛЕТТА КОНТИНИ

DILETTA CONTINI

(1994)

ИЗЫСКИ

... Я не являюсь следом от губной помады,
остатком улыбки, любящей: – Мяс.

Не оценивайте меня как часы, лиможский фарфор,
или гобелен Обюссона.

Я даже не азартная игра, или каменистая пустыня,
в которой нет очарования дюны или увядающей татуировки.

Я скорее, бутылка пресной воды, взятая из мини-бара;
девушка, которая иногда снимает обувь,
чтобы испытать трепет от прыжка в лужу,
и что она тоже, умеет смеяться глазами.

Я не сложная и внутри у меня есть кое-что, к счастью, хорошее.
Есть одна невидимая искра, жидкий огонь и достаточная сила,
чтобы противостоять злу.

Думайте обо мне как о незаинтересованном человеке,
который говорит о любви.

Кто пишет, не награждая привилегией быть хорошим,
кто изобретает или собирает свои чувства с той же жадностью,
с которой он собирает крошки ломтика штруделя
и возвращает их вам, кладя их на одну руку,
чтобы вы могли почувствовать вкус его сладости.

А потом, я люблю настоящую любовь,
ту, которая не притворяется,
ту, которая доверяет и доверяет...

Вот... думайте обо мне так.

Просто как я сама, и какой мне нравится быть.

Простой.

...Дилетта

ПАБЛО НЕРУДА
PABLO NERUDA
(1904 – 1973)

ЖЕНЩИНА КАК ЕСТЬ

Ах, любовь – это путешествие с водой и звездами,
с удушающим воздухом и внезапными обжигающими
мучительными бурями:
любовь – это борьба молний,
где два тела из одного и того же мёда – побеждены.

ЗДЕСЬ Я ЛЮБЛЮ ВАС

Луна на странствующей воде.
Они проводят одни и те же дни, преследуя друг друга.
Туман рассеивается в танцующих фигурах.
Серебряная чайка отделяется от заката.
Иногда парус. Высокие, высокие звезды.
Или чёрный крест корабля.
И только.

Иногда, когда я встаю на рассвете,
Моя душа ещё влажна от росы.
Звучит, доносится шум далекого моря.
Это порт.
Здесь я люблю Вас.
Здесь я люблю Вас, и зря горизонт скрывает Вас от меня.
Я люблю Вас, среди этих холодных вещей.
Иногда мои поцелуи проплывают на тех больших кораблях,
которые бегут по морю, в которое они не придут.
Я вижу себя уже забытым, как эти старые якоря.
Тихо грустят доки, когда вечером в них швартуются корабли.
Моя жизнь бессмысленно голодна.
Я люблю то, чего у меня нет. Вы так далеко.
Моя скука борется с медленными сумерками.
Но затем наступает ночь и начинает петь мне.
Луна гипнотизирует фильмом своей мечты.
Самые большие звёзды смотрят на меня своими глазами.
И потому что я люблю Вас, сосны на ветру
Пытаются спеть Ваше имя тонкими металлическими листьями.

Э. ПУХЕР
E. PUCHER
(1965)

НИЧЕГО

НИЧЕГО ...
Потому что есть моменты
в которых НИЧЕГО,
это единственное, что есть.

Моменты...
где тишина
находится в лучшем, уходящем
из того, что существует.

КРИСТИН ДЕМИ ФАБР
CRISTHINE DEMI FABRE
(1987)

НА ТРОТУАРАХ ДУШИ

Вы – на мгновение
сезона.
Вы исчезнете, как сон ночи,
что порождает непристойные навязчивые идеи
в нетерпеливом течении времени,
без следа вашего эфемерного
присутствия.
Вы боль.
Вы спокойная
буря
в моей плоти,
обёртывающая мое обнажённое тело одиночества,
пережёвывающая тишину между острыми
шипами легкомысленной любви.
Любовь босиком и вправду, для меня,
который не смеет любить, ломая струны страсти
на рифмах блуждающих путешественников,
останавливающих, чтобы постучать в мою дверь.
Сладкая память – еще один опыт,
употребляемый между болезненными стенами
с окнами, запертыми свободой, –
никогда не кричит.

РИККАРДО БЕРТОЛЬДИ
RICCARDO BERTOLDI
(1990)

ГЛАЗА, В КОТОРЫХ ПЛЕЩЕТ МОРЕ

Я люблю женщин за их хрупкость.
Где красота женщины, если не там, в плотной как вселенная тишине;
В глазах, внутри которых плещется глубокое море,
И которые иногда, так смело, рвутся куда-нибудь?

Женщины такие очаровательные, с этой помадой,
Которая нужна для того, чтобы ощущать себя немного сильнее,
И не только тогда, когда они чем-то смущены.

Я люблю их за эту милую повадку опускать глаза,
Когда они смотрят на вас снизу вверх;
За этот уникальный способ пожать вам руку,
Когда они хотят почувствовать себя ещё более защищёнными.

Я люблю их, за то, что они излучают свет каждым движением,
Каждым взглядом, каждой улыбкой.
Свет, который они несут в себе, не сознавая,
Насколько непостижима их красота.

Женщины прекрасны всегда:
И в блузках, которые показывают в проблесках их плечи;
И с развевающимися от ветра волосами;
И в легких цветочных платьях; и вечером перед сном;
И утром, когда они просыпаются и трутся о подушку,
С такой сладкой дерзостью, что одного этого достаточно,
Чтобы разорвать ваше сердце на части.

Разве можно не любить женщин?

ЛУЧИНА ИГНЕЧИ
LUCINA IGNECI
(1963)

ВЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ

Поэт, говорящий со мной ночью,
просящий у меня внимания и комфорта.
Поэт, Вы пишете мне стихи,
в которых восхищаетесь моей красотой ...
Пожалуйста, не бегите от меня!
Не бойтесь!
Я Луна,
Ваша наперсница,
Ваш друг.
Та, кто растёт, слушая вас,
и когда она наполняется,
Ваша жизнь становится счастливой ...
Вы, так много знающий о любви,
тот, кто полнится ночью вдохновением;
я пришла умолять Вас;
просить Вас,
помочь мне, покорить любовь...
Она, это величественный джентльмен.
Она одевается в одежду короля;
он – с длинными волнистыми, золотыми волосами,
которые зажигают голубое небо...
Иногда, когда он просто смотрит на меня,
я чувствую себя маленькой;
и я становлюсь ещё меньше, когда он смотрит на меня сбоку;
а если он смотрит на меня прямо,
мое лицо наполняется светом...
В другой раз, когда джентльмен улыбается мне,
и румянит моё лицо,
тогда я прячусь в ночи,
и показываю только одну половину своего лица...
Я люблю видеть его красивое розовое сияние,
это как поцелуй в лоб,
когда я иду спать.
А когда он показывает целиком своё лицо,
Я исчезаю...

Он величественно расхаживает весь день,
и когда наступает полдень,
он будит меня своим теплом,
пересекая оранжевое небо...
Он чарует меня своей галантностью,
дружелюбностью и вежливостью джентльмена.
Я хочу, чтобы он всегда освещал мою жизнь
и тогда, у него всегда будет новая Луна...
О, поэт, прекрасной, высокой лирики!
Скажите мне, что я должна делать,
чтобы иметь его не только днём,
но и ночью тоже...
Скажите мне, Вы, пишущий такие идеальные,
такие точные слова,
Что и как я должна сказать,
Чтобы иметь возможность жить вечно на его стороне;
любить его в вечном затмении?...

С английского

СОФИ УИЛКИНС
SOPHI WILKINS
(1977)

Я ТОЖЕ...

Мне иногда снятся летящие птицы.
И когда я представляю себе
Эти клювы, глаза и ноги
Несущие секреты невидимых миров,
И когда я слышу биение их сердец и крыльев,
Мелодию их возвращения домой,
Я не могу не думать,
Что, возможно, я тоже принадлежу к ним...

МАРК СТРЭНД
MARK STRAND
(1934 – 2014)

ЛИНИИ ЗИМЫ

Росу Крауссу

Скажите себе
как холодно, и что-то призрачное начнёт падать с воздуха.
Если вы продолжите
гулять, вы услышите
ту же мелодию, независимо от того, где
вы находитесь –
внутри сферы темноты
или под белым, раскалывающим
взглядом Луны в долине снега.
Сегодня ночью, когда так холодно,
скажите себе,
что вы ничего не знаете,
но настройте свои кости
на продолжение. И вы сможете
однажды полежать под слабым огнём
зимних звезд.
И если случится, что вы не сможете
гулять или вернётесь
и окажетесь
там, где вы хотели быть в конце,
скажите себе
в этом финальном потоке холода через ваши конечности,
что вы любите в себе то, чем вы являетесь.

ИДЕЯ

Нолану Миллеру

Для нас это тоже, было желание обладать
Чем-то, вне мира, который мы знали; вне нас,
Помимо нашей возможности представить, это, тем не менее,
В котором мы могли бы видеть себя; и это желание
Приходило всегда мимоходом, в ослабевшем свете и в таком холоде
Что лёд на озёрах долины трещал и слоился,
И снегопады покрывали то, что мы видели,
А сцены из прошлого, когда они снова всплывали,
Выглядели не такими, как они были, но призрачно и белó,
Среди искусственных искажений и скрытых сокровищ;
И ни разу мы не чувствовали себя близкими,
Пока ночной ветер не сказал: «Зачем всё это?
Особенно сейчас? Вернитесь к тому месту, которому принадлежите».
И там, со светящимися окнами, появился маленький,
На расстоянии замёрзших пределов, домик;
И мы стояли перед ним, поражаясь его присутствию,
И хотелось пойти вперед и открыть дверь,
И войти в сияние и согреться там.
Но это, было наше, не будучи нашим,
И оставалось пустым. Это была идея.

БЕЛЛА ЯКУБОВА

С немецкого...

ФРИДРИХ ГЁЛЬДЕРЛИН
FRIEDRICH HÖLDERLIN
(1770 –1845)

ПРАВДИВ ФОРМАЛЬНО БОГ...

Правдив формально Бог.
Король.
Мудрец.
Кто нынче прав?
Имеет каждый собственную правду.
Народ? О, сборище святых?
Нет! Нет! Кто нынче прав?
Лишь скользкая змея! Трус или лжец,
одно красивое словцо, не боле...
сквозь зубы...
По имени тебя зову надменно
о, старый Дьявол! Мне сперва
язычнику преподнести
тебя иль мудрецу?

СЛЕДУЙТЕ ЛУЧШЕМУ

...откройте окна в небо
и так держите их до поздней ночи,
чтоб рассмотреть небесной кирпичи свет
над всей землёй.
И трудности общенья меж людьми
растают постепенно.
И мусор горьких слов,
насильственно звучащих
исчезнет навсегда.
Я этого хочу,
чего ж ещё?

ЭДУАРД МЁРИКЕ
EDUARD MÖRIKE
(1804 – 1878)

ВОПРОС И ОТВЕТ

Ты спросила: «Откуда явилась тревога?
Ведь от чистого сердца ты любишь меня.
Как она отыскала к нам эту дорогу,
чтобы жало впустить, наши души кляня?»

Может, ветер принёс её к нам издалёка?
Может, чьё-то злословье её принесло?
Или, может, она к нам с иного истока
пролилась? Иль судьбою её обожгло?»

«Нет, – ответил я вкрадчиво, милой. –
Есть причина иная, известна она.
И её неотвязная, злобная сила
воровато проникла: тиха и бледна».

К УТРУ

Бессонница глаза не закрывала.
Я чувствую, что вскоре день придёт.
Он за окном берёт своё начало, –
покой тревожит, солнечный восход.
Наутро, на стене устроив пляску, –
дорогу дню пошире протоптать.
Желает с ночи снять быстрее маску,
и новый день с восторгами начать.
Но как мне душу приспособить к свету?
Хоть кудри дня кружат – ответа нету.

КАРЛ ФИНК
KARL FINK
(1870 – 1893)

День погас, и за окном
Сумерки хлопочут.
В доме мы теперь вдвоём:
Я и мысли ночью.

Я унять их не могу,
как с цепи сорвались.
Всё бегут, бегут, бегут.
Нет уж, разыгрались.

И несутся напролом
совершать поступки.
И на сердце на моём
делают зарубки.

Чтобы я не забывал
сделать то и это.
Чтобы то я разыскал,
что пропало где-то.

Затерялось в гуще лет –
никому не служит.
Чтоб, когда придёт рассвет –
вылезло наружу.

ВИЛЬГЕЛЬМ БУШ
WILHELM BUSCH
(1832 – 1908)

ПТИЦА НА ВЕТКЕ

Сидела на веточке птица.
К гнезду она стала стремиться.
Её заметил рыжий кот:
взгляд хищный и открытый рот.

Себе он жертву в ней наметил;
подумал: «Мне поможет ветер».
Но птице замысел кота
был ясен: «Вот так ерунда», –

Решила. И взмахнув крылами
взлетела. Догадайтесь сами –
какой бы делу дать размах?
Да, кот остался в дураках.

Вот так. И зариться не надо
на то, что лишь доступно взгляду.
И созерцанье не поможет
мечте, что с дрожью мчит по коже.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТЫЙ	5
по направлению	
к четвертьвековому юбилею	
предисловие	

поэзия, проза, драматургия	7
-----------------------------------	---

ВЛАДИМИР БАТШЕВ	9
ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ	17
ДАВИД БРАТСЛАВЕР	30
БОРИС БРОНШТЕЙН	36
МИХАИЛ ВАЙМАН	43
ТАТЬЯНА ВАЛЬМОН	45
НОРА ГАЙДУКОВА	48
СЕРГЕЙ ГАПОНОВ	59
ДИНА ЕЗРИЛЬ	62
ЕЛЕНА ЗЕЛЬГЕР	65
СААДИ ИСАКОВ	69
АЛЬБЕРТ ЛЕИН	74
КОНСТАНТИН КЕРБЕЛЬ	76
ЛЮДМИЛА КУЗНЕЦОВА	81
ГЕНРИЕТТА ЛЯХОВИЦКАЯ	83
ВАЛЕРИЙ МАТЭТСКИЙ	86
МАРИНА ОВЧАРОВА	98
МАСУД ПАНАХИ	104
МИХАИЛ ПИКЕР	127
МИХАИЛ ПОГРЕБИНСКИЙ	132
АНЖЕЛЛА ПОДОЛЬСКАЯ	150
ИГОРЬ ЧЕРКАССКИЙ	163
ИЛЬЯ ЧЛАКИ	174
БОРИС ШАПИРО	192

ПУБЛИЦИСТИКА, МЕМУАРЫ, ЭССЕ 199

БОРИС Э. АЛЬТШУЛЕР	201
ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ	212
ЯКОВ БЕРДИЧЕВСКИЙ	224
ЛЕОНИД БЕРЕЗИН	227
НОРА ГАЙДУКОВА	234
ЛЕОНИД ДАНЦИГЕР	237
ГРЕТА ИОНКИС	242
РЕГИНА КОН	254
АНЖЕЛЛА ПОДОЛЬСКАЯ	266
МИНА ПОЛЯНСКАЯ	273
МИХАИЛ ЭНЕНШТЕЙН	299

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ 303

ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ	305
ЕЛЕНА ЗЕЛЬГЕР	315
СЕРГЕЙ ГАПОНОВ	318
ВАЛЕРИЙ МАТЭТСКИЙ	321
БЕЛЛА ЯКУБОВА	329

